ИЛЬЯ
ФЕЙНБЕРГ

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ РАБОТЫ ПУШКИНА



ИЛЬЯ ФЕЙНБЕРГ
НЕЗАВЕРШЕННЫЕ РАБОТЫ ПУШКИНА



А. Пушкинъ

ИЛЬЯ
ФЕЙНБЕРГ

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ РАБОТЫ ПУШКИНА



Издание седьмое



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

8Р1
Ф36

Оформление художника
И. ГИРЕЛЬ

$Ф \frac{70202-203}{028(01)-79} 237-79$

МАЭЛИ ФЕЙНБЕРГ
без тебя эта книга не была бы написана.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемую книгу входят исследования о пушкинской «Истории Петра I» и сожженных Автобиографических записках поэта. Эти великие незавершенные работы Пушкина оставались неизученными, в связи с постигшей их необычной судьбой.

«В рукописи остаются еще,— писал после смерти поэта Белинский,— материалы к истории Петра Великого, предпринятой Пушкиным. Говорят, что этих материалов стало бы на добрый том, и только одному богу известно, когда русская публика дождется этого тома...»

Рукопись незавершенной «Истории Петра I», запрещенная Николаем I, а затем потерянная, была найдена после революции и напечатана лишь в 1938 году, через сто один год после смерти поэта (ранее из нее были известны только отдельные отрывки).

Однако появление нового тома в собрании сочинений Пушкина оказалось, как ни удивительно, едва замеченным, в связи с тем, что исторический труд поэта дошел до нас в черновом состоянии и потому даже после того, как рукопись его была напечатана, продолжал оставаться труднодоступным читателю.

Между тем найденный труд — по мере того как перед нами раскрывается его действительное, богатое содержание — меняет наши прежние представления о размахе исторических замыслов и работ великого поэта. Изучение творческой истории его труда убеждает в том, что работа его над созданием «Истории Петра» не остановилась на начальной стадии: исследование показывает, что, вопреки распространенному мнению, Пушкин не ограничился конспектированием изученного им многотомного свода исторических источников (то есть изданных И. И. Голиковым в кон-

це XVIII столетия «Деяний Петра Великого»). Работа над «Историей Петра» продвинулась много дальше: общие контуры ее были уже ясны; в обширном подготовительном тексте ее отражена выработанная Пушкиным историческая концепция, в свете которой различима пушкинская обрисовка Петровской эпохи и виден создаваемый им образ Петра.

Внимательное изучение позволяет раскрыть содержание намеченных в подготовительном тексте Пушкина исторических эпизодов и картин, какими Пушкин видел их и думал изобразить в своей «Истории Петра». Раскрыть все это оказалось возможным, несмотря на то, что подготовительный текст ее писан был Пушкиным большей частью для себя — сокращенно, вчерне. Большей частью, но не целиком.

Исследование дало возможность обнаружить в этом обширном черновом труде Пушкина множество страниц-заготовок прекрасной исторической прозы, созданной уже Пушкиным для подготовляемой книги о Петре. Эти новые для нас страницы исторической прозы Пушкина оставались до сих пор незамеченными среди черновых программ и других вспомогательных, рабочих пушкинских текстов. Показать, что в потерянной и найденной пушкинской рукописи скрывалось — пусть в целом далеко не завершенное — произведение Пушкина и по возможности выяснить историческое и художественное значение «Истории Петра» — является первой задачей настоящей книги.

Другим важнейшим незавершенным произведением Пушкина, относившимся к запретной части его литературного наследства, являлись Автобиографические записки поэта. Пушкин вынужден был сжечь их после 14 декабря 1825 года, поскольку они, по словам поэта, оказавшись в руках самодержавной власти, «могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв». Позднее он стремился возобновить и продолжить свои «Записки». «Но и в уничтожении той части их, которая была уже составлена им в 1825 году,— как верно заметил первый биограф поэта Анненков,— русская литература понесла невознаградимую утрату».

Судьба «Записок» Пушкина не подвергалась до сих пор изучению, в связи с тем, что от них, как принято было думать, почти ничего не сохранилось. Но действительно ли «Записки» поэта погибли целиком?

Филологическая наука издавна изучает судьбу утраченных литературных памятников. Исследователям удается иногда выяснить не только общее содержание погибшего памятника, но и обнаружить уцелевшие каким-нибудь образом части его. Уцелели же и, как известно, были обнаружены и расшифрованы через много десятилетий после смерти поэта отрывки так называе-

мой десятой, «декабристской» главы «Евгения Онегина», сожженной Пушкиным — сожженной, но при этом частично зашифрованной Пушкиным и, таким образом, втайне им сохраненной.

В результате исследования мы приходим к выводу, что нет оснований отказываться и от изучения судьбы сожженных «Записок» поэта: некоторые отрывки их, оказывается, уцелели. Разбросанные под случайными заголовками по различным томам сочинений Пушкина, иногда неожиданным для нас образом включенные самим поэтом в другие произведения, страницы эти входили когда-то в состав его Автобиографии. Исследование дает нам возможность опознать и обнаружить эти отрывки в рукописном наследстве Пушкина и судить по этим уцелевшим частям о содержании и стиле утраченных «Записок» великого поэта.

Исторические замыслы Пушкина не ограничивались временем Петра I и его ближайших преемников. В настоящую книгу входит в связи с этим раздел, посвященный задуманной поэтом «Истории моего времени».

Исследования об «Истории Петра I» и Автобиографических записках Пушкина, вошедшие в настоящую книгу, первоначально печатались в «Вестнике Академии наук СССР» (1949, № 5; 1950, № 8; 1953, № 5; 1955, № 1; 1956, № 3 и 1958, № 1). Первое издание настоящей книги вышло в 1955 году (во втором и третьем изданиях книга была расширена и дополнена), шестое — в 1976 году.

С тех пор как были впервые опубликованы исследования, вошедшие в состав этой книги, прошло 25—30 лет. Можно отметить, что многие выводы, впервые обоснованные и изложенные в ней, в настоящее время приняты. Новое представление о пушкинской «Истории Петра I» и о судьбе «Записок» поэта нашло отражение в десятитомном издании сочинений Пушкина, которое было выпущено Государственным издательством художественной литературы в 1959—1962 годах под общей редакцией Д. Д. Благого, С. М. Бонди, В. В. Виноградова и Ю. Г. Оксмана; см. т. 8, где напечатана «История Петра I» (подготовка текста и сопроводительная статья И. Фейнберга), и т. 7, где напечатаны сохранившиеся отрывки воспоминаний поэта и принят наш вывод о судьбе его «Записок» (комментарий Т. Г. Цявловской, с. 416—418). В настоящее время этот десятитомник переиздан (1974—1978 гг.).

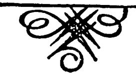
Выполнение предлагаемых работ было бы невозможно без обращения к нашим государственным архивам, научным учреждениям и библиотекам, из числа которых должен прежде всего с благодарностью назвать *Институт русской литературы*

(Пушкинский дом) Академии наук СССР, где хранятся рукописи и библиотека Пушкина; *Отдел рукописей и Отдел редкой книги Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина*, где хранится библиотека Вольтера вместе с собранными им рукописными материалами по истории России, к которым обращался Пушкин; *Центральный Государственный архив древних актов*, где хранятся в настоящее время бумаги Петра I и подлинное следственное дело царевича Алексея; *Центральный Государственный исторический архив*, где хранится «Дело о рукописи А. С. Пушкина «Материалы для Истории Петра Великого», изучение которого дает возможность уточнить текст высказываний Пушкина, изъятых в 1840 году цензурой из рукописи «Истории Петра»; *Центральный Государственный военно-исторический архив*, где в фонде Военно-ученого архива Главного штаба хранится дневник Д. Е. Келлера. Расшифровка слов Пушкина, заштрихованных в дневнике Келлера и не поддававшихся чтению, была выполнена в *Центральной криминалистической лаборатории Министерства юстиции СССР*. Руководителям и научным сотрудникам этих учреждений и архивов автор выражает искреннюю признательность.

* * *

Катастрофическая судьба, постигшая «Историю Петра I» и Автобиографические записки поэта, побуждает нас отнестись к изучению их с особым вниманием. Автор книги продолжает такое изучение. Ибо без достаточного ознакомления с этими великими замыслами и работами наше представление о границах творчества Пушкина оставалось бы поневоле неполным.

ИСТОРИЯ ПЕТРА I



НЕИЗУЧЕННЫЙ ТРУД

«История Петра I» сразу возбуждает вопросы, на которые нужно ответить раньше, чем перейти к изучению ее по существу. Сначала поражает судьба рукописи, запрещенной и затем пропавшей, в 1917 году найденной — и напечатанной только через сто один год после смерти Пушкина. Объясняется ли все это только исторической случайностью?

Как могла пропасть и так долго оставаться в безвестном отсутствии самая большая из пушкинских рукописей? Каким образом в прошлом столетии все-таки проникли в печать некоторые отрывки из этой пропавшей рукописи? Почему ее не пытались искать и при каких обстоятельствах она была все же найдена? Как могло случиться, что в то время, когда опубликование даже нескольких неизвестных строк Пушкина привлекало общее внимание, рукопись «Истории Петра» оставалась — после того как она была найдена — еще в течение двух десятилетий неизданной? Отчего, наконец, когда она была напечатана и в собрание сочинений Пушкина вошел новый том, это небывалое в истории изучения и издания пушкинского литературного наследства событие продолжало оставаться вне поля зрения большинства исследователей и читателей?

Рукопись «Истории Петра» найдена была в Лопасне, невдалеке от Москвы. Там, в усадьбе, куда переехал летом 1917 года внук поэта Григорий Александрович Пушкин, обнаружен был случайно затерявшийся ящик с бумагами, часть которых была, очевидно, уже уничтожена. В найденном ящике лежали двадцать

две тетради большого формата – в лист. Это и была пропавшая рукопись пушкинской «Истории Петра». Что касается недостающих тетрадей, то часть их нашлась, по счастью, в том же ящике, в виде копий, снятых с подлинной рукописи после смерти поэта. Нужно было выяснить историю найденной рукописи и установить состав и содержание находки.

«Есть ли у нас хоть какие-нибудь, сколько-нибудь заслуживающие внимания попытки изобразить в стройной исторической картине жизнь и деяния» Петра Великого? «Доселе еще – нет!» – писал после смерти Пушкина Белинский. «Правда, был у нас один, который мог бы алмазным пером своим, как на меди или мраморе, нетленными чертами передать вечности дела и образ» его, «но преждевременная смерть вырвала волшебное перо из творческих рук и надолго лишила Россию надежды иметь учено-художественную историю» Петра... «Пушкин смертью застигнут в приготовительных работах к ней»[1].

Что же это были за работы и как отражены они в найденном в бумагах поэта обширном подготовительном тексте незавершенной «Истории Петра»?

Когда вышел последний том посмертного издания сочинений Пушкина, Н. Полевой, выражая недоумение публики, писал об издателях его: «Они ни слова не говорят нам о драгоценном для нас предприятии Пушкина, Истории Петра Великого. Начал ли он ее? Если начал, то далеко ли довел ее? Если не принимался он за окончательное изложение ее, то что приготовил он? Не оставил ли хоть каких-нибудь заметок? Жадно хотим мы все это знать...»[2] Вопросам этим надолго суждено было оставаться без ответа.

Приказав тотчас после смерти поэта опечатать его бумаги, Николай I затем повелел представить ему «все рукописи, касающиеся до истории Петра Великого»[3]. Известно, что император «питал чувство некоторого обожания к Петру»[4], любил, когда его называли новым Петром Великим, и имел вполне определенный взгляд на то, как надлежит писать историю Петра. «Лицо императора Петра Великого должно быть для каждого русского предметом благоговения и любви; выводить оное на сцену было бы почти нарушение святыни и посему *совершенно неприлично*. Не дозволять печатать», – заметил он, запрещая в 1831 году трагедию Погодина «Петр»[5].

Рассмотрев незавершенный исторический труд Пушкина, он указал: «Сия рукопись издана быть не может по причине многих неприличных выражений на счет Петра Великого»[6]. «Неприличие» пушкинского труда, как видно даже из сопоставления приведенных царских резолюций, не сводилось, с точки зрения Ни-

колая I, к отдельным — иногда действительно весьма резким — выражениям Пушкина, характеризующим Петра. За неделю до смерти поэт сам сказал в разговоре с Плетневым, что «историю Петра пока нельзя писать, то есть ее не позволят печатать» [7].

Предвидение Пушкина оправдалось. Между тем его историческому труду придавалось значение государственное. В донесениях о смерти поэта послы, аккредитованные при петербургском дворе, сообщали о нем своим правительствам. «Император приказал ему поселиться в Петербурге, поручив ему написать историю Петра Великого; для этой цели в его распоряжение были предоставлены архивы империи»,— сообщал 14 (2) февраля 1837 года австрийский посол в Петербурге граф Фикельмон Меттерниху. «Три года тому назад ему была назначена пенсия за работы над историей Петра Великого, и он собрал уже ценные материалы...» — доносил тогда же неаполитанский посланник князь ди Бутера.

О незавершенной Пушкиным «Истории Петра» сообщали своим правительствам в донесениях о смерти поэта шведско-норвежский поверенный в делах в Петербурге Густав Нордин и баварский посланник граф Лерхенфельд. Прусский посланник Либерман, касаясь судьбы бумаг поэта, считал нужным особо упомянуть о материалах, порученных Пушкину, как «историографу» Петра.

Вместе с тем послы сообщали, что император повелел Жуковскому сжечь все пушкинские рукописи, которые, как писал граф Лерхенфельд, «могли бы скомпрометировать память Пушкина, относясь к временам его юности, когда он предавался крайним и революционным идеям». «Пушкин был склонен к либерализму,— пояснял князь ди Бутера,— и это было известно императору; не желая, чтобы бумаги и корреспонденция покойника кого-нибудь скомпрометировали... он послал в его дом воспитателя Наследника (Жуковского.— *И. Ф.*) собрать бумаги, сохранить материалы по истории Петра Великого и документы из Государственного архива, а все остальное, что может омрачить память Пушкина и повредить другим, сжечь без рассмотрения». Упомянутый уже прусский посланник называл это решение Николая «великодушным порывом его величества» [8].

«Материалы для Истории Петра Великого», как видно из этих сообщений, заранее противопоставлялись всему тому, что могло бы «омрачить память Пушкина» и должно было быть поэтому сожжено. Но, по рассмотрении рукописи царем, выяснилось, что «компрометирующим» Пушкина, подлежащим запре-

ту трудом неожиданно оказалась не относящаяся к временам его юности («когда он предавался крайним и революционным идеям») «История Петра I».

Между тем слухи о ней широко распространились, а друзья поэта продолжали хлопотать об ее издании. Они решили изъять из нее все, что было сочтено царем «неприличным», и представить рукопись Пушкина на цензурное рассмотрение вновь — в «очищенном» виде.

После смерти поэта, когда подлинная рукопись «Истории Петра» — «три кипы (31 тетрадь)»[9] — была переписана, писарская копия ее — в которой поля были оставлены равными тексту — составила шесть рукописных фолиантов. Перед тем как представить их в 1840 году официально в цензуру, эти шесть рукописных томов были переданы опекой по делам Пушкина для предварительного «очищения» К. С. Сербиновичу.

Сербинович, бывший цензор, помогавший раньше Карамзину в работе над историческими источниками и потом разбиравший в Государственном архиве дела петровского времени, прочитав обширную рукопись Пушкина, отметил в ней строки, подлежащие исключению либо смягчению. Все подобные места были переписаны им в сводный реестр, и в нем против каждой выписки было указано, как следует поступить с этими запретными строками Пушкина — исключить или только смягчить их. В последнем случае приводилась каждый раз предлагаемая Сербиновичем новая редакция, придающая цензурный вид историческим суждениям Пушкина о Петре.

Изучение этого документа, обнаруженного нами в архиве в 1950 году[10], показывает, что свою цензорскую задачу Сербинович выполнил искусно. Всего сорок девять мест из обширного пушкинского труда подвергались изменению или изъятию. Самый объем внесенных изменений, казалось бы, невелик; между тем исторический труд Пушкина был искажен Сербиновичем самым серьезным образом, ибо он не ограничился изъятием из рукописи отдельных, часто не предназначавшихся самим Пушкиным для печати резких выражений: Сербинович исказил либо исключил из «Истории Петра» строки, в которых нашла свое выражение историческая концепция Пушкина[11].

«Трудами» Сербиновича цензурная история пушкинской рукописи, разумеется, не ограничилась, и Жуковский вновь обратился к Николаю I. «Теперь, — писал он ему, — манускрипт пересмотрен со вниманием, и все замеченное или выброшено, или исправлено. Испрашиваю всеподданнейше позволения у вашего императорского величества напечатать сию рукопись...»[12] Согласие последовало, и шеститомная копия «Истории Петра»

«История Петра». «Очерк Введения».

поступила на официальное рассмотрение к цензору Никитенко.

Никитенко сверх предложенных Сербиновичем сделал новые изъятия, зачеркнул красными чернилами все изымаемые из пушкинской рукописи строки и в таком оцензуренном виде счел возможным разрешить ее издание.

«Материалы для Истории Петра Великого», как был назван пушкинский труд, несмотря на цензурное разрешение, изданы все же не были. Произошел случай, единственный в истории издания пушкинских рукописей: незавершенный труд Пушкина не нашел издателя. И потому «История Петра» была в 1841 году

возвращена вдове поэта опекой по его делам, которая «при всем старании своем не могла продать книгопродавцам рукописи сей для издания оной в свет»[13].

Десятилетие спустя «История Петра» вместе со всеми рукописями поэта передана была Натальей Николаевной (ставшей женой Ланского) П. В. Анненкову, подготовлявшему к печати первое научно изданное собрание сочинений Пушкина. В издании этом из «Истории Петра» напечатано было, однако, очень немногое. Анненков называл работу над «Историей Петра» важнейшим трудом поэта в последние годы его жизни, но полагал вместе с тем, будто бы «то, что у Пушкина называется материалами для Истории, не представляет, собственно, материалов, но только выписки из них и ссылки. Это – черновая работа, свидетельствующая», как думал тогда Анненков, лишь «о добросовестности, с какой приступал» Пушкин «к задаче своей»[14].

Из обширной пушкинской рукописи первый редактор поэта выделял только «половину первой тетради самой Истории Петра, которая наиболее отделана у Пушкина»[15]. Ее он и напечатал в своем издании и, кроме того, поместил в «Материалах» для биографии поэта два отрывка, посвященные основанию Петербурга и смерти Петра. «Читатель легко заметит, – утверждал Анненков, – что оба отрывка не имеют вида настоящего исторического рассказа, а только, как и все прочее у Пушкина, представляют одну программу его...»[16]

Недооценив значение незавершенной «Истории Петра», не имея по цензурным условиям возможности и не считая нужным напечатать ее в том виде, в каком этот труд оставлен нам Пушкиным, Анненков оказал все же русской литературе важную услугу, поручив писцу переписать из «Истории Петра» запрещенные строки, перечеркнутые в цензурной рукописи красными чернилами. Обширная рукопись Пушкина вместе с цензурной копией ее была вслед за тем надолго потеряна. Текст же запрещенных цензурою строк «Истории Петра», благодаря анненковским выпискам, сохранился[17].

Между тем возвращенная Наталье Николаевне Пушкиной-Ланской рукопись «Истории Петра» (на которую стали смотреть как на материалы, не представляющие существенного интереса и не находящие издателя) хранилась вместе с уложенной в ящики библиотекой Пушкина, забытая в подвалах казарм Конно-гвардейского полка, которым командовал П. П. Ланской[18].

Затем вместе с библиотекой поэта рукопись «Истории Петра» перевезена была в имение Пушкиных – Ивановское, Бронницкого уезда, Московской губернии, а оттуда в Лопасненскую усадьбу (принадлежавшую родственникам старшего сына поэта).

Здесь рукопись и была забыта в начале 90-х годов при вывозе из Лопасни пушкинской библиотеки обратно в Ивановское.

Сведения о том, как рукопись «Истории Петра» странствовала сначала из столицы в Ивановское, а затем в Лопасню, и о том, как она в 1917 году была там обнаружена, основываются на сообщениях внуков поэта. Григорий Александрович Пушкин 23 октября 1932 года в письме к П. С. Попову вспоминал, что, когда он приехал летом 1917 года в Лопасню, жившая там «Наталья Ивановна Гончарова (племянница Натальи Николаевны Пушкиной) обратила внимание на исписанные листы, которыми была устлана клетка с канарейкой, висевшая в усадьбе. Г. А. Пушкин, убедившись, что бумага исписана рукой деда, стал искать, откуда растаскивались эти листы; тогда только и был обнаружен в кладовой затерявшийся и уже раскрытый ящик с бумагами, объеденными мышами,— очевидно было, что часть их уже уничтожена. Основным ядром этих бумаг оказались выписки А. С. Пушкина для «Истории Петра I»[19]. (Вместе с ними в ящике нашлось много хозяйственных и семейных бумаг Пушкина.)

Из тридцати одной существовавшей тетради найдены были двадцать две. Нашлись также три тома (то есть половина) шеститомной цензурной копии «Истории Петра». Текст недостающих тетрадей в известной мере восполнялся обнаруженной частью копии[20].

Свидетелями находки, сделанной в Лопасне летом 1917 года, являлись, кроме скончавшегося в 1940 году Григория Александровича Пушкина (внука поэта), вдова его Юлия Николаевна Пушкина и младший брат Григория Александровича — Николай Александрович Пушкин (род. в 1885 году), уехавший за границу. Автор настоящей книги записал 5 и 11 октября 1956 года подробный рассказ Юлии Николаевны Пушкиной о том, как она сохранила и передала в 1919 году на хранение в Румянцевский музей подлинный дневник А. С. Пушкина. Она вспоминала, что ящик с рукописями «Истории Петра» обнаружен был на чердаке лопасненского дома, но подробностей, сопровождавших находку, уже не помнила[21].

Николай же Александрович Пушкин опубликовал в 1926 году в Брюсселе в первом номере журнала «Благонамеренный» статью «Об одной неизвестной находке пушкинских рукописей».

«Всем хорошо известно,— писал тогда Н. А. Пушкин,— что дед Александр Сергеевич по поручению государя Николая Павловича занимался составлением Истории Петра Великого, но, несмотря на самые тщательные розыски, никаких следов этой работы обнаружено не было. Несколько лет тому назад мне по-

счастливилось найти материалы, собранные дедом, но война и революция помешали их опубликованию и поныне препятствуют мне опубликовать мою находку». Высказывая опасение, что находка эта «может погибнуть или вновь затеряться», Н. А. Пушкин выражал желание, чтобы «по крайней мере сведения», им сообщаемые, сохранились «в памяти читателей».

«Вот при каких обстоятельствах,— писал он,— мне удалось разыскать Историю Петра Великого, или точнее — материалы к ней. Однажды, собираясь из одного из наших имений в Москву, я приказал отправить в город кое-какие деревенские припасы. Мое внимание случайно привлек сверток, завернутый в бумагу, желтоватый цвет и поблекшие, выцветшие чернила которой несомненно указывали на ее старину. Заинтересованный, я развернул бумагу, и — можно представить себе мое изумление»,— вспоминал Николай Александрович,— перед ним оказалось письмо, адресованное Александру Сергеевичу Пушкину.

«Мне также хорошо было известно, что дед никогда не был в этом имении... В полном недоумении, я послал за ключницей и спросил у нее, где она взяла бумагу для упаковки провизии. «Да мы, барин, завсегда берем из ящика, что на чердаке»,— получил я простодушный ответ... Понятно, пресловутый ящик был немедленно изъят из обладания доброй старушки, и я тотчас же приступил к его обследованию... Кроме довольно значительного количества писем, адресованных деду и носящих исключительно деловой характер, на дне ящика я обнаружил три больших рукописных тома, озаглавленных «Материалы к Истории Петра Великого»... Все три тома кругом исписаны мелким убористым почерком, и лаконичность записей еще увеличивает объем собранных данных. Местами заметки настолько подробны, что представляют поденную запись деятельности императора.

Дальнейшее расследование,— продолжает Николай Александрович,— дало мне объяснение факта нахождения ящика с документами и историей Петра Великого в этом имении. После пожара, уничтожившего усадьбу, где находилась библиотека деда, уцелевшие вещи — и в том числе сама библиотека — были временно перевезены на хранение в другое имение — то самое, где были найдены документы. При обратной перевозке один из ящиков был, очевидно, забыт и несколько десятков лет спокойно пролежал на чердаке, не привлекая ничьего внимания»[22].

Из последних строк можно было заключить, что автор сообщения, не называя усадьбы, в которой была сделана находка, говорил о Лопасне (где при обратной перевозке библиотеки поэта из Лопасни в Ивановское был забыт действительно в 90-х годах ящик с рукописями «Истории Петра»).

Когда Николай Александрович опубликовал в Брюсселе свое сообщение, Григорий Александрович еще здравствовал в Москве и утверждал, что, несмотря на некоторые разноречия с воспоминаниями самого Григория Александровича, брюссельское сообщение говорило все о той же хорошо нам известной лопасненской находке[23].

Устилали ли в Лопасне страницами «Истории Петра» клетку канарейки, заворачивала ли ключница в них провизию, невольно обратив таким образом внимание потомков Пушкина на его забытую рукопись, — уточнить важно было теперь, разумеется, не это. Вопрос в том, описывал ли Николай Александрович в своем брюссельском сообщении 1926 года действительно найденную им, но неизвестную нам до сих пор часть пушкинских рукописей, относящихся к «Истории Петра», или же говорил по памяти — и потому неточно — об известных нам уже ныне изданных рукописях Пушкина, найденных в Лопасне?

Николай Александрович Пушкин, как мы получили возможность выяснить в сентябре 1956 года, здравствовал еще в Брюсселе. Бельгию посетила тогда делегация советских поэтов: П. Антокольский, С. Михалков и К. Симонов, и по просьбе пишущего эти строки участники делегации выяснили, что Николай Александрович за протекшие тридцать лет не изменил своего местожительства.

В связи с этим мною высказана была в печати надежда на то, что необходимые разъяснения со стороны внука поэта, может быть, еще последуют[24].

И действительно, в письме, посланном им из Брюсселя 24 июля 1961 года правнучке поэта Наталии Сергеевне Шепелевой, живущей в Москве, Николай Александрович Пушкин сообщил, что «заметки деда для истории Петра I» (найденные Николаем Александровичем, как он прямо указывал теперь, вместе с братом — Григорием Александровичем Пушкиным — в Лопасне) были переданы ими «в Пушкинский музей, и, наверное, это они и были опубликованы»[25].

Безнадежно ли утрачены недостающие пушкинские тетради и где может находиться теперь, если она цела еще, отсутствующая половина — три тома! — цензурной копии «Истории Петра»? Для ответа на эти вопросы мы не располагаем пока достаточными данными. Однако возможность обнаружения неизвестных нам рукописей, относящихся к работе Пушкина над «Историей Петра», не исключена.

Найденный в Лопасне подготовительный текст «Истории Петра» написан Пушкиным в течение 1835 года. Известно, однако, что и до того, в 1834 году, Пушкин собирал материалы для свое-

го труда. «Ты спрашиваешь меня о Петре? Идет помаленьку; скопляю матерьялы — привожу в порядок...»[26] — писал он жене в конце мая этого года. Между тем материалы, собранные Пушкиным в 1834 году, остаются неизвестными, так же как судьба недостающей части рукописи 1835 года.

Исторический труд Пушкина в своей большей части, однако, дошел до нас: нам известны примерно три четверти его текста, а из пропавшей части его уцелели по воле судьбы как раз наиболее важные отрывки, которые николаевская цензура стремилась скрыть от читателей.

«История Петра», появления которой с таким нетерпением ожидал Белинский, наконец увидела свет. Перед исследователями встала задача установить, что представляет собой этот остававшийся так долго неизвестным исторический труд Пушкина, и обнародовать его.

Напечатана была «История Петра» только в 1938 году, в десятом томе Большого академического издания сочинений Пушкина. При этом было высказано утверждение, что найденный пушкинский труд представляет собой не более чем «подготовительные записи-конспекты», сделанные Пушкиным при чтении «Деяний Петра Великого», многотомного свода исторических материалов о Петре, изданного в конце XVIII столетия И. И. Голиковым[27]. Таким образом, исследователи увидели в найденной рукописи всего только отражение начального этапа исторических занятий Пушкина.

Этот вывод, основанный на работах П. Попова, редактора первого академического издания «Истории Петра», соответствовал тому представлению о ней, которое возникло у исследователей в годы, предшествовавшие опубликованию найденной рукописи. «Смерть Пушкина застала его почти у самого начала задуманной монументальной работы»,— писал, например, в свое время Н. Лернер[28], а Л. Модзалевский полагал, что Пушкин только «начал собирать материалы» для не написанной им «Истории Петра»[29].

Оценка, данная труду Пушкина в академическом издании, показалась поэтому правдоподобной. Трудно было, конечно, даже представить себе, что в наши дни может существовать обширный исторический труд Пушкина, остающийся неизученным и неоцененным. Изучать заново сотни страниц конспектов, даже вышедших из-под пера Пушкина, сопоставляя их при этом с многотомными голиковскими «Деяниями Петра Великого», не было, казалось, необходимости, и вывод П. Попова принят был

историками литературы без всякой критики. Сам П. Попов после некоторых колебаний, отраженных в его статье «Пушкин как историк»[30], повторил в предисловии к редактированному им новому изданию «Истории Петра», что она представляет собою «выписки-конспекты», «сделанные Пушкиным при чтении труда И. И. Голикова»[31].

В комментариях к вышедшему в 1949 году и рассчитанному на широкий круг читателей Малому академическому изданию сочинений Пушкина было сказано: «Сохранившиеся материалы для Истории Петра Великого представляют собою, как это сознавал и сам Пушкин, лишь только предварительные конспекты книги Голикова»[32]. Наконец, в «Очерках истории исторической науки в СССР», вышедших в 1955 году, мы в статье «Исторические взгляды А. С. Пушкина» снова читаем, что поэт только «начал собирать материалы для задуманного большого труда» и что «результатом этой работы явился конспект известных «Деяний» И. И. Голикова, сопровожденный краткими примечаниями и комментариями» Пушкина (автор статьи – А. В. Предтеченский)[33]. Сходный взгляд высказал в 1952 году в своем докладе на Четвертой Всесоюзной Пушкинской конференции и академик Е. Тарле[34].

Между тем подобное представление о пушкинской «Истории Петра» является, как постараемся показать, ошибочным. Исходя из предвзятого представления и не считая нужным изучить заново огромный подготовительный текст «Истории Петра», исследователи не обратили на нее должного внимания; в связи с этим найденный труд Пушкина оставался, в отличие от остальных его работ, почти неизученным.

Современники сознавали значение труда, которым Пушкин был занят в последние годы жизни: они понимали или угадывали замысел поэта. Но с годами потеряна была не только рукопись его незавершенной книги, утрачено было и понимание того, чем должна была она стать по замыслу Пушкина.

Свидетельства современников поэта, до сих пор полностью не собранные и не оцененные, говорят о том, какое важное место занимала работа над созданием «Истории Петра» в творчестве Пушкина.

«Труд, за которым его застала смерть, – писал друг Пушкина П. А. Плетнев, – был выше всего, что мы от него получили. Он готовил нам историю Петра Великого. Эта мысль, овладевшая его душою, занимала его преимущественно в последние годы. Чувствуя живо величие предприятия, он желал совершить его до-

стойным образом. Заготовленные им материалы свидетельствуют, в какой полноте хотел он обнять предмет свой. Силы его таланта уже достаточно ручались за успех. Исполнение блистательное было всегда его уделом».

Труд его, говорит Плетнев,— помимо «знания, терпения, проницательности» и «непосредственного соприкосновения к идеям и силам исполинским» — требовал «оригинальной широкой кисти, чтоб ожила в подлинных красках вся эта чудесная эпоха»,— в книге Пушкина о Петре, понимал он, открывалась бы не только историческая, но и «художническая правда» [35].

«С месяц тому,— писал вскоре после смерти поэта историк М. А. Коркунов,— Пушкин разговаривал со мной о русской истории... С тех пор как он вознамерился описать царствование и деяния Великого Петра, в нем развернулась сильная любовь к историческим знаниям и исследованиям отечественной истории» [36].

«В последние годы он выдавал очень мало в свет... Петр Великий занимал все его внимание»,— писал о Пушкине историк Погодин, которого поэт хотел привлечь к сотрудничеству для работы в московских архивах над подготовкой «Истории Петра». «С усердием перечитал он,— свидетельствует Погодин,— все документы, относящиеся к жизни великого нашего преобразователя, все сочинения, о нем писанные» [37].

«Пушкин... умел приобрести... обширные познания в литературе и истории,— вспоминал Н. М. Смирнов, близко общавшийся с поэтом в последние годы его жизни.— Он читал очень много и, одаренный необыкновенною памятью, сохранял все сокровища, собранные им в книгах; особенно хорошо изучил он российскую историю и из оной всю эпоху с начала царствования Петра Великого до наших времен.

Его голова была наполнена характеристическими анекдотами всех знаменитых лиц последнего столетия, и он любил их рассказывать. Государь ему поручил написать Историю Петра Великого. Он этим делом занялся с любовию, но не хотел начать писать прежде, чем соберет все нужные материалы, а для достижения сего читал все, что было напечатано о сем государе, и рылся во всех архивах. Зная коротко Пушкина (и мое мнение разделено Жуковским, Вяземским, Плетневым,— подчеркивал Смирнов), я уверен, что он вполне удовлетворил бы строгим ожиданиям публики, ибо под личиною иногда ветрености и всегда светского человека он имел высокий проницательный ум, чистый взгляд, необыкновенную сметливость, память, не теряющую из виду малейших обстоятельств в самых дальних предметах, высоко благородную душу, большие познания в ис-

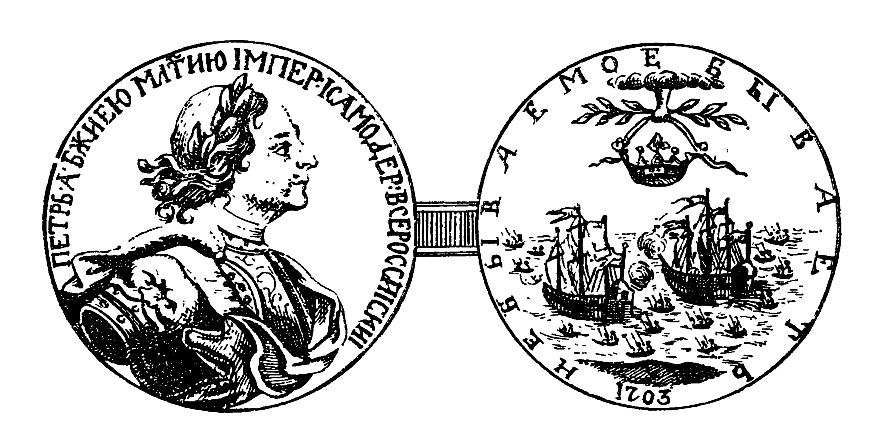
тории — словом, все качества, нужные для историографа, к которым он присоединял еще свой блистательный талант, как писатель»[38].

«В последнее время работа, состоящая у него на очереди,— писал о Пушкине Вяземский,— была история Петра Великого. Труд многосложный, многообъемлющий, почти всеобъемлющий. Это — целый мир! В Пушкине было верное понимание истории, свойство, которым одарены не все историки. Принадлежностями ума его были: ясность, проницательность и трезвость..., Он не писал бы картин по мерке и объему рам, заранее изготовленных, как то часто делают новейшие историки для удобного вложения в них событий и лиц, предстоящих изображению...»[39]

Свидетельства современников, близко знавших поэта, таким образом, подчеркивают, что Пушкин обладал не только всеми свойствами и данными, необходимыми для историка Петра, но и «с усердием» изучил «все документы» и «все сочинения, о нем писанные», «читал все, что было напечатано о сем государе, и рылся во всех архивах». Даже будущий цензор «Истории Петра» Никитенко, присутствовавший за неделю до смерти поэта при беседе Пушкина с Плетневым, заметил: «Видно, что он много читал о Петре». Но в этом же разговоре поэт, как было уже упомянуто, признавал, что «историю Петра пока нельзя писать, то есть (пояснил он.— *И. Ф.*) ее не позволят печатать»[40]. Вот почему, после того как рукопись была после смерти Пушкина запрещена, первые идущие из русских источников сведения об «Истории Петра» появились не в русской, а в зарубежной печати.

«С ним точно то, что с Пугачевым, которого память велено было предать забвению»,— писал Вяземский А. О. Смирновой, сообщая ей 25 марта 1837 года, что статья Леве-Веймара о Пушкине в «Журналь де деба» в России «не пропущена, хотя она довольно справедлива и писана с доброжелательством, а клеветы,— с грустью добавил Вяземский,— пропускаются»[41]. В статье своей Леве-Веймар, французский литератор, близко общавшийся в Петербурге с поэтом в последнее время его жизни, писал об «Истории Петра», основываясь на своих беседах с Пушкиным. Статья эта появилась в парижской газете 3 марта 1837 года.

В том же году в Германии вышла книга Кенига о русской литературе, в которой также сообщались сведения о работе поэта над подготовкой «Истории Петра». Книга эта, которую часто и вполне справедливо называют книгой Кенига — Мельгунова, была прямо основана на русских и притом достаточно серьезных источниках.



Медаль *«На взятие шведских фрегатов». 1703 г.*

Двадцатого февраля 1837 года Мельгунов писал Шевыреву из-за границы, что он «начал беседовать о Пушкине, а потом и о других русских писателях с одним немецким литератором, Кенигом; из бесед этих выходит книжка», – пояснял он. Князь Вяземский собирался переводить книгу Кенига, «но по цензурным условиям это оказалось делом бесполезным» [42]. Русское издание ее смогло выйти в Петербурге лишь спустя четверть века.

В книге этой, написанной под впечатлением смерти Пушкина, сообщалось: «Император поручил Пушкину (в 1831 г.) написать историю Петра Великого, и потому с этого времени ему производилось жалованье по 6000 рублей в год. Он осмотрел архивы петербургский и московский, собрал всю корреспонденцию Петра Великого и с жаром, серьезно принялся за дело. Он выработал совершенно новые, особенные взгляды на этого великого человека, проницательным взором историка следил за развитием его характера от вспыльчивости в молодости до снисходительности его в возмужалости. Судя по его симпатии к Петру, казалось, что он призван был отвергнуть нерасположенность к нему Карамзина» [43].

Здесь, как видим, осторожно, но прямо говорилось уже не о том только, что Пушкин «осмотрел архивы», но и сообщалось, что «он выработал совершенно новые, особенные взгляды» на Петра Великого. О том же, в чем заключались эти новые взгляды, умалчивалось: сказано только, что Пушкин призван был опровергнуть «нерасположенность» к Петру Карамзина, и упоминалось, что Пушкин следил за развитием характера Петра.

Леве-Веймар писал в своей статье:

«История Петра Великого, которую составлял Пушкин по приказанию императора, должна была быть удивительной книгой. Пушкин посетил все архивы Петербурга и Москвы. Он разыскал переписку Петра Великого включительно до записок полурусских, полунемецких, которые тот писал каждый день генералам, исполнявшим его приказания. Взгляды Пушкина на основание Петербурга были совершенно новы и обнаруживали в нем скорее великого и глубокого историка, нежели поэта. Он не скрывал между тем серьезного смущения, которое он испытывал при мысли, что ему встретятся большие затруднения показать русскому народу Петра Великого, каким он был в первые годы царствования, когда он с яростью приносил все в жертву своей цели. Но как великолепно проследил Пушкин эволюцию этого великого характера и с какой радостью, с каким удовлетворением правдивого историка он показывал нам государя, который когда-то разбивал зубы не желавшим отвечать на его допросах и который смягчился настолько к своей старости, что советовал не оскорблять даже словами мятежников, приходивших просить у него милости».

Говоря об исторических трудах Пушкина, Леве-Веймар заметил: «Его беседы на исторические темы доставляли удовольствие слушателям; об истории он говорил прекрасным языком поэта, как будто сам жил в таком же близком общении со всеми этими старыми царями, в каком жил с Петром Великим его предок Аннибал...»[44] Французский писатель, с которым поэт встречался в последние месяцы своей жизни, подчеркивая, что взгляды Пушкина обнаруживали в нем «великого и глубокого историка», отмечал, мы видим, что Пушкин «не скрывал серьезного смущения» по поводу трудностей, с которыми должен был встретиться, выступая в николаевской России как правдивый историк Петра.

Но, с понятной осторожностью говоря об оригинальных исторических взглядах, выработанных поэтом, современники свидетельствуют о том, как увлекательны были рассказы Пушкина о Петре. «Рассказами своими о Петре Пушкин удивлял Жуковского»,— вспоминал Петр Киреевский, который в 1835 году прожил несколько недель в Петербурге и через Жуковского познакомился с Пушкиным. «Он (Киреевский.— *И. Ф.*) часто видал его у Жуковского и один раз вместе с последним был у Пушкина. Киреевский хорошо помнит большую комнату со шкафами по бокам и с длинным столом посередине, заваленным бумагами»[45]. На столе этом в 1835 году, когда поэт, по собственным его словам, был «очень занят Петром» и создавал обширный

подготовительный текст своей «Истории», лежали, конечно, относящиеся к этому труду рукописи и бумаги Пушкина.

«Два дня тому назад мы провели очаровательный вечер,— писал 9 января 1837 года А. И. Тургенев.— Пушкин рассказывал нам анекдоты, черты Петра I и Екатерины II...» [46] Анекдоты эти Н. М. Смирнов называл, как мы помним, «характеристическими»,— это были устные рассказы Пушкина о Петре.

Итак, Пушкин, по словам современников, не только изучил эпоху Петра и выработал новые исторические взгляды на нее,— он своими рассказами о Петре поражал слушателей. Ограничивалось ли, однако, знакомство их с историческим трудом поэта рассказами Пушкина?

На вопрос этот отвечает в своем донесении о смерти Пушкина Густав Нордин, шведский поверенный в делах в Петербурге (сын шведского историка), который был лично знаком с поэтом (в дневнике Пушкина есть запись о его разговоре с Нордином — в декабре 1834 года) [47].

«Император поручил ему,— сообщал в своем донесении Нордин,— написать историю Петра Великого, и г. Пушкин в последние годы занимался изучением и исследованиями, необходимость коих вытекала из столь огромной задачи; те, кому довелось познакомиться с отрывками, написанными им уже на эту тему, способную действительно вдохновить русского историка, вдвойне оплакивают его преждевременную кончину» [48].

Приведенное свидетельство шведского дипломата, для которого история Петра, победившего Карла XII, должна была представлять особенный интерес, говорит нам, как видим, не о рассказах Пушкина, а об отрывках «Истории Петра», уже написанных, с которыми поэт счел возможным ознакомить некоторых слушателей.

Противоречит этому свидетельству,— но, как постараемся показать, противоречит только на первый взгляд,— запись Д. Е. Келлера о его разговоре с Пушкиным, состоявшемся незадолго до смерти поэта. Разговор касался самых острых вопросов, связанных с работой Пушкина над «Историей Петра». Келлер — «человек образованный» — переводил тогда дневник Патрика Гордона, представляющий собой важный источник для истории петровского времени, и должен был «знакомиться с массою сочинений, относящихся к этой эпохе» [49]. Записанный им разговор с Пушкиным представляет в связи со всем этим большой интерес.

Следует учесть, что содержательная запись Келлера была известна не полностью: она печаталась с отточиями, указывающими на какие-то пропуски в ней[50]. Необходимо поэтому установить по возможности полный текст этой записи.

Дневник Келлера находится ныне, как нам удалось выяснить, в Центральном Государственном военно-историческом архиве, в Москве[51]. Раскрыв подлинник, нетрудно убедиться, что точками в печатном тексте записи Келлера обозначены были места, не поддававшиеся прочтению в рукописи дневника. Некоторые строки в нем тщательно зачеркнуты (теми же чернилами, какими написан весь текст). Келлер внес в свой дневник подлинные слова поэта, но, по-видимому, сам испугался смелости своей записи и зачеркнул их[52].

Некоторые из зачеркнутых слов нам удалось все же прочесть, остальные прочитаны были по нашей просьбе в Центральной криминалистической лаборатории, при помощи специального фотографирования. В зачеркнутых Келлером строках речь идет о насильственной смерти царевича Алексея; к чтению их необходимо будет обратиться поэтому, когда мы коснемся работы Пушкина над источниками, относящимися к делу царевича Алексея. Сейчас же рассмотрим запись Келлера, лишь поскольку она может помочь нам выяснить, в какой мере продвинулась работа Пушкина над созданием «Истории Петра».

«Недели за три до смерти историографа Пушкина,— пишет Келлер,— был я по его приглашению у него.

Он много говорил со мной об *истории Петра Великого*. «Об этом государе,— сказал он между прочим,— можно написать более, чем об истории России вообще. Одно из затруднений составить историю его состоит в том, что многие писатели, недоброжелательствуя ему, представляли разные события в искаженном виде, другие с пристрастием осыпали похвалами все его действия». Александр Сергеевич на вопрос мой, скоро ли мы будем иметь удовольствие прочесть произведение его о Петре, отвечал: «Я до сих пор ничего еще не написал, занимался единственно собиранием материалов: хочу составить себе идею обо всем труде, потом напишу историю Петра в год или в течение полугода и стану исправлять по документам...»[53]

Итак, незадолго до смерти сам Пушкин сказал Келлеру, что думает закончить свой труд и написать «Историю Петра» «в год или в течение полугода», то есть (если мы учтем обширность этого труда) надеется закончить его вскоре, а между тем «до сих пор ничего еще не написал» и «занимался единственно собиранием материалов». Что же представляли собой в таком случае эти материалы, если они давали Пушкину воз-

можность так быстро закончить работу над «Историей Петра»?

«Определяйте значение слов,— повторял Пушкин,— и вы избавите свет от половины его заблуждений»[54]. Необходимо поэтому выяснить прежде всего, какой характер носили «материалы», о которых говорил Пушкин Келлеру, то есть написанный им в течение 1835 года — но недавно только ставший доступным изучению — подготовительный текст «Истории Петра». Сырые ли это материалы-выписки, или записи-конспекты, составленные Пушкиным на основе изучения исторических источников, или, может быть, писанные поэтом «про себя» черновые, но ценные по содержанию программы, отражающие уже историческую концепцию Пушкина и общие контуры создаваемой им «Истории Петра»? То есть не дает ли изучение даже и этого подготовительного текста возможности понять общий идейно-художественный замысел Пушкина?

Вспомним в этой связи, как обосновывал Чернышевский свой взгляд на значение неоконченных пушкинских произведений.

Возражая против высказанного редактором Пушкина — Анненковым — мнения, согласно которому не завершенные поэтом «Сцены из рыцарских времен» представляют собой «не настоящее произведение, а только план произведения» или «один остов произведения», Чернышевский писал: «Это произведение яснее всего показывает, что существенная красота заключена не в словах, которыми умеет гениальный писатель облечь свои мысли, а в том гениальном развитии, которое получает мысль в его уме, воображении, соображении, назовите это как хотите,— *в художественности, с какою представляется ему план, а не в выражении»*[55]. (Курсив наш.— *И. Ф.*) Эта мысль великого критика чрезвычайно важна, как увидим, для правильного понимания и оценки значения дошедшего до нас подготовительного текста «Истории Петра».

В самом деле, нельзя ли — говоря словами Чернышевского — проследить гениальное развитие, какое получила историческая «мысль» Пушкина в подготовительном тексте его будущей книги, и нельзя ли, изучая этот текст, понять «художественность», с какой представлялся ему «план» создаваемой книги? Нет ли в обширной пушкинской рукописи набросков, намечающих содержание и построение эпизодов и картин, которые должны были войти в состав подготовляемой им «Истории Петра», или даже созданных уже Пушкиным страниц и отрывков исторической прозы?

Только ответив на все эти вопросы и поняв назначение и действительный характер пушкинских «материалов», то есть напи-

санного Пушкиным подготовительного текста, охватывающего все царствование Петра, мы сможем судить о том, насколько далеко продвинулся незавершенный труд Пушкина и каким образом мог он рассчитывать закончить свою работу над «Историей Петра» за год или даже «в течение полугода».

Попытаемся прежде всего читать «Историю Петра» не предвзято, то есть не принимая заранее на веру утверждение о том, что в ней нет будто бы ничего, кроме выписок-конспектов; не будем бояться видимости беспорядка, вызываемого крайне неоднородным характером изучаемого нами подготовительного текста «Истории Петра» – и мы убедимся, что среди черновых программ и рабочих записей в нем проступают страницы, ничуть не похожие ни на выписки, ни на конспекты.

Приближаясь к изображению Северной войны, Пушкин пишет:

«Петр завоеванием Азова открыл себе путь и к Черному морю, но он не полагал того довольным для России и для намерения его сблизить свой народ с образованными государствами Европы. Турция лежала между ими. Он нетерпеливо обращал взоры свои на северо-запад и на Балтийское море, коим обладала Швеция. Он думал об Ижорской и Карельской земле, лежащих при Финском заливе, некогда нам принадлежавших, отторгнутых у нас незаконно во время несчастных наших войн и междуцарствия» [56]

Невозможно, кажется, отнести эту высокую историческую прозу Пушкина к числу «выписок» или «конспектов».

Вот другой пример. Вслед за строками, говорящими о решении молодого Петра отправиться в заграничное путешествие, мы читаем:

«Скоро намерение государя сделалось известно его подданным и произвело общий ужас и негодование.

Духовенство видело в сообщении с еретиками грех, воспрещаемый Священным писанием. Народ жадно слушал сии толкования и злобился на иноземцев, почитая их развратниками молодого царя. Отцы сыновей, отправляемых в чужие края, страшились и печалились. Науки и художества казались дворянам недостойным упражнением. Вскоре обнаружился заговор, коего Петр едва не сделался жертвою» (55–56).

В начале описания Каспийского похода Петра Пушкин пишет:

«Гусейн-шах в то время тиранствовал, преданный своим

«История Петра», «1722 г.»,
«Дела персидские». *Рукопись Пушкина. Фрагмент.*

евнухам, изнеможенный вином и гаремом. Бунты кипели около него. В поминутных мятежах истребился род Софиев.

На отдаленных границах Персии, близ Индии, кочевал дикий и воинственный народ: афганцы, происшедшие из Ширвана, близ Каспийского моря. Тамерлан (умер в 1405 году) поселил их в царстве Кандагарском; Мирвейс, происшедший из их рода, умел при дворе шаха снискать его доверенность, и он был назначен главным начальником над своими единоплеменниками...» (422).

Эти строки «Истории Петра» заставляют вспомнить слова Белинского, говорившего, что историческая проза Пушкина кажется писанной на меди и мраморе.

Перечитывая «Историю Петра», можно убедиться, что таких отрывков (вернее, заготовок) исторической прозы в подготовительном тексте ее немало, причем в ней встречаются не только небольшие отрывки, вроде только что приведенных, но и целые эпизоды, близкие к завершению.

Сколько таких страниц в незавершенной «Истории Петра» и каково их место в ней, выяснить путем простого чтения ее, без специального и более длительного изучения, невозможно. Но наличие такого рода страниц в созданном Пушкиным подготовительном тексте показывает, что работа его над книгой о Петре продвинулась много дальше, чем принято было думать.

Близкие к завершению и даже совсем готовые страницы исторической прозы Пушкина оставались незамеченными, главным образом, в связи с общей недооценкой «Истории Петра», точнее — в связи с предвзятой оценкой ее, исходящей из того, что в ней нет ничего, кроме «выписок-конспектов». Незамеченными эти страницы оставались, однако, и в силу еще одной более общей причины.

«Точность и краткость — вот первые достоинства прозы»[57], — писал Пушкин (а в другом месте заметил: «Прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна...»[58]).

Гениальный лаконизм Пушкина не раз озадачивал его критиков, даже когда они судили о законченных произведениях поэта. Вяземский считал, например, что в «Борисе Годунове» «иные сцены... недостаточно развиты» Пушкиным и представляют собой скорее «краткое содержание» (или «оглавления») сцен. Погодин заметил в свое время, что «многие читатели, привыкшие к риторике», обманывались «наружностью» «Истории Пугачева» и не отдавали ей справедливости «за мнимую простоту» ее[59]. Говоря о «скупости слога», характерной для «Капитанской дочки», современный нам исследователь подчеркивает, что «по своей сжатости и отрывочности подобная манера письма граничит с конспективной записью и, взятая сама по себе, воспринимается как предварительная словесная загрунтовка»[60].

Надо ли поэтому удивляться, что «нагая простота» гениальной пушкинской прозы, ее «точность и краткость» не однажды приводили к ошибке исследователей незавершенных произведений Пушкина. В статье «Пушкин и античность» И. И. Толстой справедливо писал по поводу неоконченной повести Пушкина «Цезарь путешествовал...»: «Общий тон рассказа охарактеризован у него значительной сжатостью. На первый взгляд можно подумать, что сжатость эта объясняется черновым характером первых набросков лишь намечавшейся поэтом повести. Но подобный вывод ошибочен...»[61] В подобную ошибку впали и редакторы пушкинской «Истории Петра»: гениальный лаконизм и «нагую простоту» создаваемой Пушкиным исторической прозы они не умели отличить от лаконизма черновых про-

грамм, среди которых рождались в подготовительном тексте «Истории Петра» страницы новой пушкинской прозы.

Но одни ли только разобщенные отрывки создаваемой Пушкиным исторической прозы можно найти в рукописи «Истории Петра»? Говоря о пушкинской рукописи, Анненков заметил, что в ней «обнаруживается тайная мысль историка». «Наиболее резким слогом,— отмечал он,— отличаются заметки, касающиеся женитьбы Петра на Екатерине... процесса царевича Алексея... процесса несчастных Монсов и,— осторожно добавлял он,— обстановки, сопровождавшей смерть реформатора»[62] (то есть борьбы дворцовых партий, завершившейся возведением на престол Екатерины).

В тех разделах пушкинской «Истории Петра», о которых говорит Анненков, обнаруживается, как увидим, не только «мысль» историка — притом вовсе не «тайная», а вполне определенная,— здесь, в «Истории Петра», проявилась глубокая осведомленность Пушкина, знавшего, как совершались в действительности исторические события, представленные в печатном своде Голикова часто в далеко не полном, смягченном или тенденциозном виде.

Приведем примеры, показывающие, что в подготовительном тексте своей «Истории» Пушкин вовсе не ограничивался тем, что он мог найти в голиковских «Деяниях Петра Великого». Касаясь дела царевича Алексея, Пушкин пишет: «...царевич отпирался. Пытка развязала ему язык» (398). Между тем о пытке, которой был подвергнут царевич по приказу Петра, Голиков умалчивает. Откуда же почерпнул Пушкин свои сведения и как узнал он о том, что «своеручные» показания царевич сначала писал «твердою рукою», «а потом после кнута — дрожащею»? (399).

Приведем другой пример: уже в самом начале своей «Истории», описывая поспешное бегство Петра (против которого царевна Софья в августе 1689 года «предначертала... новый мятеж»), Пушкин пишет: «Петр с обеими царицами, с царевной Наталией Алексеевной, с некоторыми боярами, с Гордоном, Лефортом и немногими потешными убежал в Троицкий монастырь (без штанов,— говорит Гордон)»[63].

Пушкин ссылается здесь на не изданные в то время страницы дневника Патрика Гордона, обнаруживая свое знакомство с этим важным рукописным источником. Голиков в «Деяниях Петра Великого» говорит лишь о том, что Петр «в великой скорости побежал в Троицкий Сергиев монастырь, яко обыкновенную свою от злодеев защиту»[64]. В книге Голикова «Изображение жизни

и всех славных дел... Лефорта... и Гордона...», сохранившейся в личной библиотеке Пушкина, также нет тех подробностей бегства Петра, которые имеет в виду Пушкин. И лишь в дневнике самого Патрика Гордона (подлинник которого хранится ныне в Москве в Центральном Государственном военно-историческом архиве) можно действительно прочесть о том, что Петр, «будучи извещен» о готовящемся на него покушении, «с великой поспешностью вскочил с постели, не надев сапог, и — в конюшню, где велел оседлать себе лошадь, и отправился в соседний лес, куда ему доставили одежду; одевшись, — говорит далее Гордон, — Петр с теми, кто был готов, с величайшей поспешностью поехал в монастырь св. Троицы, куда прибыл в 8-м часу утра, очень усталый» [65].

В те годы, когда Пушкин работал над своей «Историей Петра», эта запись Гордона не была еще известна в печати. Но Пушкин, как мы узнаем из дневника Келлера, располагал «выпиской из Гордона на немецком языке о стрелецких делах» [66]. Это была, несомненно, выдержка из немецкого рукописного перевода, сделанного с английского подлинника историком Стриттером (рукопись которого приобрел Погодин) [67].

Рассказав в подготовительном тексте своей «Истории» о бегстве Петра и кратко добавив: «без штанов, — говорит Гордон», Пушкин в этой сделанной для себя записи обнаруживает не только знакомство с дневником Гордона, но и намерение использовать этот источник в окончательном тексте «Истории Петра», где, конечно, заменил бы свое резкое выражение другим, более уместным в печати.

В записи о беседе с поэтом Келлер указывает, что Пушкин «изъявил готовность помогать» ему в его «занятиях книгами и манускриптами», относящимися к истории Петра, которыми Пушкин, как видно, располагал.

Эта осведомленность, основанная на широком знакомстве с историческими источниками, включая источники, которые не были доступны Голикову (либо не могли быть напечатаны последним), давала Пушкину возможность устанавливать действительную картину событий, которые он готовился изобразить в своей «Истории Петра».

Вслед за черновой программой рассказа о деле камергера Монса мы в ней читаем:

«Оправдалась ли Екатерина в глазах грозного супруга? по крайней мере ревность и подозрение терзали его. Он повез ее около эшафота, на котором торчала голова несчастного. Он перестал с нею говорить, доступ к нему был ей запрещен. Один только раз, по просьбе любимой его дочери Елисаветы, Петр согла-

сился отобедать с той, которая в течение 20 лет была неразлучною его подругою» (458).

Перед нами не только образец блестящей пушкинской прозы. Говоря о последней тетради «Истории Петра», в состав которой входят эти строки, даже П. Попов, считавший, что Пушкин всюду, за самыми малыми исключениями, следует Голикову, не мог не заметить, что «в сообщениях об Екатерине Пушкин дополняет Голикова, освещая по-своему ее фигуру и взаимоотношения с Монсом; вряд ли, впрочем, — полагал названный исследователь, — Пушкин здесь прибегал к каким-либо печатным источникам, храня в памяти традиционные рассказы о романе Екатерины» [68].

Между тем сведения о деле Монса, чрезвычайно его интересовавшем, Пушкин черпал в печатных источниках, сохранившихся в его библиотеке, — в «Истории Екатерины II» Кастера (отлично ему известной) [69], в «Истории России и Петра Великого» графа Сегюра [70] и проч. Но, стремясь проверить найденные им здесь рассказы, Пушкин мог, помимо устных преданий, прибегнуть и к рукописям, то есть прежде всего к запискам современников, например к запискам иностранных послов, являвшихся свидетелями романа Екатерины и казни Монса.

Напомним, что такой крупнейший знаток и издатель русских исторических источников, как Александр Тургенев, который в 1835—1836 годах изучал в парижских архивах донесения французских послов при петровском дворе, освещающие целый ряд тайных дел и событий его царствования, вспоминает, что он находил в Пушкине «сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные...» [71].

Предвзятая мысль о том, что Пушкин, изучая историю Петра, ни с чем почти, кроме труда Голикова, не ознакомился, помешала исследователям заметить даже прямые ссылки поэта на использованные им рукописные и архивные источники, подобно тому как не заметили проступающих в «Истории Петра» страниц пушкинской исторической прозы. Незамеченной, как ни странно, оказалась даже ссылка Пушкина на хранившееся в Государственном архиве подлинное следственное дело царевича Алексея. Между тем исторические изучения, развернутые Пушкиным, отразились далеко не только в тех местах его «Истории», где он прямо ссылается на свои источники и называет их. Мы не лишены, однако, возможности установить путем более углубленного исследования действительный круг исторических источников, изученных Пушкиным.

Комментаторы говорили нам до последнего времени, что

«вплотную к изучению истории Петра Пушкин подошел лишь в самом конце 1834 года»; они утверждали, что дошедшая до нас рукопись «Истории Петра», начатая Пушкиным в январе и оконченная в декабре 1835 года, «не обнаруживает следов каких-либо предшествующих архивных занятий», что «до конца своей жизни Пушкин считал себя плохо ориентированным в литературе эпохи Петра» и потому использованные им — помимо Голикова — источники были «немногочисленны» (или «ничтожны»)[72]. Но верна ли была рисуемая комментаторами картина работы Пушкина над созданием «Истории Петра»?

Говоря в одной из своих статей о недописанной «Истории» Карамзина и отвечая на вопрос Полевого: «Когда же думал историк?», заданный по поводу того, что последняя глава последнего тома «Истории» «была еще не дописана Карамзиным, а начало ее вместе с первыми четырьмя главами было уже переписано и готово к печати», — Пушкин указывал, что задолго до того, как историк начал свой труд, «думал он об истории России и мысленно обнимал свое будущее создание». Вероятно, замечает при этом Пушкин, что последний, оставшийся недописанным том «Истории» Карамзина «не был им еще начат, а уж историк думал о той странице, на которой смерть застала последнюю его мысль...»[73].

Слова эти прямо могут быть отнесены к работе Пушкина над «Историей Петра»: Пушкин, прежде чем начал ее, уже мысленно обнимал свое будущее создание. «Написать историю Петра Великого», сообщал он в июле 1831 года, было «давнишним» его желанием[74]. «Я непременно напишу историю Петра I», — сказал он уже в 1827 году[75].

В так называемых «Заметках по русской истории XVIII века» Пушкин еще в 1822 году высказал глубокий взгляд на Петра, предвосхитивший во многом взгляды, развитые им тринадцать лет спустя в подготовительном тексте своей «Истории». Называя Петра I — в отличие от его «ничтожных наследников» — «сильным человеком», «исполином», Пушкин вместе с тем в 1822 году писал: «История представляет около его всеобщее рабство... все состояния, окованные без разбора, были равны пред его *дубинкою*» (в черновике было сказано «пред его палкой»). «Все дрожало, все безмолвно повиновалось»[76].

Стремясь определить, кем был Петр, Пушкин написал тогда в черновике: «...после... смерти деспота...», а потом — «после... смерти великого человека...»[77]. Эти строки показывают, как ясно видел Пушкин — уже в начале 20-х годов — двойственность, противоречивость исторической деятельности Петра.

От современников, с которыми он в 30-е годы делился свои-

ми мыслями, ускользала диалектика, свойственная суждениям Пушкина о Петре, и в своих воспоминаниях они передают то одну, то другую сторону его суждений. Но односторонние — и в силу этого на первый взгляд противоречащие друг другу — сообщения современников, взятые в совокупности, раскрывают действительное отношение Пушкина к Петру.

«По пути в Берды, — передает Даль свой разговор с поэтом в сентябре 1833 года, — Пушкин рассказывал мне, чем он занят теперь и что еще намерен и надеется сделать... Пушкин потом воспламенился в полном смысле слова, коснувшись Петра Великого... Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина: он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко, — надо отодвинуться на два века, — но постигаю его чувством. Чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие лишает меня средств мыслить и судить свободно. Не надобно торопиться: надобно освоиться с предметом и постоянно им заниматься: время это исправит»[78].

Стремясь «обнять вдруг умом этого исполина» и все глубже изучая эпоху Петра, Пушкин, как видим, подчеркивал в разговоре с Далем необходимость взглянуть на Петра исторически, объемлющим взглядом, то есть прежде всего избежать одностороннего воззрения на него — преодолеть «изумление», чтоб оказаться в состоянии «свободно» «мыслить и судить» о нем.

Это стремление Пушкина, высказываемое им в разговорах с друзьями, дало повод Н. Языкову еще в декабре 1831 года писать брату: «Пушкин только и говорит, что о Петре, которого не возлюбляет. Он много, дескать, собрал и еще соберет новых сведений для своей истории, открыл, сообразил, осветил и проч.»[79]. В историческом критицизме Пушкина Языков увидел всего только нелюбовь к Петру. Вместе с тем Языков свидетельствует, что уже в 1831 году, то есть в то время, когда Пушкин, как думали комментаторы «Истории Петра», еще почти не приступал к своему труду, он, по собственным его словам, собрал уже «много... новых сведений для своей истории, открыл, сообразил, осветил и проч.».

Эти слова Пушкина (относительно которого те же комментаторы утверждали, будто он «до конца своей жизни... считал себя плохо ориентированным в литературе эпохи Петра») заставляют напомнить, что изучение посвященных Петровской эпохе исторических источников Пушкин бесспорно начал с голиковских «Деяний Петра Великого», но начал не в 1835 году, а десятилетием раньше, в 1825 году, в Михайловском.

«Как известно, внимание Пушкина с давних пор останавливалось на личности и деятельности Петра Великого», и потому

он,— отмечал еще П. О. Морозов,— «усердно читал «Деяния» Голикова и разные другие сочинения, касающиеся Петровской эпохи», прежде чем «наконец в половине 1831 года серьезно задумал заняться составлением истории Петра...»[80]. Признавая знакомство с монументальным сводом Голикова и другими печатными источниками для историка недостаточным, Пушкин в 1831 году извещал Нащокина: «Зимой зароюсь в архивы, куда вход дозволен мне царем»[81].

«С зимы 1832 года,— пишет о Пушкине Анненков, основываясь на свидетельствах современников,— он стал посвящать все свое время работе в архивах»[82]. «Приступив к сочинению истории Петра Великого,— вспоминал Плетнев,— он каждое утро отправлялся в какой-нибудь архив»[83].

Увлекшись в 1833 году историей Пугачева и с успехом окончив ее, Пушкин в 1834 году вновь усиленно занялся «Историей Петра». И к середине 1834 года сообщал жене из Петербурга: «Скопляю матерьялы — привожу в порядок...»[84], а 11 июня того же 1834 года писал ей: «Петр 1-й идет; того и гляди, напечатаю 1-й том к зиме»[85].

Отказавшись затем, по-видимому, от мысли издавать «Историю Петра» отдельными томами, по мере окончания работы над каждым томом, Пушкин, как можно заключить из слов, сказанных им Келлеру, решил сначала «составить себе идею» (то есть представление) «обо всем труде» (а не о Петре, взгляд на которого определился для Пушкина много ранее). И в соответствии с этим новым решением продолжал собирать материалы, развивая и совершенствуя вместе с тем свою историческую концепцию. В свете ее и был создан Пушкиным в течение 1835 года подготовительный текст истории Петра, целиком охватывающий все его царствование.

Окончание этого подготовительного текста не означало окончания всей подготовительной работы историка. В мае 1836 года Пушкин писал, что принужден будет еще «месяцев на шесть» «зарыться в архивы»[86]. Пушкин «очень занят своим Петром Великим»,— сообщал тогда же Чаадаев А. И. Тургеневу[87].

«По рассказам приближенных Пушкина, его особенно тревожила мысль, что долгие сборы его на заложение фундамента истории будут приписаны, пожалуй, отвращению к герою ее, могут показаться бегством с поля сражения...»[88] Но, сознавая, что его «Историю Петра» в ближайшее время «не позволят печатать», поэт продолжал свой труд.

Когда Пушкин, не в силах будучи терпеть «свинство», окружавшее, по его словам, царя[89], подал просьбу об отставке, он просил только, чтобы вход в архивы не был ему запрещен.

А когда Николай отказал, «так как право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенною доверенностию начальства»[90], Пушкин взял просьбу об отставке назад. Решение его было связано, конечно, не только с угрожающим тоном ответа, но и со стремлением закончить работу над «Историей Петра».

Даже в предшествовавшие дуэли последние месяцы Пушкин продолжал заниматься «Историей Петра». В конце декабря 1836 года он сообщал, что «Петр Великий» отнимает у него «много времени»[91]. В эти месяцы он виделся почти ежедневно с Александром Ивановичем Тургеневым, который привез в Петербург извлеченные им из парижских архивов копии донесений французских послов при дворе Петра I и его преемников.

Еще до того, как Тургенев представил эти, в то время секретные, исторические материалы и «экстракты» из них Николаю I, он показал их, как теперь выясняется, Пушкину. 9 января 1837 года Тургенев записал в своем дневнике: «Я зашел к Пушкину.... Потом он был у меня, мы рассматривали французские бумаги и заболтались до 4-х часов...»

26 января — накануне дуэли Пушкина — запись Тургенева гласит: «Я сидел до 4-го часа, перечитывал мои письма», а затем говорится: «Успел только прочесть Пушкину выписку из пар[ижских] бумаг...»

Эти краткие записи, опубликованные в свое время среди других извлечений из дневника А. И. Тургенева[92], не привлекли внимания исследователей, и содержание их оставалось нераскрытым. Между тем изучение подлинного дневника А. И. Тургенева, остающегося, в большей своей части, неизданным[93], и других материалов тургеневского архива позволяет установить, что «французскими» или «парижскими» бумагами А. И. Тургенев называет в интересующих нас записях привезенные им в копиях из Парижа и показанные Пушкину архивные исторические материалы.

Сделанные А. И. Тургеневым выписки из «парижских бумаг» легли позднее в основу печатного «обозрения» донесений французских послов «в век Петра I», извлеченных им из архивов[94], а привезенные им многочисленные копии донесений поступили в Государственный архив империи[95]. Полвека спустя подлинники их увидели свет в сборниках Русского исторического общества[96].

Мы не только обнаруживаем теперь, что Пушкин незадолго до смерти видел эти интереснейшие исторические документы. Изучив записи, сохранившиеся в дневнике А. И. Тургенева, и обра-

тившись к содержанию тех «французских бумаг», которые он читал и показывал Пушкину, мы узнаем, с какими, казалось бы недоступными, иностранными архивными материалами начал в последние недели своей жизни знакомиться Пушкин [97].

Он читал или слушал их в последний раз накануне дуэли: секундант еще не был им найден, и, уйдя от Тургенева, Пушкин принужден был в тот же вечер искать его.

«Перед дуэлью Пушкин не искал смерти: напротив, надеясь застрелить Дантеса, поэт, по свидетельству близкого к нему современника, располагал поплатиться за это лишь новою ссылкою в Михайловское... и там-то на свободе предполагал заняться составлением «Истории Петра Великого» [98].

ЗАМЫСЕЛ ПУШКИНА

Изучая «Историю Петра», не следует, разумеется, упускать из виду, что перед нами еще только подготовительный, писанный Пушкиным большей частью «про себя» и потому неоднородный текст, на основе которого должна была быть написана задуманная им великая книга. Но изучение этого подготовительного текста дает возможность видеть процесс творчества Пушкина, приближая нас к пониманию того, чем должна была стать, по его замыслу, «История Петра». Когда мы начинаем уяснять себе намечающееся в ходе работы Пушкина строение ее, раскрывая при этом смысл пушкинских указаний на используемые им исторические источники, в его незавершенной «Истории» оживают не только готовые или почти готовые места, но и гораздо более многочисленные страницы совсем чернового или даже программного характера; в свете изучения творческой истории незавершенной книги Пушкина перед нами открывается увлекательная возможность читать эту только еще создающуюся книгу, и «История Петра», как бы далека ни была она еще в целом от завершения, предстает перед нами как очень значительное, во многом уже подготовленное произведение Пушкина.

В связи со сказанным необходимо, мне кажется, коснуться вопроса о том, как встречен был развиваемый нами взгляд — точнее, новое представление о том, чем является в действительности подготовительный текст «Истории Петра».

Новый взгляд на нее, впервые изложенный нами в работе «Незавершенная книга Пушкина», опубликованной в 1949 году

в «Вестнике Академии наук СССР»[1], нашел вскоре отражение в VI томе десятитомной «Истории русской литературы», изданном Пушкинским домом в 1953 году. Вслед за нашими работами в труде этом признано было, что «Подготовительные тексты» «Истории Петра» «дают возможность всесторонне раскрыть замысел Пушкина» — и кратко определялась сущность его исторических взглядов, которые должны были «явиться основой» задуманной им «Истории»; признавалось также, что Пушкин решал в ней не только научно-исторические, но и художественные задачи. Тем не менее авторы этого труда продолжали называть подготовительный текст «Истории» всего только «обширнейшим конспектом» голиковских «Деяний Петра Великого»[2].

В третьем десятитомном академическом издании сочинений Пушкина, вышедшем в 1965 году, также заметен известный сдвиг в оценке «Истории Петра». В первом издании этого десятитомника говорилось, что вся она представляет собой «лишь только предварительные конспекты книги Голикова». В третьем издании этого десятитомника говорится уже иное: мы читаем в нем (т. IX, 1965 г., с. 543), что текст «Истории Петра» «представляет собой подробный конспект предполагавшегося сочинения Пушкина» (а не «предварительные конспекты книги Голикова»). Комментаторы продолжают при этом утверждать (см. т а м ж е), что весь текст пушкинской «Истории» «имеет характер черновых записей для себя», и по-прежнему не замечают проступающих в рукописи страниц исторической прозы Пушкина[3].

Мы говорили уже о том, какие причины долго мешали исследователям обнаружить историческую прозу в подготовительном тексте «Истории Петра». Трудность задачи усугублялась тем, что проза эта не отделена внешним образом в пушкинской рукописи от черновых программ и иных, писанных Пушкиным для себя, черновых вспомогательных текстов. Но трудно понять, что удерживает цитированных нами комментаторов от пересмотра своего устарелого взгляда на подготовительный текст «Истории Петра», как на конспекты — и только — теперь, после того как историческая проза в нем наконец обнаружена (что было широко признано за последние годы литературной критикой).

Мы вынуждены напомнить поэтому, что признание неожиданно обнаруженных в «Истории Петра» готовых страниц страницами прекрасной пушкинской прозы высказано было впервые более двадцати пяти лет назад, при подготовке к печати книги «Незавершенные работы Пушкина» (1953—1955 гг.), прежде все-

го в отзывах В. В. Виноградова и С. М. Бонди, который писал в своей статье по выходе книги:

«Автор показывает, что в «Материалах по истории Петра» есть целые куски вполне (или почти вполне) законченной, художественно отработанной прекрасной пушкинской прозы (описание взятия Нарвы, смерть Петра и ряд других мест)», признавая эти пушкинские страницы «блестящими художественно-историческими картинами», ученый заметил: «Оказывается, мы являемся обладателями неоцененных сокровищ чудесной пушкинской прозы и не знаем об этом»[4].

Взгляд этот был затем не раз подтвержден в статьях и рецензиях на книгу «Незавершенные работы Пушкина», принадлежащих — что в данном случае не лишено значения — перу не только литературоведов, но и писателей. Критика эта подтверждает, что новое изучение позволило обнаружить в незавершенной «Истории Петра» «образцы творческой прозы Пушкина» (П. Антокольский)[5], «многочисленные драгоценные страницы подлинной исторической прозы поэта» (С. Марвич)[6], говоря иначе — «мощные таблицы пушкинской прозы» (Ю. Олеша)[7], «отточенные куски», которые, «как теперь уже доказано, являются прятавшимися среди заметок и конспектов страницами блистательной пушкинской прозы» (К. Симонов)[8]. «Нам стало доступно,— пишет В. Субботин,— недоступное и неизвестное раньше — высокая историческая проза великого поэта»[9].

Раньше чем говорить об изучении Пушкиным исторических источников и о том, как он перерабатывал найденный им в этих источниках обширный исторический материал, создавая свою «Историю Петра», попытаемся сначала раскрыть замысел Пушкина, выяснить его историческую концепцию и проследить, каким образом она превращалась под его пером в художественно-историческую концепцию.

Неверным является прежде всего представление, будто исторической концепции, которая могла бы лечь в основу «Истории Петра», у Пушкина в то время, когда он приступал в 1835 году к составлению подготовительного текста ее, еще не было и что Пушкину только предстояло выработать свою точку зрения на Петра, после того как он окончит изучение голиковского свода[10].

В действительности, когда Пушкин начал писать подготовительный текст своей «Истории», взгляды его на Петра не только определились, но и были развиты им уже в блестящем историческом введении к статье, начинающейся словами: «Долго Россия

оставалась чуждою Европе», — и отражены в его глубоких исторических заметках 30-х годов (печатаемых ныне под условным названием «О дворянстве»).

Исторический спор, решенный в эпоху Петра на полях битв, продолжался после смерти его на страницах книг. Вопрос о Петре был в глазах Пушкина не только вопросом о прошлом, но и о будущем России. Создавая книгу о Петре, он спорил с теми иностранными писателями, для которых русский народ был, по словам поэта, вечным предметом невежественной клеветы. Но спор этот был для Пушкина спором не только с «клеветниками России».

Своим «Медным всадником» Пушкин спорил с Мицкевичем, о котором Герцен так верно сказал, что «он далек от ненависти к России — напротив, он хвалит ее», но что «в Петре он понял одну отрицательную сторону»[11]. «Историей Петра» Пушкин спорил против недооценки — и непонимания — прошлого России, сказавшейся в исторических взглядах Чаадаева.

Чаадаев писал в своем «Философическом письме», что у России, в отличие от Западной Европы, не было подлинной истории; историческое прошлое России казалось ему бледным, полузабытым сном. Против этих взглядов Чаадаева великий поэт решительно возражал.

Незадолго до своей трагической гибели, в день, когда он в стихотворении «19 октября 1836 года» подводил итоги за четверть века, Пушкин писал Чаадаеву, возражая на его «Философическое письмо»: «...Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя... но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой бог нам дал ее». «...Пробуждение России, развитие ее могущества, — писал Пушкин в том же письме, — ее движение к единству (к русскому единству, разумеется)... Как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один целая всемирная история!»[12]

Отвергая старую историю России, Петра Чаадаев признавал великим, восхищался «высоким умом этого необыкновенного человека», стремлением сблизить Россию с Европой (хотя заметил, что Петр кинул нам лишь «плащ цивилизации») и потому с сочувствием отнесся к историческому труду поэта. И может быть, не без влияния давних споров и бесед с ним, пересматривая свои взгляды, Чаадаев вскоре осознал, что «преувеличением было

опечалиться хоть на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина»[13].

В войне, которую Петр вел против шведских завоевателей, решалась судьба русского народа и государства: исторический канун Полтавы охарактеризован Пушкиным в «Истории Петра» (183—184) следующими глубоко выразительными строками:

«Петр, желая мира, предлагал оный Карлу... На сие Карл ответствовал: о мире буду с царем говорить в Москве, взыскав с него 30 миллионов за издержки войны. Министры шведские объявили намерение короля свергнуть Петра с престола, уничтожить регулярное (русское. — *И. Ф.*) войско и разделить Россию на малые княжества. Генерал Шпар был назначен уже московским губернатором и хвалился, что они русскую *чернь*... не только из России, но со света плетьми выгонят. Известен, — пишет Пушкин, — отзыв Петра: — *Брат мой Карл хочет быть Александром* — etc.» (то есть брат мой Карл хочет быть Александром Македонским). Но он, сказал Петр, не найдет во мне Дария (царство которого разрушил Александр) (184).

Пушкин пишет здесь о том самом шведском генерале (Спарре), несостоявшемся московском губернаторе, о котором потом заметит, что тот бежал с Карлом XII и несколькими сотнями драбантов после полтавского разгрома в Турцию (219).

Драматический переход от поражений Петра к победам России над Швецией с необыкновенной выразительностью является читателю на страницах, посвященных Пушкиным победе под Лесной, которую, пишет Пушкин, «Петр называл потом матерью Полтавской победы, последовавшей через девять месяцев».

В начале описания этого боя Пушкин говорит:

«Казаки и калмыки имели повеления, стоя за фрунтом, колоть всех наших, кои побегут или назад подадутся, не исключая самого государя» (197).

А рассказав о разгроме шведов, пишет: «Ночь и вьюга спасли остаток шведского войска. Солдаты наши ночевали, кого где вьюга застала. Сам Петр, покрытый снегом и льдом, провел тут же ночь далеко от лагеря».

Далее идут строки, кончающиеся словами:

«Все было поражено. Казаки и калмыки кололи шведских беглецов в лесах и по болотам. Многие из них погибли даже от руки мужиков. Левенгаупт почти один явился к королю с известием о своем поражении».

Вслед за этим недоработанным описанием победы под Лесной Пушкин пишет: «В Смоленск Петр вступил с торжеством». И заключает: «Шведы потеряли свою самонадеянность и презрение к русским» (197—199).

Пушкин возражал против отрицания исторического значения прошлого России, указывал на развитие ее могущества, на движение ее к единству и в допетровский период и в эпоху Петра и решительно отвергал преклонение Чаадаева перед Западом. Горячо возражая тем, кто видел в исторической деятельности Петра одни только отрицательные стороны, Пушкин не разделял и официозной апологетической точки зрения на Петра.

Чтобы оценить смелость и прогрессивность исторической концепции Пушкина, напомним, какой характер носили рассуждения о Петре Полевого, взгляды которого Николай I одобрял. Полевой писал о Петре Великом: «Указывать на ошибки его нельзя, ибо мы не знаем: не кажется ли нам ошибкою то, что необходимо в будущем, для нас еще не наставшем, но что он уже предвидел» [14]. «В частной, семейной жизни добродетели человека и христианина соединились в Петре Великом. Он был добрый сын, нежный брат, любящий супруг, чадолюбивый отец, домовитый хозяин, тихий семьянин, верный друг...» [15]

Пушкин в 1834 году писал о Петре иначе:

«Россия вошла в Европу, как спущенный корабль,— при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы» [16]. В том же кратком очерке исторических судеб России Пушкин смело писал о «крутом и кровавом перевороте, произведенном мощным самодержавием Петра» [17].

В статье своей Пушкин вместе с тем заметил: «Петр был нетерпелив. Став главою *новых идей*, он, может быть, дал слишком крутой оборот огромным колесам государства» [18]. Но важнейшим из исторических суждений Пушкина о Петре, сформулированным в его «Истории», было обобщение, в котором он раскрывает противоречивость исторической деятельности Петра. «Достойна удивления,— писал он,— разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плод ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые — жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего,— вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика» [19].

Эта основная для исторической концепции Пушкина мысль,

1722.

Петръ былъ гневенъ.
Не смотря на всѣ его
указы, Дворяне не яви-
лись на смотръ въ Сенатъ.
Онъ, 11 янв. издалъ Указъ
превосходящiй жестокостiю
всѣ прежнiе, и коимъ
подтверждаетъ онъ свои
повеленiя, и изобрѣтаетъ
новыя штрафы. Источники
постановленiй всѣхъ законовъ.

«История Петра». «1722 г.» («Петр был гневен...»).
Рукопись Пушкина. Фрагмент.

ставшая известной еще в прошлом веке, подкрепляется и обогащается многими страницами «Истории Петра», увидевшими свет лишь в наши дни.

Мы имеем, кроме того, возможность добавить к строкам, изъятым николаевской цензурой из «Истории Петра» и опубликованным Анненковым, еще два замечания Пушкина, устраненных в 1840 году из рукописи Сербиновичем перед представлением ее в официальную цензуру.

Изучение упомянутого выше «Дела о рукописи А. С. Пушкина «Материалы для Истории Петра Великого» дало нам возможность убедиться, что в числе изъятых последним замечаний поэта о Петре сохранились — в копии — строки Пушкина, остававшиеся до недавнего времени неизвестными; с появлением их в печати нам становятся доступными все высказывания Пушкина, которые были в прошлом веке исключены по цензурным соображениям из «Истории Петра».

Эти строки Пушкина (опубликованные нами в 1950 году[20]) уясняют вторую существенную сторону выработанной Пушкиным концепции: Пушкин делит царствование Петра на два различных периода, подчеркивая отличие второго периода от первого. Характеризуя в строках, о которых мы говорим, один из петровских указов, изданных в 1719 году (какой именно — неизвестно, так как наименование его осталось в не дошедшей до нас тетради), Пушкин оценивает его как *«указ весьма благоразумный с малой примесью самовластия и,* — обобщает Пушкин в этой связи, — *с тою вольною системою, коей ознаменовано последнее время царствования Петра»*[21].

Чем же, с точки зрения поэта, могло определяться различие между двумя явно разграничиваемыми им таким образом периодами царствования Петра и чем «система», ознаменовавшая последний период царствования Петра (которую Пушкин называет здесь «вольной»), отличалась от первого периода?

Современники указывали, что Пушкин ставил перед собой задачу проследить развитие характера Петра — «от вспыльчивости в молодости до снисходительности его в возмужалости». Пушкин в самом деле стремился дать образ Петра в развитии. Говоря, например, о смерти любимого царем трехлетнего наследника, рожденного ему Екатериной, Пушкин заметил: «Смерть сия сломила, наконец, железную душу Петра» (412).

Но перемена в царствовании Петра, о которой говорит Пушкин в новых для нас строках своей «Истории», не сводилась, по его мысли, к изменению, наступившему с годами в крутом характере Петра. В отличие, например, от Карамзина, объяснявшего перелом, совершившийся в царствовании Ивана IV, измене-

нием характера царя, Пушкин ясно говорит об изменении «системы» царствования Петра.

Не может быть сведена эта перемена, с точки зрения Пушкина, также к существенному изменению свойственных Петру приемов управления государством. Пушкин подчеркивал в «Истории Петра», что и в последние годы жизни Петр нередко писал свои указы по-прежнему – «кнутом»: указы с большой, а не только «малой примесью самовластия» он продолжал издавать и при новой, «вольной системе», ознаменовавшей, по словам Пушкина, последние годы его царствования (11 января, записал, например, Пушкин под 1722 годом, Петр «издал указ, превосходящий варварством все прежние...», 415).

Наконец – и это самое важное, – вольная, по выражению Пушкина, система последних лет царствования Петра ни в какой степени не означала вольности для народа.

Еще за полвека до того, как Пушкин приступил к своей «Истории Петра», Радищев, несмотря на то, что видел в Петре «мужа необыкновенного, название великого заслужившего правильно», говорил, что «мог бы Петр славнее быть», «утверждая вольность частную»[22].

Крепостная деревня даже век спустя после смерти Петра мало чем отличалась от допетровской деревни. В пушкинском «Путешествии из Москвы в Петербург» полемизирующий с Радищевым путешественник вынужден это признать. «Ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 году, как русская деревня в 1833 году», – говорит он, имея в виду, конечно, не один только наружный вид крепостной русской деревни[23].

В чем же заключалась в таком случае, с точки зрения Пушкина, перемена в системе царствования Петра? Ответ на этот вопрос помогают дать суждения Пушкина, не предназначавшиеся для печати, но сохранившиеся в его исторических заметках и черновиках 30-х годов. В них, так же как в подготовительном тексте своей «Истории Петра», Пушкин высказывался, не задумываясь о печати и цензуре; поэтому они представляют для нас особый интерес.

Еще до того, как поэт создал подготовительный текст «Истории Петра», в одной из своих статей он писал, как мы видели, о «крутом и кровавом перевороте, произведенном мощным самодержавием Петра»[24]. Говоря далее (в черновиках той же статьи) о Петре, Пушкин пишет о «мерах *революционных*», которые были предприняты им «по необходимости, в минуту преобразования, и которые не успел он отменить...»[25]. Пушкин ставил здесь, таким образом, вопрос о том, что Петр, совершив кровавыми средствами крутой переворот (в других местах Пуш-

кин прямо называет этот переворот «революцией»), перешел в последний период царствования к решению новой задачи. Пушкин пишет об этом и в своих упомянутых уже исторических заметках 30-х годов, смысл которых раскрывается теперь с большой ясностью. «Средства, которыми достигается революция,— проницательно указывает он в этих заметках,— недостаточны для ее закрепления». И тут же выразительным сравнением поясняет свою мысль: «Петр I — одновременно Робеспьер и Наполеон (воплощение революции)»[26].

Сравнивая Петра не только с Робеспьером, но и с Наполеоном (самовластно закреплявшим только выгодные крупной буржуазии результаты Французской революции), Пушкин считал, что Петр — «гений всеразрушительный и всесозидающий» — закреплял с помощью новых средств во второй период своего царствования результаты совершенного им ранее переворота, хотя делал это, с точки зрения Пушкина, недостаточно последовательно. Различный характер этих последовательно решаемых исторических задач и определял, видимо, то существенное различие между двумя периодами петровского царствования, о котором говорят новые для нас строки пушкинской «Истории». «Вольная система», ознаменовавшая последнее время правления Петра, соответствовала в глазах Пушкина периоду закрепления основных результатов переворота, совершенного ранее царем при помощи крутых, «революционных» мер.

Дописав подготовительный текст своей «Истории», изучив и продумав в ходе своей работы новый обширный исторический материал, Пушкин снова вернулся к этому кругу мыслей. В дошедших до нас черновиках программного письма к Чаадаеву от 19 октября 1836 года Пушкин указывает, против кого была направлена, по его мнению, «революция» Петра и в чем заключался исторический, социальный смысл этой произведенной самодержавием «революции». Он указывает, что Петр «уничтожил» — затем зачеркивает это слово и пишет «укротил» — дворянство, «опубликовав *Табель о рангах*», и духовенство, «отменив патриаршество»[27]. Под «дворянством» Пушкин разумеет здесь наследственную земельную аристократию[28]. Это дворянство и духовенство и являлись как раз «двумя первыми сословиями», сломленными Французской буржуазной революцией 1789 года, с которой Пушкин сравнивал ранее «крутой и кровавый переворот», совершенный Петром.

Но Французская буржуазная революция, историю которой Пушкин начал было писать, прежде чем перешел к работе над историей Петра I, уничтожила тяготевшие над крестьянами фео-

дальные повинности. Ничего подобного этому «революция» Петра не совершила.

Говоря о произведенном Петром «перевороте», Пушкин возвращается в черновиках программного письма Чаадаеву к мысли о том, что «одно дело произвести революцию, другое дело... закрепить ее результаты»[29]. Однако на этот раз Пушкин подчеркивает другую сторону своей мысли: он дает понять, что Петр не успел или не сумел закрепить во второй период своего царствования совершенный им переворот, продолжая и в этот, требовавший новых средств, период применять — наряду и в противоречии с новыми средствами — прежние средства (о которых Пушкин сказал: средства, необходимые для совершения революции, не те, которыми ее закрепляют). «...До Екатерины II продолжали у нас революцию Петра, вместо того чтобы ее упрочить», — писал Пушкин 19 октября 1836 года Чаадаеву[30].

Пушкин-историк сожалел об этом, указывая в том же письме: «Вот уже 140 лет», как изданная Петром «Табель о рангах» «сметает дворянство». «Табель о рангах» была опубликована в 1722 году. Пушкин, таким образом, имел в виду не год издания «Табели», а тот, новый, лишь окончательно регламентированный и закрепленный «Табелью» порядок, введенный Петром в начале его царствования, в силу которого старое, родовитое дворянство было оттеснено новым дворянством, выдвинувшимся на государственной службе.

Пушкин считал, как известно, что независимое от царя родовитое дворянство могло и должно было являться противовесом неограниченной власти самодержавия, принимая на себя тем самым функцию защиты общенародных интересов.

Говоря то о «подавлении», то об «истреблении» Петром дворянства, Пушкин имел в виду удар, нанесенный Петром принципу наследственности дворянства, то есть ослабление родовитой аристократии и предоставление новым людям возможности становиться дворянами не по праву рождения, а путем получения введенных Петром чинов.

Предвосхитить марксистско-ленинское понимание Петровской эпохи Пушкин, разумеется, не мог. Но нельзя не видеть, как смело он опередил своих современников и большинство последующих дореволюционных историков, сумев разглядеть в Петре не только великого человека, но и «самовластного помещика».

Располагавший рукописью «Истории Петра» Анненков считал, что работа Пушкина приостановилась в связи с «раздвоенным психическим состоянием», в какое пришел великий поэт, когда он понял отрицательные стороны личности и

деятельности Петра. Между тем изучение показывает, что Пушкин не только сознавал противоречивость Петра,— он строил изображение Петра на раскрытии противоречия, которое так ярко проявлялось, на взгляд поэта, во всей деятельности царя.

Марксистско-ленинская наука объясняет это поражавшее Пушкина противоречие классовой эксплуататорской природой государства, реформированного Петром. Энгельс называл Петра «действительно великим человеком»[31], подчеркивая его заслуги в области внешней политики. Маркс в своей работе «Секретная дипломатия XVIII века» отметил, что Россия, вернув себе в результате победоносно оконченной Петром Северной войны Балтийское побережье, овладела тем, что было абсолютно необходимо для нормального развития страны.

Но вместе с тем Энгельс указывал, что со времени Петра I наряду с ростом русской внешней торговли развивалось крепостное право и помещики получали возможность «все более притеснять крестьян, так что гнет все более и более усиливался»[32].

Преобразования Петра, осуществляемые, по словам Пушкина, крутыми и кровавыми средствами, не являлись, вопреки взгляду поэта, «революцией» (или «переворотом»). Классовая природа реформируемого Петром абсолютистского государства не изменялась, хотя «русское самодержавие XVII века с боярской Думой и боярской аристократией,— как указывал Ленин,— не похоже на самодержавие XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами «просвещенного абсолютизма», и от обоих резко отличается самодержавие XIX века, вынужденное «сверху» освобождать крестьян...»[33].

Российская империя петровского времени являлась государством помещиков с бюрократическими учреждениями, причем ряд особенностей реформируемого Петром государства нельзя понять, не учитывая значения нарождавшегося класса торговцев и промышленников, которому Петр оказывал деятельное содействие.

В пропавших тетрадях «Истории Петра» содержалась еще одна, остававшаяся до последнего времени неизвестной, заметка Пушкина о Петре[34]. В заметке этой, также изъятой Сербиновичем, Пушкин, касаясь событий 1721 года, писал, что Петр *«в Синоде и Сенате объявил себя президентом»*.

Подобного рода утверждение, резко выраженное Пушкиным («объявил себя президентом»), с точки зрения царской цензуры — и духовной и светской — было, разумеется, недопустимо. Дело, однако, никак не сводится к резкости этого пушкинского

утверждения. Существенный смысл его раскрывается при сравнении с другими, примыкающими к нему заметками Пушкина, изъятыми цензурой из «Истории Петра» и рисующими отношения между Петром, с одной стороны, синодом и сенатом — с другой. Заметки Пушкина, кроме того, необходимо сопоставить с историческими источниками, на основе изучения которых они возникли.

Рассказав об учреждении синода и приведя утвержденный Петром «Регламент» его, Голиков писал: «Простой народ (говорит государь) не ведает, как разнствует власть духовная от самодержавной, но... помышляет, что таковый правитель (то есть патриарх.— *И. Ф.*) есть вторый государь, самодержцу равносильный, или еще и больший его...»[35]

Объяснив таким образом действительную причину отмены патриаршества, Голиков замечает далее, что «знатное тогдашнее духовенство... от самыя смерти последнего патриарха скучало государю о избрании на его место нового; но монарх, предположивший уничтожить сию власть, обыкновенно отговаривался недосугами своими». После этого Голиков рассказывает о том, как «прогневавшийся по справедливости за сие монарх»[36] отвечал синоду на просьбу об избрании патриарха[37]. Пушкин приводит этот рассказ в своей «Истории», отбросив оговорки Голикова, рассчитанные на то, чтобы смягчить и оправдать в глазах читателя необыкновенный ответ Петра на просьбу синода.

«По учреждении Синода,— пишет Пушкин,— духовенство поднесло Петру просьбу о назначении патриарха. Тогда-то (по свидетельству современников — графа Бестужева и барона Черкасова) Петр, ударив себя в грудь и обнажив кортик, сказал: «Вот вам патриарх» (413).

Сцену эту, так ярко рисующую не только отношение царя к синоду, но и образ Петра, Пушкин вспомнил еще раз, позднее, в черновике своего письма к Чаадаеву от 19 октября 1836 года. Говоря в нем, что Петр, отменив патриаршество, «укротил» духовенство, Пушкин снова вспомнил шпагу (у Голикова «кортик») Петра, показанную царем синоду.

Раскрывая смысл отмены Петром патриаршества, Пушкин в том же письме заметил, что столетие спустя в разговоре с русским царем Наполеон сказал Александру: «Вы сами у себя *поп*, это совсем не так глупо». (Не вернее ль читать: «Вы сами у себя *папа*»?[38]) Наполеон, которому долго пришлось враждовать с папой, прежде чем побежденный им Пий VII увенчал его императорской короной[39], оценил, как подчеркивает Пушкин, важность отмены патриаршества, осуществленной Петром.

Повествуя в «Деяниях Петра Великого» о том, как сенат и си-

нод поднесли Петру титулы «всероссийского императора», «великого» и «отца отечества», Голиков пишет, что «смиренномудрый государь» отказывался от них и лишь после того, как синод и сенат «со слезами» умоляли его принять эти титулы, согласился — «по долгом, однако ж, сопротивлении»[40]. Пушкин вместо того заметил: «Петр недолго церемонился и принял их» (413).

После длинного описания церемонии, сопровождавшей провозглашение Петра императором, Голиков живописует:

«Весь Сенат провозгласил трикратно виват, а за ним и весь народ, внутрь и вне церкви в великом множестве находившийся, с великим воплем трикратно же повторил оное»[41]. Пушкин же в рукописи своей «Истории Петра» написал: «Сенат (то есть 8 стариков) прокричал три раза vivat». И замечает: «Петр отвечал речью гораздо более приличной и рассудительной, чем это все торжество»[42].

«Весь сенат» у Голикова — в глазах Пушкина всего только восемь стариков, кричащих к тому же по случаю торжества, которое Пушкин признает малоприличным, а о народе, который, по словам Голикова, «в великом множестве» приветствовал Петра вслед за сенатом, нет у Пушкина — по крайней мере в дошедших до нас строках — ни слова. Это место в «Истории Петра» заставляет вспомнить слова, которыми Пушкин окончил «Бориса Годунова»:

«...Что же вы молчите? Кричите: да здравствует царь...
Народ *безмолвствует*».

В незаконченном романе «Арап Петра Великого» и в «Полтаве» — произведениях, созданных за семь-восемь лет до «Истории Петра»,— перед читателем является написанный гениальным пером Пушкина портрет Петра Великого, который призван был стать образцом для его царствующего правнука, обещавшего в те годы осуществить новое преобразование России.

Противоречивость же, которую Пушкин увидел в исторической деятельности — и в образе Петра,— нашла, как известно, поздней глубокое раскрытие в «Медном всаднике».

Лев Толстой отказался от попытки написать роман о Петре, потому что эта эпоха — говорил он — слишком отдалена от нас, и поэтому «трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они не похожи на нас»[43].

Пушкин, не прибегая в своей «Истории» к средствам художественного вымысла, стремится понять и изобразить характер,

«душу» Петра. Он рисует Петра в действиях, выражающих его личность, идет ли речь о государственных делах или о событиях личной жизни царя, неотделимых от них. Смерть царевича Алексея, процесс первой жены Петра, женитьба его на Екатерине и казнь Монса — все это Пушкин хочет понять, чтоб полнее изобразить исторического деятеля и человека, в душе которого мощно сталкивались и боролись противоречивые начала. Задача эта была смелой — напечатать такую книгу во времена Николая I было невозможно,— однако Пушкин не отказался от решения этой задачи.

Говоря о том, что в пушкинской «Истории» проступает уже образ Петра, мы говорим не об отдельных (хотя бы и замечательных) образных выражениях Пушкина-историка. Когда он пишет о том, что многие указы Петра были, «кажется, писаны кнутом», слова эти красноречиво выражают пушкинскую мысль. Однако подобные образные выражения могли бы встретиться и в «Истории», автор которой не ставит перед собой задачу создать *образ* Петра.

Но вот в записи под тем же 1721 годом (приведенной выше в другой связи) мы читаем у Пушкина: «Петр, ударив себя в грудь и обнажив кортик, сказал: «Вот вам патриарх». Здесь перед нами одна из сцен, рисующих образ Петра, и мы вправе говорить уже не только об отдельных выразительных оборотах Пушкина-историка.

С первых страниц незавершенной пушкинской книги перед нами в живом изображении является юный Петр. Пушкин показывает его после усмирения одного из стрелецких бунтов, противопоставляя Петра царствовавшему с ним вместе брату Иоанну: в то время, как стрельцы «стояли по обеим сторонам дороги, падая ниц перед государями,— Иоанн оказывал тупое равнодушие, но Петр быстро смотрел на все стороны, оказывая живое любопытство» (32).

Изображая Петра, едва не ставшего жертвой нового заговора, когда он во время суда над заговорщиками «занемог горячкою», Пушкин говорит: «Многочисленные друзья и родственники преступников хотели воспользоваться положением государя для испрошения им помилования... Но Петр был непреклонен: *слабым, умирающим голосом* отказал он просьбе и сказал: надеюсь более угодить богу правосудием, нежели потворством» (58. Курсив наш.— *И. Ф.*).

Пушкин подчеркивает противоречие между целями, осуществляемыми Петром, и средствами, которые он применял для их достижения.

«Когда народ встречался с царем,— читаем мы в «Истории

Петра» под 1703 годом,— то по древнему обычаю падал перед ним на колена. Петр Великий в Петербурге, коего грязные и болотистые улицы не были вымощены, запретил коленопреклонение, а как народ его не слушался, то Петр Великий запретил уже сие *под жестоким наказанием, дабы,* пишет Штелин, *народ ради его* не марался в грязи» (116).

Мы видим любовь царя к строящемуся Петербургу. И вместе с тем Пушкин показывает, как выражается в проявлении этой любви своеобычный характер Петра:

«Петербург, по обстоятельствам утвержденный уже надежно за Россией, быстро отстраивался. Петр прибыл прямо на Васильевский остров, который должен был быть обстроен на манер Амстердама.

Заметя, что каналы уже амстердамских, и справясь о том у резидента Вильда, он закричал: «Все испорчено» — и уехал во дворец в глубокой печали.

Петр жестоко пенял за то Меншикову,— пишет Пушкин.— Архитектор Леблонд советовал сломать дома и завалить каналы и строить все вновь. «Я это думал»,— отвечал Петр и после уж никогда о том не говорил...» (396).

Пушкин приводит изречения, передающие широту характера Петра,— из Польши Петр писал Апраксину: «Здесь еще все дело, как брага, бродит, и не знаем, что будет. Но ежели несчастия бояться, то и счастия не будет» (180). Он рисует черты великодушия Петра и в то же время пишет (в связи с делом первой, постриженной в монахини жены Петра, которая была высечена кнутом): «Петр хвастал своей жестокостью: «Когда огонь найдет солому,— говорил он поздравлявшим его,— то он ее пожирает, но как дойдет до камня, то сам собою угасает» (390).

Пушкин изображает Петра, женившегося на «мариенбургской девке» (Екатерине), которую он полюбил, и пишет о том, как Петр повез Екатерину, когда она изменила ему, вокруг эшафота, на котором торчала голова ее любовника Монса. Пишет, наконец, о том, что, «кажется, при смерти помирился он с виновною супругою» (461).

Мы видим — многое для создания образа Петра взято Пушкиным не из панегирически представленных читателю Голиковым «Деяний Петра Великого». Но и тогда, когда Пушкин широко пользуется источниками, собранными в этом своде, мы вправе, говоря о том, что Пушкин сделал с ними, вспомнить слова, которые любил Чехов: «Ведь сделать из мрамора лицо — это значит удалить из этого куска то, что не есть лицо».

На страницах незавершенной пушкинской книги перед нами является образ времени и Петра, каким его видел Пушкин в последние годы своей жизни.

О своей исторической трагедии «Борис Годунов» Пушкин писал, что он стремился в ней «облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории»[44]. Драма самой истории открывается нам в его «Истории Петра», облекаемая в ряде мест уже в формы строго исторического и вместе с тем художественно строящегося повествования.

Пушкин намечает изображение Петра в действии, в противоречиях, в борьбе с врагами и препятствиями. Образ Петра создавал историк, не прибегающий к средствам художественного вымысла, но обогащенный художественным опытом прозаика и драматурга.

Пушкин – историк Пугачева написал *историю* Пугачева и *роман* «Капитанская дочка». В «Истории Петра» наметился синтез исторической прозы и прозы художественно-исторической. Этот синтез отвечал требованиям развития новой, создаваемой великим писателем-реалистом классической русской литературы.

В русской литературе непосредственным предшественником Пушкина в области художественной истории был Карамзин. Но от «Истории» реакционно мыслившего Карамзина, в глазах которого русская государственность была неотделима от самодержавия, незавершенную книгу Пушкина отличает прежде всего прогрессивность пушкинского патриотизма. Отличительной чертой его является глубокий критицизм, в силу которого незавершенный труд поэта опубликован быть не мог.

Пушкин не разделял исторических взглядов Карамзина, но видел в «Истории Государства Российского» «создание великого писателя»[45]. Высоко ценил Пушкин старую «Историю Руссов», приписываемую в то время перу Георгия Конисского. Множество мест в этой книге – замечает Пушкин – «суть картины, начертанные кистию великого живописца»[46].

В сознании читателей пушкинского времени жанр художественной истории требовал от автора не только исторических картин, но и драматического повествования о событиях изображаемой эпохи. Недаром в одной из своих статей Пушкин говорит о предисловии Карамзина, «столь много критикованном и столь еще мало понятом», приводя из него слова об «истории, где ищем действия и характеров».

Достаточно, однако, сравнить замечательный, хотя и не до конца завершенный Пушкиным рассказ о смерти Петра или строки, посвященные им делу царевича Алексея, с изображением смерти Грозного или сценой сыноубийства в «Истории» Карам-

зина, и мы увидим, что, несмотря на литературные достоинства этих страниц Карамзина, они представляют собой по сравнению с незавершенной исторической прозой Пушкина то же, что историческая мелодрама в сравнении с трагедией.

Тема «Пушкин в работе над Историей Петра» не может быть сведена к проблеме Пушкин-историк, она включает в себя историко-литературную проблему: Пушкин — историк-художник. «История Петра» должна была явиться новым словом в развитии жанра художественной истории; в ней сказались реализм исторического мышления Пушкина и глубоко раскрывающее действительность реалистическое искусство, создателем которого являлся великий русский поэт. В том же 1835 году, когда Пушкин создавал «Историю Петра», Белинский в статье «О русской повести...» писал, задумываясь о будущем литературы: «...кто знает? может быть, некогда история сделается художественным произведением и сменит роман так, как роман сменил эпопею?..»

ПУШКИН В РАБОТЕ НАД ИСТОРИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ

Каков же был круг исторических источников, к которым Пушкин обратился, работая над созданием «Истории Петра»? И верно ли, что «до конца своей жизни Пушкин считал себя плохо ориентированным в литературе, касающейся эпохи Петра I»?[1]

Для ответа на этот вопрос, то есть для того, чтобы установить круг печатных источников, с которыми ознакомился Пушкин, мы имеем возможность обратиться к изучению сохранившейся библиотеки поэта.

Нужно, кроме того, осветить вопрос об архивных источниках, охваченных Пушкиным. Мы располагаем сведениями о том, в какие архивы допущен был Пушкин для работы над «Историей Петра». Сохранились до нашего времени и самые архивные дела, скрывавшиеся в этих архивах. Важнейшие дела петровского времени находятся ныне в Москве, в Центральном Государственном архиве древних актов. И мы можем в нужных случаях,— например, для ответа на вопрос, видел ли Пушкин подлинное дело царевича Алексея и воспользовался ли он почерпнутыми в петровских архивах данными,— сличить текст пушкинской «Истории Петра» с этими архивными делами.

Известно, что Пушкин получил с разрешения Николая I до-

ступ в библиотеку Вольтера, хранившуюся в императорском Эрмитаже и в то время никому не доступную. Необходимо поэтому выяснить, воспользовался ли Пушкин редкими рукописями, собранными Вольтером в период его работы над своей «Историей России в царствование Петра Великого», которые поступили в Петербург вместе с купленной Екатериной II библиотекой Вольтера.

Пушкин обращался, кроме того, к частным собраниям исторических материалов. Ему могло быть доступно, например, собрание Погодина, получившее в дальнейшем известность под именем «Древлехранилища», которое находится ныне в Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. В состав погодинского «Древлехранилища» входило «Собрание книг, печатанных при Петре Великом» и целый ряд рукописных источников по истории петровского времени, в том числе упомянутый уже нами дневник Патрика Гордона в рукописном немецком переводе Стриттера, «выпиской» из которого пользовался Пушкин [2].

Многие из этих материалов находились в собрании Погодина уже в те годы, когда Пушкин работал над «Историей Петра», и Погодин, которого Пушкин стремился привлечь к совместной работе над подготовкой архивных исторических материалов, вероятно, ознакомил Пушкина с рукописями своего собрания. Когда «Древлехранилище» разрослось, Погодин опубликовал в «Московских ведомостях» его состав и объявил его открытым «для всех занимающихся историей» [3].

Как видим, база для выяснения вопроса о том, с каким кругом источников ознакомился Пушкин, достаточно широка. Попытаемся установить круг этих источников.

БИБЛИОТЕКА ПУШКИНА

Библиотека Пушкина является украшением Пушкинского дома Академии наук; больше полувека назад вышло в свет прекрасное библиографическое описание ее, составленное Б. Модзалевским. Между тем, несмотря на появление за последние годы новых работ о ней, изучена она до сих пор недостаточно; с интересующей же нас точки зрения библиотека Пушкина не была изучена совсем.

В статье «Исторические воззрения Пушкина», написанной вскоре после выхода из печати описания пушкинской библиотеки, специалист в области русской историографии В. Иконников верно заметил, что занятия поэта «историей Пугачевского бунта

и Петра Великого... обозначаются приобретением важнейших сочинений, относящихся к этим эпохам, имеющихся в русской и иностранной литературе»[4]. Место, занимаемое сочинениями, касающимися истории Петра, в библиотеке Пушкина, как видим, обратило на себя внимание источниковеда уже при ознакомлении с каталогом ее.

Большая часть книг, входивших в состав библиотеки поэта, уцелела, хотя до начала нынешнего столетия, когда библиотека была приобретена Академией наук, она хранилась плохо. К 1900 году библиотека «оказалась в довольно плачевном состоянии: многие книги были попорчены сыростью и мышами», и «в ней сохранилось далеко не все, чего можно было ожидать: многих книг, вне всякого сомнения бывших у Пушкина, в ней не оказалось»[5].

В наше время все сохранившиеся книги пушкинской библиотеки тщательно реставрированы. А обнаруженная в дальнейшем опись ее, составленная вскоре после смерти поэта, дала возможность опубликовать перечень книг, в ней ныне отсутствующих, но входивших в состав библиотеки при жизни поэта[6]. В этом перечне мы также встречаем сочинения, относящиеся к истории Петра.

В состав библиотеки Пушкина входили, кроме печатных, старинные рукописные книги[7]. Это также следует иметь в виду; сохранившиеся счета букинистов дают нам возможность установить, что Пушкин приобретал для своей библиотеки и рукописные книги о Петре и Екатерине, стоившие много дороже печатных. Кроме названной в одном из таких счетов «Истории Петра I» Феофана Прокоповича и печатного же описания коронации Екатерины, в счетах этих названы: рукописная «Жизнь Петра» — «писанная» (цена 50 рублей) и «Жизнь Екатерины» — «писанная» (цена 50 рублей)[8].

Помимо книг о Петре, входивших в состав библиотеки поэта, мы располагаем сведениями о редких книгах, Пушкину не принадлежавших, которые поэт имел возможность достать и изучить. К тому времени, когда он начал свой труд, литература о Петре была уже весьма обширна.

Пушкин выработал свои — глубоко оригинальные — взгляды на Петра, зная взгляды, высказывавшиеся писателями, русскими и иностранными, необходимость критического отношения к которым он так ясно подчеркнул в словах, сказанных им незадолго до смерти Д. Е. Келлеру: «Одно из затруднений составить историю его (Петра) состоит в том, что многие писатели, недоброжелательствуя ему, представляли разные события в искаженном виде, другие с пристрастием осыпали похвалами все его действия».

Кто же были эти – известные Пушкину – писатели и каковы были их взгляды на Петра?

Ломоносов в «Слове похвальном Петру Великому»[9], произнесенном в 1755 году, писал: «Приняла новый вид Россия... Отверсты внутренности гор сильною и трудолюбивою его рукою. Проливаются из них металлы». Петр создал новое войско и новый флот: на всех морях «видим распущенные российские флаги» и «чудные крепости, летающие чрез волны». «Основаны науки и художества». Петр с «простыми людьми, как простой работник трудился»; войско видело «лицо его, пылью и пóтом покрытое». «Не могу сам себя уверить, что один везде Петр», а не многие, говорит Ломоносов, удивляясь всеобъемлющей деятельности Петра.

Вдохновенные строки Ломоносова отозвались в пушкинских стихах. Но в своем «Слове» Ломоносов именует Петра человеком, «богу подобным». И Пушкин, сознавая историческое значение «Слова», не мог не относить его, конечно, к числу произведений тех писателей, которые, по словам великого поэта, с пристрастием осыпали похвалами все действия Петра.

Оценка Петра с позиций революционных получила выражение в радищевском «Письме к другу...», напечатанном в 1790 году и, по-видимому, известном Пушкину, строки из которого мы уже приводили[10]. Взгляды декабристов на Петра находили себе во времена Пушкина главным образом устное выражение. Главным образом, но не исключительно. В 1941 году нашлась остававшаяся больше ста лет неизвестной рукопись лекции, прочитанной В. Кюхельбекером в Париже в 1821 году. «Петр I, – говорится в ней, – которого по многим основаниям назвали Великим, опозорил цепями рабства наших землепашцев»[11].

Декабрист Фонвизин позднее писал в своих записках, что «гениальный царь не столько обращал внимание на внутреннее благосостояние народа, сколько на развитие исполинского могущества империи», «и не только ничего не сделал для освобождения крепостных, но... еще усугубил тяготившее их рабство»[12].

Кроме критики революционной, существовала также критика, осуждавшая Петра с позиций реакционных, нашедшая свое выражение в рукописных «рассуждениях» князя Щербатова, в запретных записках княгини Дашковой и в неизданной «Записке о Древней и Новой России» Карамзина.

Пушкину известна была не только карамзинская критика – та «нерасположенность» историографа к Петру, о которой упоминала, касаясь работы Пушкина над «Историей Петра», вышедшая в год смерти поэта книга Кенига – Мельгунова. Он хорошо был знаком с записками Дашковой, содержащими страницы,

резко критикующие Петра и те методы, при помощи которых Петр совершал свои преобразования. Записками Дашковой Пушкин пользовался, как мы знаем, работая над статьей о Радищеве (выдержки из запрещенных записок ее сохранились в бумагах поэта[13]).

Что касается неизданных сочинений князя Щербатова, высоко ценившего Петра, но вместе с тем критиковавшего его со «стародворянских» позиций, то весьма вероятно, что Пушкин мог знать о них от Чаадаева (родного внука князя Щербатова), с которым вел долгие беседы и споры о Петре. Пушкина, не разделявшего взглядов Щербатова, должны были привлечь самая резкость его критики и сообщаемые им исторические данные и черты, о которых умалчивала официальная историография; вспомним, что рассуждение Щербатова «О повреждении нравов в России» (так же как и записки Дашковой) было напечатано впервые Герценом в «Вольной русской типографии»[14].

Пушкину были хорошо известны взгляды на Петра, высказанные Вольтером, Монтескье, Мабли и Руссо. Изложение взглядов французских просветителей мы находим и в голиковских «Деяниях Петра Великого»: с писателями этими Голиков спорит там, где они критикуют Петра. Изложению и критике взглядов Мабли, например, он отводит в «Деяниях Петра Великого» целых 50 страниц[15].

Вольтер всецело защищал Петра и его преобразования, возражая тем писателям, которые, как язвительно замечает он, видели в Петре только варвара, размахивающего топором: то — чтоб рубить головы, то — чтоб рубить леса. Но Мабли, высоко оценивая Петра, упрекает его в том, что он принял Западную Европу за образец, не подумав, заслуживает ли она такой чести.

Монтескье в своем «Духе законов» сочувствует стремлению Петра просветить русский народ и двинуть его вперед по пути цивилизации, но пишет вместе с тем о тиранстве Петра и коренном непонимании Петром средств, какими следовало осуществлять смело поставленные им исторические задачи. Монтескье считал, что если Петр и добился существенных исторических результатов, то это произошло независимо от варварских приемов, к которым он прибегал, ибо русские отнюдь не нуждались в царской дубинке.

Был известен Пушкину, разумеется, и безнадежный, нигилистический взгляд на Петра, высказанный в «Общественном договоре» Руссо. «Энциклопедия» Дидро, признавая большие достоинства Петра, достаточно ясно указывала на существенней-

шие недостатки его деятельности. Сочинения виднейших представителей французского Просвещения сохранились в библиотеке Пушкина, и нет необходимости доказывать ссылками на тома и страницы знакомство Пушкина с ними.

Основой для выработки взглядов Пушкина было изучение первоисточников, к которым он обратился, подготовляя «Историю Петра». Какие же печатные источники сохранились в библиотеке Пушкина, помимо широчайшим образом использованного им голиковского свода, вопрос о котором будет рассмотрен нами, ввиду важного значения его для работы Пушкина, в особой главе?

Это прежде всего «Журнал, или Поденная записка... Петра Великого с 1698 года, даже до заключения Нейштатского мира» [16].

«Журнал Петра Великого», изданный князем Щербатовым полвека спустя после смерти Петра, является, по словам историков, сочинением, на которое мы имеем право смотреть как на труд самого Петра [17]. «Журнал» этот представляет собой не что иное, как Историю Свейской (то есть шведской) войны, которую Петр вел на протяжении большей части своего царствования.

Над подготовкой этой «Истории» трудились Феофан Прокопович, барон Гюйссен, кабинет-секретарь Макаров, Шафиров и некоторые другие ближайшие сотрудники Петра. В архиве Кабинета Петра Великого хранились восемь предварительных редакций этого труда, из которых пять правлены рукой самого Петра.

Ознакомившись по возвращении из Персидского похода с редакцией «Гистории Свейской войны», подготовленной в результате четырехлетней работы Макаровым, Петр «с свойственным ему жаром и вниманием прочитал все сочинение с пером в руке и не оставил в нем ни одной страницы неисправленною... Немногие места работы Макарова уцелели; все важное, главное принадлежит самому Петру, тем более что и статьи, оставленные им без изменения, выписаны редактором из его же черновых бумаг или из журналов, правленных его собственною рукою» [18]. Петр придавал этому труду большое значение и, занимаясь им, назначил для своих исторических занятий особый день — субботнее утро.

Из сказанного нетрудно понять важность, какую представляло для Пушкина знакомство с «Журналом» Петра. Заметим, что А. Н. Вульф видел «Журнал Петра Великого» на рабочем столе поэта уже в Михайловском, в сентябре 1827 года.

Важнейшим источником должно было явиться для Пушкина собрание писем Петра. «Он, — вспоминал Леве-Веймар, общав-

шийся с поэтом в 1836 году, — разыскал переписку Петра Великого включительно до записок... которые тот писал каждый день генералам, исполнявшим его приказания»[19].

И хотя из полутора тысяч писем Петра, напечатанных в голиковских «Деяниях», в библиотеке поэта сохранились только первые 445 писем, вошедших в десятый том «Деяний», нет никакого сомнения, что Пушкин ознакомился и с остальными письмами Петра, опубликованными в XI и XII томах «Деяний Петра Великого».

«Большую часть писем сих, — замечает Голиков, — великий государь писал, будучи в воинских походах — морских и сухопутных, в путешествиях своих внутрь и вне государства — на почте при перемене лошадей, даже и при самых сражениях с неприятелями, и словом, отовсюду, где он ни находился, не отлагая встречающихся ему мыслей до другого времени или места»[20].

Вслед за тем Голиков указывает, где почерпнул он публикуемые им письма Петра, поскольку он далеко не ограничился перепечаткой писем, ранее уже изданных, каковы, например, письма Петра к Шереметеву (значительная часть которых — до середины 1709 года — вошла в издание Голикова). «Всех паче обогатил собрание мое, — говорит Голиков, — Александр Петрович Курбатов, который переписал своей рукой с оригиналов более 900 писем Петра Великого»[21]. Предисловие Голикова облегчало Пушкину возможность ориентироваться в источниках, содержащих многочисленные письма Петра. Это следует отметить, так как Пушкин не только знал напечатанную переписку Петра, но и стремился ознакомиться с подлинными письмами его. Известно, что Пушкин получил подлинники четырех писем Петра к князю В. В. Долгорукову от одного из потомков последнего[22].

Вышедшее в 1830 году «Полное собрание законов Российской империи» в библиотеке поэта не сохранилось. Но известно, что Николай I прислал его Пушкину в подарок. Сохранилось письмо Бенкендорфа Пушкину от 17 февраля 1832 года и ответное письмо Пушкина от 24 февраля, где он указывает, что подарок этот будет использован им «для совершения предпринимаемого... труда» (то есть для написания «Истории Петра»)[23]. На страницах «Полного собрания законов» с большой полнотой отражена деятельность Петра, многие законы писались под его диктовку или даже его рукой.

Если мы вспомним, что в подготовительном тексте «Истории Петра» Пушкин перечисляет, начиная с 1698 года вплоть до конца петровского царствования, под каждым годом важнейшие

ЖУРНАЛЪ

или

ПОДЕННАЯ ЗАПИСКА,

блаженныя и вѣчнодостойныя памяти

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

ПЕТРА ВЕЛИКАГО

СЪ 1698 ГОДА,

ДАЖЕ ДО ЗАКЛЮЧЕНІЯ НЕЙШТАТСКАГО МИРА.

НАПЕЧАТАНЪ СЪ ОБРѢТАЮЩИХСЯ ВЪ КАБИНЕТНОЙ АРХИВѢ СПИСКОВЪ, ПРАВЛЕННЫХЪ СОБСТВЕННОЮ РУКОЮ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.



ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ

при Императорской Академіи Наукѣ 1770 года.

«Журнал Петра Великого». СПб., 1770.
Титульный лист.

указы Петра с целью использовать их в окончательном тексте своей «Истории», то убедимся в важном значении, какое должно было иметь для Пушкина «Полное собрание законов Российской империи» как источник исторический[24].

Воспоминания современников, близко стоявших к Петру, именуемые большей частью на языке того времени историческими анекдотами, привлекали, как известно, особое внимание Пушкина. Мы приводили уже свидетельства о том, что «его голова была наполнена характеристическими анекдотами всех знаменитых лиц последнего (то есть XVIII. — *И. Ф.*) столетия» и что Пушкин любил рассказывать такие анекдоты о Петре. О записанных Голиковым «неизданных повествованиях», составивших в его «Дополнении к Деяниям Петра Великого» целый том «Анекдотов, касающихся до сего великого государя»[25], будет сказано более подробно в главе об использовании Пушкиным голиковских «Деяний». Помимо голиковского собрания анекдотов о Петре, Пушкин знал, конечно, анекдоты, записанные Штелином. В библиотеке поэта сохранилось третье «вновь исправленное» издание «Подлинных анекдотов о Петре Великом, собранных Яковом Штелиным» в четырех частях (Москва, 1830)[26]. В первых двух частях этого издания помещены действительно анекдоты, собранные Штелином. В третьей же и четвертой частях перепечатаны анекдоты, изданные Голиковым (почему-то без упоминания его имени).

Приехав в Россию через десять лет после смерти Петра, Штелин прослужил в России полстолетия, став профессором и секретарем Академии. Он писал о театре и музыке, печатал географические статьи, но главной работой его оказалось обширное собрание анекдотов, записанных им со слов здравствовавших еще в то время современников и сподвижников Петра. Штелин указывает в каждом случае, с чьих слов записаны им эти рассказы. Не все в них достоверно, но многое соответствует истине и потому привлекло внимание Пушкина.

Перечисляя в своей «Истории Петра» «особ, доставивших важнейшие сведения Голикову», Пушкин называет на первом месте Неплюева (11). Записки («Журнал») его Голиков опубликовал в «Дополнении к Деяниям Петра Великого» — в томе «Анекдотов, касающихся до сего великого государя» (т. XVII, с. 416—441). Воспоминания Неплюева о Петре были напечатаны, кроме того, в «Отечественных записках» в 1823—1826 годах (части 16, 19—21, 23—25). Из них части 19—21 и 23—25, вышедшие в 1824—1826 годах, сохранились в библиотеке поэта[27]. Рассказы Неплюева о Петре, таким образом, были несомненно хорошо знакомы Пушкину. В одном из них Неплюев,

как известно, вспоминает свое представление царю после возвращения вместе с другими гардемаринами из-за границы:

«...я стал на колени, а государь, обратив руку правою ладонью, дал мне поцеловать и при том изволил молвить: «видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, а все от того: показать вам пример и хотя б под старость видеть мне достойных помощников и слуг отечеству»[28].

Анекдоты о Петре, записанные по собственным воспоминаниям главным токарем и механиком Петра Великого Андреем Нартовым и пополненные впоследствии его сыном рассказами, взятыми из других источников, появились в 1819 году в «Сыне отечества» под названием «Достопамятные повествования и речи императора Петра Великого». «Повествования» или анекдоты эти Пушкин, по-видимому, прочел и, конечно, запомнил еще в Петербурге, до ссылки на юг. Многое из них он вспомнил, когда работал впоследствии над подготовительным текстом своей «Истории Петра», встречая у Голикова эпизоды, переданные в «Достопамятных повествованиях» Нартова. Таковы рассказы о том, как досадовал Петр, найдя, что каналы, построенные в Петербурге под надзором Меншикова, оказались узкими, как чествовал Петр первый ботик, назвав его «дедушкой русского флота», и проч.

Сохранилась в пушкинской библиотеке также книга «Кабинет Петра Великого», изданная императорской Академии наук унтер-библиотекарем Осипом Беляевым[29]. В ней содержится «подробное описание воскового его величества изображения, военной и гражданской одежды, собственноручных его изделий и всех вообще достопамятных вещей, лично великому сему монарху принадлежавших и ныне в Санктпетербургской императорской Академии наук кунсткамере сохраняющихся». В книге этой помещено изображение Петра, сидящего на троне, гравированное изображение лошади и двух собак его.

Восковую статую Петра, одетую в голубой кафтан, Пушкин видел несомненно в Петербургской кунсткамере. Рассказывая о Каспийском походе 1722 года, Пушкин в своей «Истории» заметил: «Петр обрезал свои длинные волосы и сделал из них парик, ныне видимый на его кукле» (429). (Ее можно видеть в Государственном Эрмитаже и поныне.)

Лошадь Петра, чучело которой также сохранилось в кунсткамере,— тот самый конь, который был под Петром в Полтавской битве. «Лошадь сия,— сказано в книге Беляева,— есть жеребец персидской породы, на которой государь был во многих сражениях». «Ежели верить некоторых преданию, лошадь сия, кроме

стройного и красивого своего стана, была толико крепкого сложения, что могла в один день перебегать 150 верст без всякого при том себе труда и надсады»[30]. «Шерсть на ней бурая; станом тонковата и невысока... Стремена железные, едва на полфута от земли висящие, кои служат доказательством, сколь величественного государь был роста»[31].

В «Журнале Петра Великого», в письмах Петра, в указах его, помещенных в собрании законов, в анекдотах о нем, записанных со слов его сподвижников, говорят о себе потомству сам Петр и его сторонники.

В 1831 году вышла в свет под названием «Цветущее состояние Всероссийского государства, в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий...» книга Ивана Кирилова, который является, по словам его биографа, «одним из оригинальнейших и замечательных деятелей, выдвинувшихся в эпоху Петра Великого»[32]. Эта изданная Погодиным век спустя после того, как она была написана, и хорошо известная Пушкину книга сохранилась в его библиотеке[33]. Старая «статистика» Кирилова дает ясное обозрение состояния России, преобразованной реформами Петра. Напечатана она была по рукописи, принадлежавшей некогда Голикову и находившейся в его библиотеке. Если мы вспомним, что программа «Введения» в «Историю Петра», написанная Пушкиным, содержит такие пункты, как «Россия внутри, Подати, Торговля» и проч., то увидим, каким важным источником исторических сведений должна была послужить Пушкину книга Кирилова.

В библиотеке Пушкина сохранился целый ряд печатных источников, знакомство с которыми было необходимо ему для изучения сменявших друг друга периодов и событий петровского царствования.

В десятитомном «Собрании разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деятельности Петра Великого», составленном Ф. Туманским[34], Пушкин мог прочесть работы Г. Миллера о рождении, воспитании и «первом воцарении» Петра Великого, «О венчании царским венцом» Иоанна и Петра, а также «Известие о начале Преображенского и Семеновского полков гвардии»[35].

В разговоре с Келлером Пушкин, упомянув о работах Миллера, сказал: «Весьма часто делал я себе вопросы об исторических фактах и находил им разрешение в бумагах этого ученого. К сожалению, многие произведения до сих пор не вышли в печать»[36], — добавил Пушкин. Не приходится сомневаться поэто-

му, что напечатанные статьи Миллера Пушкин знал (как и его «бумаги»).

В том же сборнике Туманского напечатаны говорящие о стрелецких мятежах записки Сильвестра Медведева, жаркого сторонника царевны Софьи, который был казнен как «единомышленник князя Андрея Хованского», и записки графа Матвеева – сына знаменитого боярина, погибшего в начале мятежа. Автор этих записок граф Андрей Артамонович – воевода и посол Петра при европейских дворах – был, в отличие от Медведева, приверженцем Петра и потому освещает события, разумеется, совсем иначе, нежели Сильвестр Медведев.

Рукописная записка Матвеева вместе с рукописным же «Описанием дел Петра Великого» П. Крекшина и донесением датского резидента Бутенанта фон Розенбуша о событиях, совершившихся в Москве в середине мая 1682 года, послужили Ломоносову источником при составлении им «Описания стрелецких бунтов и правления царевны Софьи». Эта работа Ломоносова, напечатанная впервые только в 1952 году в советском академическом издании его сочинений, представляет собой «экстракт», пересланный из России Вольтеру в период подготовки последним его «Истории России в царствование Петра Великого» [37].

«Включенная в «Историю» Вольтера работа Ломоносова стала достоянием широких читательских кругов Западной Европы», поскольку «во многих случаях текст Вольтера почти дословно воспроизводит сочинение Ломоносова» [38]. Хорошо зная книгу Вольтера, Пушкин имел, таким образом, возможность почерпнуть и в ней сведения о стрелецких мятежах, собранные Ломоносовым на основе записок Матвеева и других источников.

Рукописное сочинение Крекшина Пушкин читал в Государственном архиве (и, по-видимому, брал к себе на дом). Вслед за Голиковым Пушкин излагает некоторые сведения, попавшие в «Деяния Петра Великого» из рукописи Крекшина. Но в то время как Голиков повторяет эти сведения, Пушкин относится к ним критически. «Голиков слепо поверил выдумке Крекшина»,– замечает Устрялов, приводя рассказ последнего о том, как десятилетний Петр, присутствовавший при знаменитом «словопрении» о вере, «повеле изгнати еретиков вон» [39]. Пушкин же, рассказав о том, что стрельцы вошли в церковь «с налоем, и свечами, и с каменьями за пазухой», и о том, как начался этот «феологический спор», пишет: «Настает шум, летят каменья (сказка о Петре, будто бы усмирившем смятение). Бояре,– поясняет Пушкин,– при помощи стрельцов-нераскольников изгоняют, наконец, бешеных феологов» (то есть теологов; 25).

В библиотеке Пушкина есть книга, им разрезанная, в которой сохранилось оставленное нам современником изображение одиннадцатилетнего Петра. В книге этой помещено описание путешествия Мейерберга по России в средине XVII столетия [40]. Но в приложении даны выдержки из дневника Кемпфера, назначенного в 1681 году секретарем при шведском посольстве в Россию и Персию.

Кемпфер видел в Москве юного Петра при представлении посольства царям Иоанну и Петру в 1683 году: «Оба их величества сидели не посредине... залы... на двух серебряных епископских креслах... Старший сидел почти неподвижно, с потупленными, совсем почти закрытыми глазами, опущенною низко шапкою; младший, напротив того, взирал на всех с открытым прелестным лицом, на коем, при обращении к нему речи, беспрестанно играла кровь юношества...» [41] Кемпфер описывает Кремль, вид, вооружение и знамена стрельцов: [42] картина эта, разумеется, не могла не заинтересовать Пушкина.

Истории Азовских походов посвящены две книги, сохранившиеся в пушкинской библиотеке. Одна из них носит название, достаточно ясно передающее ее содержание: «Поход боярина и большого полку воеводы Алексея Семеновича Шеина к Азову, взятие сего и Лютика города и торжественное оттуды с победоносным воинством возвращение в Москву... Издал в свет Василий Рубан» [43].

При описании в этой книге азовского триумфа, когда вслед за победителями провезен был по Москве изменивший Петру под Азовом офицер-иностранец Якоб Янсен (выданный турками после сдачи Азова), на странице 192 мы читаем:

«Телега намощена тесом, и поставлены рели, а на релях по столпам воткнуты по обе стороны два топора, два ножа, повешены два хомута, десять плетей, двои клещи, два ремня, а Якушка в турецком платье, голова в чалме обвита по-турецки, руки и около поясницы окован цепями, на шее петля, на грудях бумажное зерцало, на перекладе веревка петлею и ложена на шею... На зерцале на груди написано: *«злодей»*.

Пушкин внес в свою «Историю Петра» эту выразительную деталь азовского триумфа, которую мог почерпнуть из приведенного описания [44].

Вторая сохранившаяся в библиотеке поэта книга, посвященная Азовским походам, называется «Кратким описанием всех случаев, касающихся до Азова от создания сего города до возвращения оного под Российскую державу». Книга эта, к которой приложен «План осады и взятия Азова в 1696 году», представляет собой сделанный И. К. Таубертом перевод труда академи-

ка Байера, использовавшего не изданный еще дневник генерала Патрика Гордона[45].

Дневник, который вступивший в русскую службу в 1661 году шотландец Патрик Гордон вел на протяжении четырех десятилетий, является важным источником для начального периода истории петровского царствования. Заслуги Гордона в Азовскую кампанию и решительность, проявленная им при разгроме мятежных стрельцов в 1698 году, ставили Гордона в круг ближайших друзей и помощников молодого Петра.

В библиотеке Пушкина сохранилась биография Гордона, написанная Голиковым и изданная им вместе с жизнеописанием Лефорта в 1800 году[46]. Но обширный дневник Гордона, чрезвычайно интересовавший Пушкина, оставался неизданным; лишь отдельные отрывки из него появились в печати. Оценив значение этого исторического источника, Пушкин стремился получить доступ к нему и ознакомиться с ним.

На дневник Гордона, точнее, на возможность ознакомиться с ним в рукописной английской копии обратил внимание Пушкина Александр Тургенев, как только ему стало известно, что Пушкину поручено написать историю, или биографию, Петра Великого. 16 сентября 1831 года Тургенев сообщал Жуковскому: «Для биографа Пушкина нужен и журнал шотландца (то есть дневник Гордона. – *И. Ф.*), служившего у нас...»[47] Сообщая в письме, написанном из Лондона 10 мая 1831 года[48], что ему удалось купить там английскую копию дневника Гордона «с генваря 1684 до 1699 года», Тургенев подчеркивал: «Эта рукопись — точно историческая драгоценность, об истинных государственных делах, как тогда их разумели, а не о предметах одного ученого или антикварного любопытства»[49].

Перевод дневника Гордона на немецкий язык выполнен был еще в XVIII веке академиком Стриттером, и выписка из немецкого перевода, оставшегося также в то время неизданным, была, как мы знаем из записи Келлера, получена и использована Пушкиным (при описании бегства Петра в Троицкий монастырь).

Но ни немецкий перевод дневника Гордона, который был доступен Пушкину в извлечении, ни возможность ознакомиться с английской копией, купленной Тургеневым, не удовлетворили Пушкина. Вот почему он, узнав, что подлинный дневник Гордона вытребован, по распоряжению царя, из Московского архива и что Келлеру поручено перевести его с подлинника для русского издания, с таким нетерпением стремился увидеться с Келлером.

Пушкин встретился с ним в конце декабря 1836 года на балу у Е. Ф. Мейендорфа, где, узнав о данном Келлеру поручении, «нетерпеливо» спрашивал: ну где ж он, где ж он? «Егор Федоро-

вич (Мейендорф.— *И. Ф.)* нас познакомил,— сообщает Келлер.— Пошли расспросы об объеме и содержании рукописи. Пушкин удивился, когда узнал, что у меня шесть томов ин-кварто, и сказал: «Государь говорил мне об этом манускрипте, как о редкости, но я не знал, что он столь пространен». Пушкин «спросил, не имею ли других подобных занятий в виду, по окончании перевода, и упрашивал навещать его». Вторую запись Келлера (сделанную им вскоре после смерти поэта), где подробно рассказывается о его следующей встрече с Пушкиным, мы уже цитировали. Здесь добавим, что, касаясь перевода рукописи Гордона, поэт на этот раз сказал Келлеру: «Продолжайте им заниматься, вы окажете большую услугу» [50].

Все это говорит о глубоком интересе Пушкина к дневнику Гордона, до нашего времени еще по-русски полностью не изданному, и о постоянном стремлении Пушкина к знакомству с подлинными рукописными источниками там, где дело шло об источниках действительно важных. Ныне подлинный дневник Патрика Гордона в старинных переплетах тисненой кожи хранится в Центральном Государственном военно-историческом архиве, помещающемся в том самом дворце Лефорта, где Патрик Гордон не однажды встречался с Петром. Последняя запись в дневнике сделана была Гордоном 31 декабря 1698 года. Он умер в следующем, 1699 году.

О «Большом посольстве» и первом путешествии Петра за границу говорит «Записная книжка любопытных замечаний великой особы, странствовавшей под именем дворянина Российского посольства в 1697 и 1698 году». Дневник этот напечатан был в 1830 году в журнале «Отечественные записки» (ч. 43), сохранившемся в библиотеке Пушкина [51], где он назван был — без достаточных оснований — «путевыми записками, веденными самим государем Петром Великим». В том же году дневник этот напечатан был и в «Московском вестнике» (1830, ч. VI), где Погодин назвал его «журналом, веденным одним из чиновников посольства...». В «Московском вестнике» Пушкин принимал ближайшее участие и потому бесспорно знал дневник, о котором мы говорим, и в этой журнальной публикации.

Известно ему было и «Путешествие» Шереметева, описанное последним. Шереметев путешествовал за границей в 1697 году. Дневник его содержится в томе V «Древней российской вивлиофики», изданной Новиковым, все двадцать томов которой сохранились в библиотеке Пушкина [52] (и о которой поэт намерен был напечатать статью в своем «Современнике»).

О пребывании Петра в Голландии много сведений, полученных от потомков тех лиц, с которыми Петр общался в Гол-

ландии,— и архивных данных — опубликовал Якоб Схельтема в своем труде, вышедшем в Амстердаме[53]. Корнилович, к работам которого, посвященным Петру, Пушкин относился, как известно, с большим вниманием, напечатал в 1822 году в «Сыне отечества» (ч. 82) очерк «Петр I в Заандаме», в котором приведены материалы, найденные им у Схельтемы[54]. Этот номер «Сына отечества» в библиотеке поэта не сохранился, но в нем была напечатана статья Вяземского о поэме Пушкина «Кавказский пленник», и мы можем с уверенностью утверждать, что Пушкин прочел напечатанный здесь очерк Корниловича и таким образом познакомился с историческими данными, опубликованными в труде Схельтемы.

«Дневник поездки в Московское государство в 1698 году» Иоанна Корба, являющийся важным источником для истории этого страшного, по словам Пушкина, года, Пушкин прочел очень внимательно: упоминая, например, в «Истории Петра» о кончине сестры Петра Наталии, он называет ее «любимой сестрой» царя, ссылаясь на Корба (331)[55].

На глазах Корба происходил кровавый стрелецкий розыск; он присутствовал на Красной площади при совершении казней и даже «измерил,— как сам пишет,— шагами длину плах», причем нашел, что ширина их была вдвое больше длины[56]. Описывая «шестую казнь 27 октября 1698 года», Корб говорит: «Эта громадная казнь могла быть исполнена потому только, что все бояре («сенаторы царства»,— поясняет он), думные и дьяки, бывшие членами совета, собравшегося по случаю стрелецкого мятежа, по царскому повелению были призваны в Преображенское, где и должны были взяться за работу палачей. Каждый из них наносил удар неверный, потому что рука дрожала при исполнении непривычного дела... Сам царь,— добавляет Корб,— сидя на лошади, смотрел на эту трагедию»[57].

О четвертой казни, 21 октября 1698 года, когда стрельцов вешали на бревнах, воткнутых в бойницы крепостных стен, Корб замечает: «Едва ли столь частый частокол ограждал какой-либо другой город, какой составили стрельцы, перевешанные вокруг Москвы»[58].

Наконец, Корб, ссылаясь, правда, в этом случае не на собственные впечатления, а на чужие слова, сообщает, будто 14 февраля 1699 года сам царь «отрубил мечом головы восьмидесяти четырем мятежникам, причем боярин Плещеев приподымал за волоса их, чтоб удар был вернее»[59].

Вот о чем вспоминал Пушкин на страницах, посвященных им в «Истории Петра» 1698 году, где он пишет сначала о том, как Петр, узнав «о разбитии стрельцов», «продолжал свой путь, гото-

вясь к ужасному предприятию» (73), а потом, сопровождая свои слова выразительным многоточием, замечает: «Начались казни...... Лефорт старался укротить рассвирепевшего царя»[60].

Знакомство Пушкина с дневником Корба отразилось в скупых строках «Истории Петра», посвященных стрелецким казням, хотя Пушкин на Корба здесь не ссылается и даже не упоминает о нем. Это ясно показывает, что знакомство Пушкина с источниками, о которых Голиков умалчивает, находило отражение на страницах «Истории Петра» и там, где Пушкин на эти, хорошо ему известные источники почему-либо не ссылался.

Корб пишет в своем дневнике не только о стрелецких казнях,— он сидел часто за царским столом, слышал суждения Петра о государственных делах и отзывается о царе и его речах с большим уважением. Тем не менее дневник Корба был, по требованию представителей Петра, запрещен, и непроданные экземпляры его были уничтожены австрийским правительством.

Совсем иной интерес, нежели дневник Корба, должно было представлять для Пушкина сохранившееся в его библиотеке «Путешествие через Московию Корнилия де Бруина»[61]. Де Бруин, голландский живописец, путешествовавший по России и Востоку, отправился морем в Архангельск и в январе 1702 года приехал по зимнему пути в Москву, где пробыл целый год. Здесь он часто видел Петра, написал его портрет и участвовал в царских увеселениях.

В «Путешествии» своем де Бруин остается живописцем. Петр позволил ему зарисовать достопримечательности своей столицы. Де Бруин восхищался красотой Москвы и вспоминает вид, открывающийся с высоты Ивана Великого.

Он пишет, что русский народ обладает замечательными способностями, а о приказах, то есть о присутственных местах, говорит неодобрительно, замечая, что они помещаются в каменных палатах, где сидит постоянно множество писцов в покоях, похожих на тюрьмы. Главные же чины сидят там за длинными столами, покрытыми красным сукном.

Де Бруин пишет об огромном колоколе, упавшем в 1701 году. Описывает насильственное брадобритие, совершаемое по приказу Петра. Наконец, подробно изображает торжественную шутовскую свадьбу Шанского, отпразднованную в присутствии Петра. Царя де Бруин, увидев впервые, узнал по портрету и отличил его еще потому, что Петр ехал в санях почти не украшенных, в отличие от свиты, сопровождавшей его.

Из Москвы де Бруин отправился по Волге, в Астрахань, оттуда в Персию и далее на Восток, в Индию, на Цейлон и в Батавию. После четырехлетнего путешествия по этим странам он,

проехав назад через Астрахань, вновь увидел Москву. И через два года, по возвращении в Амстердам, издал описание своего путешествия, украсив его множеством сделанных им самим по дороге рисунков.

Едва ли можно сомневаться в том, что Пушкин вспоминал яркое описание де Бруина, отмечая, например, в «Истории Петра» «свадьбу шута царского Шанского» (105). Картины Москвы в самом начале нового, XVIII столетия, сохраненные в книге де Бруина, вероятно, запомнились Пушкину еще при чтении больших отрывков из записок де Бруина, напечатанных в 1829 году в «Отечественных записках». Здесь мы находим и страницы, посвященные описанию свадьбы царского шута.

Но Пушкин этим неполным переводом не удовольствовался и приобрел для своей библиотеки пятитомное французское издание «Путешествия» де Бруина, третий и пятый тома которого посвящены России. В каждом из этих томов много иллюстраций и карт.

В составленном для Вольтера в России хронологическом перечне важнейших событий петровского царствования, переписанном рукой Пушкина, ссылки на де Бруина встречаются не раз. Но де Бруин, конечно, понадобился Пушкину, в отличие от составителя этого хронологического перечня, не только для того, чтобы датировать постройку монетного двора или открытие в Москве первой аптеки. Колорит петровской Москвы, ярко переданный в «Путешествии» де Бруина, должен был привлечь внимание Пушкина, который имел в виду создание в дальнейшем не только подготовительного чернового, но и окончательного текста своей «учено-художественной» «Истории Петра».

Корб, писавший в своем дневнике о стрелецких казнях, был секретарем австрийского посольства в Москве. Де Бруин писал как путешественник и художник. Возвратившись из русского плена, шведский офицер Табберт, получивший от шведского короля дворянство и фамилию Страленберг, издал в Стокгольме в 1730 году на немецком языке книгу «Северо-восточная часть Европы и Азии», где писал о России петровского времени.

Полемикой со Страленбергом открывает свои «Деяния Петра Великого» Голиков. Пушкин законспектировал в подготовительном тексте «Истории Петра» это полемическое введение Голикова, отметив: «Страленберг говорит о двух сторонах, существующих в России, за и против Петра I». Вслед за тем Пушкин записал по пунктам сущность этих разногласий (9—10). Не довольствуясь этим, он приобрел книгу Страленберга для своей библиотеки, где она и сохранилась до нашего времени[62].

Ключом при оценке отношения Пушкина к показаниям ино-

странцев, писавших по личным впечатлениям о петровской России, является мысль, высказанная им в предисловии к «Запискам бригадира Моро де Бразе», отрывок из которых, касающийся Прутского похода 1711 года, Пушкин перевел, признавая его «важным историческим документом».

Говоря о том, что «в пристрастных и вместе искренних сказаниях современника и свидетеля» можно часто найти «множество любопытных подробностей», Пушкин заметил: «Моро не любит русских и недоволен Петром; тем замечательнее свидетельства, которые вырываются у него поневоле»[63]. Критическое отношение к источникам и необыкновенная проницательность позволяют Пушкину использовать для выяснения истины свидетельства пристрастные (и даже враждебные).

О том, как «исправляет» Пушкин свидетельства, содержащиеся в записках Моро де Бразе, необходимо будет сказать в дальнейшем подробнее, в связи с тем, что Пушкин побывал в местах, где совершались военные события, описанные Моро.

Книга Моро была издана в 1716 году на французском языке – «в Веритополисе, у Жана Дизанвре» (то есть «в Истинноградe, у Ивана Правдивого»). Имя автора также было скрыто под инициалами, и на титульном листе указано лишь, что он был «полковником Казанского драгунского полка и бригадиром войск его царского величества».

Автор записок был впоследствии установлен, очевидно было и то, что он являлся участником Прутского похода. Подвергалось все же сомнению: не присваивал ли Моро себе слишком высокий чин?[64] Но предположение это отпадает теперь, когда найден подлинный «пас» с государственной печатью красного воска, заготовленный для бригадира Бразе в августе 1711 года и подписанный Петром I собственноручно[65].

Из числа других сохранившихся в библиотеке Пушкина записок иностранцев, писавших о Петре, необходимо назвать книгу Вебера «Преобразованная Россия». Следует упомянуть еще «Записки» графа Дона, изданные на французском языке в Берлине в 1833 году, так как Пушкин использовал их в своей «Истории», описывая под 1709 годом свидание царя с прусским королем после Полтавской победы, а из иностранных сочинений позднейшего времени, на которые Пушкин ссылается в «Истории Петра», – книги Дюкло и Лемонте, где содержатся сведения о пребывании Петра в Париже[66].

Историю Карла XII, написанную Нордбергом, капелланом короля, состоявшим при шведском войске, и книгу Мотрея (де ла Мотрэ), находившегося в Бендерах во время Прутской кампании[67], Пушкин знал еще с того времени, когда в 1824 году побы-

вал в Бендерах вместе с Липранди, который пишет об этом в своих воспоминаниях.

Материалы для изучения Северной войны содержатся в общих источниках по истории петровского времени, собранных Пушкиным в его библиотеке. Следует добавить, что Пушкин знал бесспорно «Рассуждение» Шафирова о причинах Северной войны (хотя книга Шафирова в библиотеке Пушкина не сохранилась). Книга его представляет собой блестящее публицистическое произведение, в котором доказывается законность и неизбежность этой многолетней войны. В «заключении к читателю» (входящем в состав «Рассуждения»), которое было написано самим Петром, проводится мысль о необходимости продолжать войну до тех пор, пока Россия не утвердит за собой побережье Балтийского моря[68].

Сохранился в библиотеке Пушкина и «Журнал Гизена» (то есть Гюйссена), занимающий тома III и VIII в десятитомнике Туманского. Трудно представить себе, что Пушкин не обратил на этот «Журнал» внимания, в особенности если мы вспомним, что в своей «Истории Петра», упоминая о том, что Гизен состоял при царевиче Алексее, Пушкин счел нужным отметить: «Сей Гизен написал Историю Петра 1-го, но не кончил оной» (15). «Журнал» этот доведен до 1710 года, и в нем содержится много подробностей из истории Северной войны, в том числе и подробности, не вошедшие в «Журнал Петра Великого».

Сохранилось, наконец, в библиотеке Пушкина издание мирного договора, заключенного в 1721 году в Нейштадте и окончившего Северную войну[69].

Мы не ставим здесь задачей дать исчерпывающий перечень печатных источников по истории петровского времени, собранных Пушкиным в своей библиотеке. Материалы, с которыми Пушкин ознакомился, изучая историю царевича Алексея, мы рассмотрим в главе, говорящей о работе Пушкина над делом царевича. А сейчас перейдем от печатных источников, касающихся отдельных событий и периодов Петровской эпохи, к сохранившимся в библиотеке поэта историческим сочинениям, посвященным истории петровского царствования.

Из числа ранних исторических сочинений, посвященных Петру, следует назвать прежде всего книгу Феофана Прокоповича «История императора Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии и взятия в плен остальных шведских войск при Переволочне включительно...» Книга Феофана, Пушкину хорошо известная, была издана по «обретающемуся в Кабинетской архиве... списку, правленному рукою самого сочинителя»[70].

В «Истории» Феофана широко использована «Книга Марсо-

ва» — богато иллюстрированное собрание реляций о действиях русских войск против шведов, ближайшее участие в подготовке которой принимал сам Петр.

В подготовительном тексте своей «Истории Петра» Пушкин упоминает о сочинении Феофана неоднократно. Он отмечает также, что Феофана Петр «узнал» в Киеве, приехав туда после Полтавской победы. «Речь его, — пишет Пушкин, — понравилась Петру, и он принял его в свою особую милость» (223).

Из сочинений, вышедших в странах Западной Европы вскоре после смерти Петра Великого, в библиотеке Пушкина сохранилась книга Антонио Катифоро «Житие Петра Великого», где были использованы изданные к тому времени записки Вебера и Перри, иностранцев, близко наблюдавших деятельность Петра, а также страницы, посвященные Петру Вольтером в «Истории Карла XII»[71].

«История России в царствование Петра Великого», написанная Вольтером, так же как и его «История Карла XII», входит в состав 42-томного собрания сочинений Вольтера, сохранившегося в библиотеке Пушкина[72]. Ряд страниц в этих книгах Вольтера разрезан Пушкиным, в ряде мест им положены закладки. И так как одна из последних представляет собой обрывок письма, поддающегося датировке (1834—1836 годы)[73], то не вызывает сомнения, что Пушкин перечитывал эти книги Вольтера в период своей работы над созданием «Истории Петра».

Задачей написанной Вольтером, при поддержке петербургского правительства, книги, посвященной петровскому царствованию, было рассеять неправильные представления о Петре, распространенные в тогдашней европейской литературе, — и в этом отношении книга его сыграла несомненно положительную роль. Однако книга эта, написанная историком, который смотрел на Россию сочувственно, но со стороны, без внимательного, глубокого проникновения в ее историческую жизнь, не могла удовлетворить передовых русских читателей: внешний интерес и занимательность исторического повествования были достигнуты Вольтером в книге о Петре за счет пренебрежения исторической конкретностью, а иногда и достоверностью рассказа. Недостатки ее с сердцем критиковал Ломоносов — не только как ученый, но и как русский писатель-патриот. Отрицательную оценку дали ей впоследствии Денис Давыдов и Вяземский. Источником исторических сведений книга Вольтера о Петре в целом для Пушкина служить не могла.

Чрезвычайно заинтересовали его, однако, исторические материалы, частью посланные Вольтеру из России, частью собранные самим Вольтером за границей, так как Вольтер исполь-

зовал в своей книге эти ценные рукописные материалы далеко не полностью. Пушкин внимательно прочел письма Вольтера к Шувалову, пересылавшему Вольтеру исторические материалы, и многие из этих писем отметил закладками[74]. Заинтересовавшись судьбой собранных Вольтером рукописей, Пушкин решил обратиться к этим ценным источникам, использовать которые Вольтер по различным причинам не пожелал или не смог.

Пушкин отметил своими закладками письма Вольтера, касающиеся процесса и смерти царевича Алексея. Но не мог, разумеется, довольствоваться высказываемой Вольтером радостью по поводу того, как удачно удалось пройти ему в своей «Истории» «по этим горячим угольям». Чтобы узнать правду о деле царевича, Пушкин счел необходимым обратиться к недоступному Вольтеру подлинному архивному делу царевича Алексея.

Для выяснения истории воцарения Екатерины, то есть смутных обстоятельств, связанных со смертью Петра, Пушкин счел нужным обратиться к бумагам Вольтера. И, как увидим, не ошибся в своих расчетах.

Сохранилась в библиотеке Пушкина «Венецианская история» Петра, на титульном листе которой значится: «*Житие и славные дела государя императора Петра Великого...* Ныне первее на славенском языке списана и издана. Часть вторая. В Венеции. В типографии Димитрия Феодозия. 1772»[75].

В книге этой, на которую часто ссылается Голиков и автором которой принято было считать издателя ее Димитрия Феодози, указано, что сочинитель ее пользовался русскими источниками и материалами, полученными им из России от историка Миллера. Упоминая в своем предисловии о писателях иностранных, автор книги подчеркивает «осторожность», с какой он пользовался их сочинениями: он «их всех справливал с российскими писателями».

Говоря в связи с этим, что «Житие» Петра, изданное Феодози, не следует считать сочинением «безусловно иностранного происхождения», Е. Шмурло, как и некоторые другие историки, относил его, однако, к числу переводных, называя «писанным не по-русски»[76].

Между тем история Петра, изданная Феодози, не только основана в значительной мере на русских материалах,— она написана, как и указано на титульном листе ее, «на славенском языке». «Житие» Петра Великого не представляет по своему языку сколько-нибудь существенных отличий от того славяно-русского языка, на котором писались и издавались в то время многие русские книги[77].

Дело в том, что Феодози был только издателем этой книги о Петре. Автором же является сербский писатель Захария Орфелин [78].

Почти все экземпляры «Венецианской истории» Петра вышли в свет без имени автора: австрийское правительство недружелюбно смотрело на книги сербских писателей, отражавшие тяготение их к России и связь с русской культурой. Д. Руварацу удалось, однако, найти экземпляр «Венецианской истории» Петра с титульным листом, на котором прямо указано, что книгу эту «сочинил Захария Орфелин». Посвящение в найденном экземпляре также подписано не издателем Феодози, а автором ее – Захарием Орфелином. Такой же именно редчайший экземпляр с гравюрами работы Захарии Орфелина хранится ныне в Москве в Государственной Публичной исторической библиотеке.

Не лишним будет заметить, что Голиков, часто ссылаясь в «Деяниях Петра Великого» на «Венецианскую историю» Петра, нигде не называет Феодози автором ее, а всюду пишет «Сочинитель в Венеции изданной Истории Петра Великого» и т. п. [79]. Мы остановились на вопросе о происхождении этой книги в связи с тем, что Пушкин почерпнул в ней, по-видимому, некоторые сведения, в том числе сведения о жестоком наказании («бичевании»), которому была подвергнута первая жена Петра, царица Евдокия.

В 1782 году во Франции начала печататься пятитомная «История России» Левека, а в 1783 году – «История естественная, нравственная, гражданская и политическая Древней и Новой России» Леклерка, в состав которой входит история царствования Петра I.

Что касается книги Левека, то в библиотеке Пушкина сохранилось только изданное тем же автором в 1783 году «Продолжение» ее под названием «История различных народов, обитающих под властью России, или Продолжение Истории России» [80]. Помимо этого «Продолжения», была у Пушкина несомненно и самая «История России», написанная Левеком и пользовавшаяся большой известностью (которую Пушкин знал, вне сомнения, вероятно, еще с лицейской скамьи).

«История» Левека дала повод Денису Давыдову пылко высказаться в защиту Петра в статье «О России в военном отношении», написанной в 1831 году. Он сочувственно противопоставляет в ней Левеку труд «нашего Голикова», «который, невзирая на тяжелый слог свой, невольно приковывает внимание читателя к тучным десяти томам...» [81].

Сочинение Леклерка в библиотеке Пушкина сохранилось [82], но ни один из шести томов его не разрезан. Зато мы находим

в библиотеке поэта под № 48 книгу Болтина «Примечания на Историю Древния и Нынешния России г. Леклерка...», изданную в 1788 году.

Болтин не только отвергает ряд общих утверждений Леклерка, указывая на неблагоприятную для России тенденцию, ясно выраженную в его сочинении. Труд Болтина являлся вкладом в русскую историческую науку, так как автор вводит в состав своих «Примечаний на Историю Леклерка» результаты собственных исторических изучений, представляющих самостоятельный интерес.

В первом томе своей книги, сохранившемся в библиотеке Пушкина, Болтин отводит много места начальному периоду жизни и царствования Петра, причинам и событиям Северной войны, а также делу царевича Алексея (стр. 481—609).

Во втором томе, в библиотеке Пушкина не сохранившемся, Болтин оправдывает (на стр. 393—394) закон Петра о престолонаследии, резко осуждаемый Пушкиным, который в «Истории Петра» под 1722 годом замечает: «5 февраля Петр издал манифест и указ о праве наследства (устанавливающий, что царствующий император вправе сам назначить себе преемника.— *И. Ф.*), то есть уничтожил всякую законность в порядке наследства и отдал престол на произволение самодержца» (415). По всей вероятности, в библиотеке Пушкина был и этот второй том книги Болтина, теперь в ней отсутствующий.

Шеститомная «История Петра Великого» Бергмана, переведенная с немецкого Е. Аладьиным, сохранилась в библиотеке поэта в издании 1833—1834 годов[83].

В предисловии к своей «Истории» Бергман указывает, что он «заимствовал большую часть известий из книги Голикова» (т. I, с. II). Поэтому сочинение Бергмана в целом не могло иметь большого значения для работы Пушкина, которому голиковские «Деяния Петра Великого» были как нельзя лучше известны. В одном месте своей «Истории Петра» Пушкин упоминает о Бергмане, выясняя дату задуманного Соковниным, Федором Пушкиным и Цыклером в 1697 году покушения на жизнь Петра[84].

Но поскольку обширное сочинение Бергмана основано было все же не только на «Деяниях» Голикова, Пушкин разрезал в нем страницы, посвященные казни стрельцов, измене Мазепы, Прутскому походу Петра, делу царевича Алексея, биографии Меншикова и биографическому сообщению об Абраме Петровиче Ганнибале. Если не говорить о последней заметке, представлявшей для Пушкина личный интерес, можно заметить, что

разрезал он в обширном сочинении Бергмана только те разделы, где рассчитывал найти сведения, у Голикова отсутствующие и привнесенные Бергманом из других источников.

Разделы, которые привлекли к себе внимание Пушкина, посвящены, как нетрудно видеть, замалчиваемым тогдашней официозной историографией сторонам и событиям царствования Петра. При описании стрелецких казней Бергман использует, например, дневник Корба[85] и приводит, кроме того, из него большие латинские цитаты. Бергман мог натолкнуть Пушкина и на записки Моро де Бразе, которые он также цитирует, указывая, что записки Моро представляют для историка Прутской кампании большой интерес[86]. Из числа зарубежных книг, охватывающих историю царствования Петра и вышедших в первой трети XIX столетия, в библиотеке Пушкина мы находим двухтомное сочинение графа Сегюра, изданное в 1829 году в Брюсселе[87].

Сохранившаяся в библиотеке Пушкина книга «Материалы о жизни Петра Великого», напечатанная в Лондоне в 1832 году, представляет собой один из выпусков «Семейной библиотеки»[88]. Но, несмотря на то, что она не претендует, таким образом, на внимание исследователей, книга эта могла заинтересовать Пушкина, так как в ней цитируется касающееся процесса и смерти царевича Алексея «Путешествие» Кокса и некоторые другие сочинения, в то время в России запрещенные.

Весьма важным источником для изучения военной истории петровского царствования являлась для Пушкина сохранившаяся в его библиотеке «Военная история походов россиян в XVIII столетии» Д. Бутурлина[89]. В библиотеке поэта сохранились четыре тома ее. Из них первый и второй содержат в себе «Полное описание походов императора Петра Великого против шведов и турок, предшествуемое введением, представляющим картину постепенного возрастания могущества России». Третий том представляет собой «Дополнения к первым двум томам», а четвертый содержит «Планы и карты к военной истории походов россиян в XVIII столетии».

Тридцатого ноября 1833 года Пушкин сделал в своем дневнике запись о встрече с Бутурлиным, в которой, между прочим, указывает: «Мы смотрели карту постепенного распространения России, составленную Бутурлиным»[90]. В примечаниях к запискам Моро де Бразе, говоря о Прутском походе, Пушкин обнаруживает прекрасное знание «Истории русских походов» Бутурлина[91].

Бутурлин написал свой труд по-французски, так что его пришлось переводить на русский язык, и автору дано было, отмечаемое Пушкиным в дневнике, прозвище — «Жомини». Но цен-



ПИСЬМА ПЕТРА ВЕЛИКАГО

ПИСАННЫЯ

КЪ

ГЕНЕРАЛЪ-ФЕЛЬДМАРШАЛУ, ТАЙНОМУ СОВѢТНИКУ,

МАЛТІЙСКОМУ, С. АПОСТОЛА АНДРЕЯ, БѢЛАГО ОРЛА, И ПРУССКАГО ОРДЕНА

КАВАЛЕРУ,

ГРАФУ БОРИСУ ПЕТРОВИЧЮ ШЕРЕМЕТЕВУ,

ПО БОЛЬШОЙ ЧАСТИ СОБСТВЕННОЮ ГОСУДАРЕВОЮ РУКОЮ, А ИНЫЯ СЪ ПОДЛИННИКОВЪ ХРАНЯЩИХСЯ ВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ КАБИНЕТСКОЙ АРХИВѢ СПИСАННЫЯ, СКОЛЬКО ОНЫХЪ НАШЛОСЬ

У ЕГО СІЯТЕЛЬСТВА

ГОСПОДИНА ОБЕРЪ-КАМЕРГЕРА, ГЕНЕРАЛЪ-АНШЕФА, СЕНАТОРА, ОРДЕНОВЪ С. АПОСТОЛА АНДРЕЯ, С. АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО, БѢЛАГО ОРЛА, И С. АННЫ

КАВАЛЕРА,

ГРАФА ПЕТРА БОРИСОВИЧА ШЕРЕМЕТЕВА,

КОТОРАГО

ЖЕЛАНІЕМЪ И СТАРАНІЕМЪ

ОНЫЯ

НЫНѢ НА СВѢТЪ ИЗДАНЫ, И СЪ ПРЕДИСЛОВІЕМЪ

О ПРОИСХОЖДЕНІИ И О СЛУЖБАХЪ ПРЕДКОВЪ *ШЕРЕМЕТЕВЫХЪ*, ОСОБЛИВО ЖЕ О СЛАВНЫХЪ ДѢЛАХЪ ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА *БОРИСА ПЕТРОВИЧА* И О ПОТОМКАХЪ ЕГО.

НАПЕЧАТАНЫ ВЪ МОСКВѢ

При Императорскомъ Университетѣ 1774.

«Письма Петра Великого Б. П. Шереметеву». Москва, 1774 г. *Титульный лист.*

ность труда, о котором мы говорим, связана в значительной мере с тем, что ближайшее участие в подготовке его принимал Корнилович. Бутурлин, не отличавшийся трудолюбием, поручил ему делать выписки из архивных источников, хранившихся в Петербургском и Московском архивах Иностранной коллегии[92]. Роль Корниловича в подготовке «Военной истории» Бутурлина несомненно значительна, несмотря на то, что будущий декабрист был тогда еще совсем молодым человеком.

В своей «Истории Петра» Пушкин ссылается под 1722 годом на книгу Д. Н. Бантыша-Каменского «История Малой России»; в библиотеке поэта сохранилась третья часть ее (издание 2-е, 1830), из которой Пушкин считал нужным почерпнуть сведения об уничтожении гетманства Петром I и об учреждении Малороссийской коллегии[93].

В числе книг, посвященных царствованию Петра, в библиотеке Пушкина сохранилась изданная в 1808 году в Петербурге «*Жизнь*, анекдоты, военные и политические деяния российского генерал-фельдмаршала графа Бориса Петровича *Шереметева*, любимца Петра Великого и храброго полководца...». А из подробных жизнеописаний других ближайших сподвижников Петра мы находим в библиотеке поэта *«Историю о князе Якове Федоровиче Долгорукове...»,* составленную Евдокимом Тыртовым, и, наконец, упоминавшееся уже нами ранее в связи с записками Патрика Гордона и изданное Голиковым в 1800 году вместе с жизнеописанием последнего «Историческое изображение жизни и всех славных дел... Франца Яковлевича *Лефорта...*». Сюда же следует отнести книгу Берха «Жизнеописания первых российских адмиралов...», в которой использованы материалы, собранные умершим в 1780 году адмиралом Нагаевым[94].

Рассмотрение пушкинской библиотеки показывает, что Пушкин собрал в ней — с большим знанием предмета — целую коллекцию источников и сочинений о Петре и его эпохе. Каким же образом могло возникнуть мнение, будто Пушкин сам считал себя плохо ориентированным в литературе о Петре? (Добавим, что мнение это не вызывало возражений.) Возникновению этого ошибочного мнения (которое повело к тому, что библиотека поэта оставалась недостаточно обследованной) способствовало недоразумение, основанное на превратном понимании письма, посланного Пушкиным Корфу.

В конце 1836 года Пушкин разговаривал об «Истории Петра» с этим своим лицейским товарищем, который по выходе из лицея задался мыслью составить «каталог иностранных книг, содержащих в себе сведения о России», и «постоянно делал библиографические заметки на особых листках о подобных

сочинениях, им прочитанных или его интересовавших»[95]. «Последний наш разговор о великом твоем труде,— писал Пушкину Корф 13 октября 1836 года,— припомнил мне эту работу. Из разрозненных ее остатков я собрал все то, что было у меня в виду о Петре Великом, и посылаю тебе, любезный Александр Сергеевич, ce que j'ai glané sur ce champ (то, что я подобрал на этой ниве.— *И. Ф.*)...

...Это одна голая, сухая библиография, и легче было выписывать заглавия, чем находить самые книги, которых я и десятой части сам не видал,— признавался Корф.— В этой выборке нет ни системы, ни даже хронологического порядка: я выписывал заглавия книг так, как находил их в своих заметках...»[96]

Перечень иностранных сочинений, относящихся к эпохе Петра, присланный Корфом Пушкину, напечатан в академическом издании «Истории Петра»[97], но рассмотрен по существу не был, и потому действительное значение книг, перечисленных Корфом, не было выяснено. Пушкин на другой же день, 14 октября 1836 года, отвечал Корфу:

«Вчерашняя посылка твоя мне драгоценна во всех отношениях и останется у меня памятником. Право, жалею, что государственная служба отняла у нас историка. Не надеюсь тебя заменить. Прочитав эту номенклатуру, я испугался и устыдился: большая часть цитованных книг мне неизвестна. Употреблю всевозможные старания, дабы их достать...»[98]

Из этих слов Пушкина комментаторы «Истории Петра» и сделали вывод, что Пушкин «до конца своей жизни... считал себя плохо ориентированным в литературе эпохи Петра I»[99]. Между тем, как показывает изучение работы Пушкина над «Историей Петра» и ознакомление с библиотекой Пушкина, все существенное из числа книг, перечисленных Корфом, было Пушкину известно; Корф был библиофилом, не входившим в оценку содержания книг, названия которых он выписывал, большей частью не читая их, и которых, по собственным его словам, он даже «и десятой части сам не видал»; в особенности ценил он книжные редкости, вне зависимости от того действительного интереса, какой они могли представлять для историка Петровской эпохи.

«Громкие деяния Петра, как при жизни, так и по смерти его,— верно заметил в свое время Устрялов,— вызвали, в особенности за границею, целую толпу компиляторов, которые, не зная ни России, ни русского языка, не имея доступа к главным историческим материалам, частию из немногих обнародованных документов, частию из скудных известий двух или трех очевидцев, еще более из газетных объявлений, один за другим составляли

жалкие сочинения о Петре, дополняя недостаток исторических известий более или менее неудачными предположениями, даже явными выдумками» [100].

Слова Пушкина в письме к Корфу о том, что большая часть «цитованных» Корфом книг поэту неизвестна, относятся к подобного рода иностранным сочинениям о Петре, без разбора включенным Корфом в библиографический список, который он послал Пушкину и в котором нет, по собственным словам Корфа, «ни системы, ни даже хронологического порядка», ибо Корф только «выписывал заглавия книг так, как находил их в своих заметках». Поэтому утверждать, основываясь только на ответе Пушкина Корфу, будто Пушкин считал себя плохо ориентированным в исторической литературе, относящейся к эпохе Петра, у нас так же мало оснований, как и принимать всерьез обращение Пушкина к Корфу: «Право, жалею, что государственная служба отняла у нас историка» («Не надеюсь тебя заменить»,— добавляет, не довольствуясь еще этой фразой, Пушкин).

Между тем ответ Пушкина ввел в заблуждение его комментаторов: печатая в академическом издании список, включающий книги о Петре, которых сам Корф не видел, а Пушкин не читал, они не сочли нужным выяснить, какие же книги о Петре Пушкин знал и собрал в своей библиотеке.

Мы приводили уже свидетельства близко стоявших к работе Пушкина знатоков русских исторических источников: М. П. Погодина, который отметил, что Пушкин «с усердием перечитал... все сочинения... писанные» о Петре Великом, и А. И. Тургенева, оценивавшего «начитанность» Пушкина о России, «особенно о Петре», чрезвычайно высоко. Изучение библиотеки Пушкина подтверждает, как видим, обоснованность этих свидетельств.

«ДЕЯНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Созданный на протяжении 1835 года подготовительный текст «Истории Петра» Пушкин писал, несомненно «имея перед глазами» голиковские «Деяния Петра Великого». Но, как ни странно, редакторы пушкинского труда не считали нужным установить с достаточной точностью: 1) что же, собственно, представляют собой составленные Голиковым «Деяния Петра Великого», 2) когда Пушкин впервые ознакомился с ними и 3) каким образом и для чего воспользовался он ими в 1835 году?

Сожалея о том, что преждевременная смерть Пушкина надолго лишила Россию надежды иметь учено-художественную историю Петра, Белинский заметил, что «из прежних попыток сде-

лать что-нибудь для истории Петра Великого достоин величайшего уважения только бескорыстный и простодушный труд Голикова».

«Прекрасное, отрадное явление в русской жизни этот Голиков! — писал Белинский. — Полуграмотный курский купец, выучившийся на железные гроши читать и писать, чувствует сильную потребность во что бы то ни стало узнать историю Петра Великого. Недостаток в средствах лишает его возможности собирать материалы; однако он делает для этого всевозможные пожертвования, урывками от коммерческих занятий и житейских забот читает он все, что попадется ему под руку о Петре, делает выписки и таким образом полагает начало своему труду, огромности которого и сам не предчувствует».

Белинский рассказывает читателю о том, как Голиков оказался в тюрьме, а потом был освобожден «вследствие милостивого манифеста по случаю открытия в Петербурге монумента Петру Великому», как, упав перед ним на колени, он дал обет составить Историю Петра. «*Тридцать томов* остались памятником его благородного рвения, и в безыскусственном, беспорядочном его рассказе нередко заметно одушевление, достойное предмета, его возбудившего», — замечает Белинский, указывая, что труд Голикова недостаточно оценен был в тогдашней России. «Явись Голиков у англичан, французов, немцев — не было бы конца толкам о нем, не было бы счета его биографиям...» [1]

«Деяния Петра Великого» изданы были сначала в двенадцати томах в 1788—1789 годы Новиковым, а в последующее время (и в те годы, когда университетская типография была у него отобрана, а сам Новиков был посажен по приказу Екатерины в крепость) собранные Голиковым восемнадцать томов «Дополнения к Деяниям Петра Великого» печатались (в 1790—1797 годах) в той же типографии, сданной новым владельцам.

Что же представляет собой тридцатитомный труд Голикова?

«Из предисловия к первому тому «Деяний Петра Великого», — указывает сам Голиков, — публика видела, что я нимало не имею дерзости присвоить себе имя историка или втесниться в пресловутое сословие так называемых авторов, но что только усердный я собиратель материалов, относящихся ко славе нашего отечества, и приводитель оных в хронологический порядок» [2].

В предисловии этом Голиков скромно и правдиво говорит о задачах своего труда, называя его «собранием материалов, могущих послужить со временем к изображению по достоинству важнейшей эпохи в российской истории». К тому же Голиков признавал, что он «не искусен в историческом слоге» [3]. В соответствии со сказанным он и озаглавил свой труд: «Деяния Пе-

тра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам».

«Пушкин делал свои записи по *мере чтения Голикова*, а не после изучения книги», – утверждал редактор «Истории Петра» П. Попов[4]. Утверждение это повторяется и в Малом академическом издании сочинений Пушкина[5]. Поэтому у читателя может создаться впечатление, что Пушкин, впервые читая «Деяния Петра Великого» (или по крайней мере впервые серьезно знакомясь с ними) в 1835 году, конспектировал тут же новый для него – и огромный поистине – исторический материал, содержащийся в многотомном труде Голикова. Между тем в действительности Пушкин ознакомился с этим монументальным трудом еще в Михайловском. В своей статье «Прогулка в Тригорское» М. Семевский, побывавший там в 1866 году, сообщал:

«...В небольших старинных шкапчиках помещается библиотека Тригорского; новых книг здесь не много, но зато я нашел здесь не мало изданий новиковских, довольно много книг по русской истории... первое издание «Деяний Петра 1-го», творение Голикова, и проч. Между прочим, по этому экземпляру, и именно в этой самой комнате, Пушкин впервые познакомился с жизнью и деяниями монарха, историю которого, как известно, Пушкин взялся было писать в последние годы своей жизни»[6].

Тринадцатого ноября 1825 года в письме к Александру Бестужеву, посланном из Михайловского, Пушкин упоминает о «голиковской прозе»[7], упоминание это было, по-видимому, отзвуком недавнего чтения «Деяний Петра Великого» (содержанию которых Пушкин придавал такое серьезное значение, иронизируя над голиковским слогом).

Во всем этом нет, разумеется, ничего неожиданного, – удивительно было бы, если б Пушкин, так глубоко интересовавшийся Петром и уже во второй половине 20-х годов задумавший написать его историю, не был к 1835 году достаточно хорошо знаком с голиковскими «Деяниями Петра Великого». Сочинение это в то время «читали в глухой помещичьей деревне, не было оно забыто и представителями высших классов», которые «в каждом из многочисленных своих имений держали по экземпляру голиковских «Деяний»[8].

Печатая отрывки «Арапа Петра Великого», Пушкин ссылался на Голикова[9], в «Полтаве», как отмечено уже было исследователями поэмы, Пушкин также использовал исторический материал, найденный им у Голикова.

Это «первый старательный и обильный свод фактов» и «попытка систематизировать их», – замечает о голиковском труде исследователь посвященной Петру исторической литературы.

«Достоинством книги,— поясняет он,— является то, что, с точки зрения построения, было, в сущности, ее недостатком: поверхностная обработка материала, переданного в руки читателя почти в нетронутом виде... Чем дальше, тем изложение все более и более переходит в погодное размещение сырого материала — обстоятельство... несомненно имевшее выгодную сторону: оно обеспечило труду Голикова вплоть до нашего времени значение первоисточника» [10].

Какие же источники собрал и опубликовал Голиков в своем многотомном своде? Он перечисляет их в начале своего труда (стр. XI—XII), печатая «Роспись книгам, из которых выбраны предлагаемые здесь Деяния Петра Великого». Голиков имеет в виду прежде всего книги рукописные, а затем печатные.

Охватив в первых девяти томах своего труда в строго хронологическом порядке жизнь и царствование Петра, Голиков напечатал в следующих трех томах около полутора тысяч писем Петра. Среди восемнадцати томов «Дополнения к Деяниям Петра Великого» мы находим два тома (XV—XVI), содержащие «полное описание славной Полтавской победы и предшествовавшей измены Мазепы», а также том, содержащий, как мы уже упоминали, записанные Голиковым «анекдоты» о Петре Великом.

В подготовительном тексте своей «Истории» Пушкин использовал первые девять томов голиковских «Деяний», охватывающие, как сказано, все царствование Петра, но бесспорно знал и следующие за ними три тома писем Петра, как и составленное Голиковым «Дополнение к Деяниям Петра Великого». «Дополнение», посвященное подробному описанию Полтавской победы и измены Мазепы, например, Пушкин читал, работая над «Полтавой» [11].

Собранные Голиковым «анекдоты» о Петре Пушкин, будучи сам знатоком и собирателем такого рода исторических рассказов, не только знал, но и исправлял [12]. «Славный анекдот об указе, разорванном князем Яковом Долгоруким, рассказан у Голикова ошибочно и не вполне»,— говорит Пушкин, записывая со слов кн. А. Н. Голицына этот «славный анекдот». Со слов того же Голицына записал Пушкин и другой анекдот о Петре («Некто отставной мичман, будучи еще ребенком, представлен был Петру I в числе дворян, присланных на службу...») [13].

«Под названием Анекдотов,— говорит Голиков в предисловии к тому записанных им анекдотов о Петре,— разумеются такие повествования, которые в свет не изданы и которые, следовательно, немногим только известны. Достоверность же таковых преданий,— поясняет он,— зависит от следующего: 1) ежели повествуемое в них взято из подлинных записок или частных жур-

налов тех времен; 2) ежели особы, предавшие их словесно, были или очевидцами повествуемого, или удостоверены о истине того от современников, заслуживающих уважение. И таковые Анекдоты по справедливости заслуживают историческую достоверность»[14].

Множество «анекдотов» о Петре (опубликованных ранее Я. Штелином) Голиков поместил в основных томах своих «Деяний». Пушкин часто упоминает об этих анекдотах в подготовительном тексте «Истории Петра», несомненно имея в виду использовать некоторые из них в окончательном тексте ее.

Помимо «неизданных повествований» о Петре, как называет Голиков собранные им «анекдоты», Голиков широко использовал собранные им и им же впервые опубликованные записки и устные рассказы современников Петра. Пушкин отмечает это. «Особы, доставившие важнейшие сведения Голикову,— говорит он;— были И. И. Неплюев, адмиралы А. И. Нагаев, С. И. Мордвинов, И. Л. Талызин, комиссар Крекшин и московские купцы Сериков, Евреинов, Полуярославцев и Ситников и олонецкий купец Барсуков» (11).

«Он спас для будущего историка,— писал о Голикове в своей «Истории царствования Петра Великого» Устрялов,— многие изустные рассказы, которые без него погибли бы невозвратно; также немало и документов, едва ли уцелевших в частных архивах»[15]. Этого рода материалы, собранные Голиковым, представляли для Пушкина, конечно, большой интерес; они сохраняют значение первоисточника и поныне, хотя нуждаются (как и все другие, приводимые Голиковым) в критической оценке.

Что касается огромного числа печатных источников, собранных в своде Голикова, то нет никакого сомнения в том, что свод этот существенно облегчал подготовительную работу Пушкина, поскольку в голиковских «Деяниях» собрано было большинство известных тогда в печати источников, освещавших события петровского царствования. Важнейшие из них Пушкин знал не только по своду Голикова — он читал их в том виде, в каком они были изданы,— по-русски и на других языках,— и собрал, как мы видели, в своей библиотеке достаточно широкий круг печатных источников, относящихся к эпохе Петра.

Там, где Пушкин в подготовительном тексте своей «Истории Петра» «близок к Голикову», он близок попросту к источникам, собранным в голиковском своде. Этому ничуть не мешает то, что Голиков время от времени прерывает текст приводимых (или весьма близко пересказываемых) источников своими панегирическими рассуждениями. Пушкин не обращает внимания на эти «простодушные», по его словам, рассуждения Голикова.

Когда Пушкин пишет в своей «Истории», что в ответ на угрозы шведов Петр ответил: *«...брат мой Карл хочет быть Александром* – etc.», – это означает, что Пушкин прекрасно помнил ответ Петра, зная о нем вовсе не только из Голикова, но и из ряда других источников. Об ответе этом Пушкин знал, в частности, из книг Вольтера, который приводит этот ответ Петра и в «Истории Карла XII» и в своей «Истории России в царствование Петра Великого», а также из книги Антонио Катифоро «Житие Петра Великого», сохранившейся в библиотеке Пушкина и на итальянском и на русском языках, где можно прочесть о том, как «Великий Петр... выговорил сии слова: *«Изрядно! брат мой Карл хочет всегда так поступать, как Александр, однако я надеюсь, что не найдет он во мне Дария»*[16].

Когда Пушкин при описании взятия Нарвы Петром близко следует, казалось бы, Голикову[17] (создавая в действительности страницы новой военно-исторической прозы), он следует на самом деле вовсе не Голикову, а достаточно хорошо известным ему источникам, использованным Голиковым. Ибо Голиков основывается здесь на хорошо известном Пушкину «Журнале Петра Великого».

К сведениям, взятым из «Журнала» Петра, Голиков добавляет сцену, описание которой заимствовано им из книги Штелина «Любопытные и достопамятные сказания о Петре Великом»: Петр показывает взятому в плен шведскому коменданту Нарвы свою шпагу, обагренную кровью. Но и книга Штелина была хорошо известна Пушкину[18].

Помимо названного Голиковым Штелина Пушкин знал об этой сцене из книги Вольтера[19], который основывался на записках Вебера, рассказывавшего, что при проезде его через Нарву – пятнадцать лет спустя после взятия ее Петром – ему показывали тот самый стол, на который царь бросил свою окровавленную шпагу[20]. Книга Вебера также сохранилась в библиотеке Пушкина; заинтересовался же он ею еще в 1833 году, когда писал А. С. Норову: «Нет ли у тебя сочинения Вебера о России (*Возрастающая Россия* или что-то подобное)?»[21]

Кроме материалов, включенных в «Деяния» Петра, Пушкин нашел у Голикова важные библиографические ссылки, которые должны были его заинтересовать.

Стремление Голикова охватить источники в возможной полноте оказывалось иногда сильнее его апологетической тенденции. Неверным является, кроме того, утверждение, будто Голиков, «не зная иностранных языков... иностранные источники не привлекал почти вовсе»[22]. Как отметил еще Устрялов, Голиков

«извлек при пособии наемных переводчиков некоторые сведения из писателей чужеземных»[23].

Находя в голиковских «Деяниях Петра Великого» ссылки на печатные источники, Пушкин не только отмечает их, он обращается к ним и достает книги – русские и иностранные,– не довольствуясь ссылками и цитатами, приводимыми Голиковым. Так, например, изображая Каспийский поход Петра, Пушкин пишет: «Переход был труден. Жар, вихрь и пыль были несносны. Петр весь день был верхом. См. Беля, III–171» (428). Эта ссылка дана Пушкиным по Голикову[24]. Но в библиотеке Пушкина мы находим и французское издание «Путешествия» Белла, вышедшее в трех томах в Париже в 1776 году[25].

Ссылка на Белла в «Деяниях Петра Великого» – ссылка, с цензурной точки зрения, невинная. Но вот Пушкин касается в своей «Истории Петра» процесса первой жены Петра Евдокии и пишет: «Царица высечена и отвезена в Новую Ладогу» (390). Между тем в соответствующем месте у Голикова сказано только: «Что касается до бывшей царицы (говорит венецианского издания истории монаршей писатель), она отдана была духовному суду, от которого дарована ей жизнь, и после отвезена она в Новую Ладогу в монастырь».

Но, ограничиваясь как будто этими сведениями, Голиков ссылается на «венецианское издание» «Истории Петра» не только в приведенных строках,– в сноске к ним[26] он указывает на вторую часть названной им книги, отсылая читателя к той странице ее, где можно найти сведения о наказании, которому была подвергнута бывшая царица.

Эта глухо указанная Голиковым страница гласит: «По учиненном розыске отдана была она духовному суду, от которого хотя и пожалована животом, однако по приговору была бичевана двумя монахинями, а потом отвезена в Новую Ладогу под караул».

Итак, Голиков о «сечении» царицы умалчивает, но ссылается на «венецианское издание», где сообщается о бичевании, которому подверглась первая жена Петра. Книга эта сохранилась в библиотеке Пушкина, и указание Голикова могло помочь ему найти в ней сведения о том, что бывшая царица была «*высечена*»[27].

«Невидимая» часть «Деяний» Голикова, скрывающаяся за ссылками на источники, привести которые полностью Голиков не мог, являлась для Пушкина важной: пользуясь подобными ссылками, Пушкин искал и находил не слишком заметно, но достаточно точно указанные Голиковым запретные источники.

Повествуя о судьбе царевича Алексея, Голиков приводит об-

ширные извлечения из записок Брюса, а также из «Путешествия» Кокса. Пушкин отмечает это, указывая в подготовительном тексте «Истории Петра»: «см. *Брюса:* описание царевича, и *Кокса*» (386). Вслед за тем Пушкин имел возможность прочесть у того же Голикова, что в книге Кокса есть «выражения, которые сколько бы было дерзко, столь и стыдно и вносить сюда»; после чего Голиков, однако, указывает в сноске, где именно можно найти эти раскрывающие роль Петра в деле царевича Алексея «дерзкие выражения» (повторять которые Голикову «стыдно»). «О сих местах, – говорит он в сноске, – смотри в помянутой Коксовой книге главу 5, страницу 67 и 73»[28] и т. д. Нет сомнения, что, находя у Голикова подобного рода указания, Пушкин не мог не заинтересоваться ими и стремился достать упомянутые Голиковым книги.

Что касается «Записок» Брюса, рассказывающего, как и передает Голиков, будто царевич был отравлен по приказу Петра, то из письма А. Я. Вильсона к Пушкину от 18 декабря 1835 года мы узнаем, что Пушкину удалось достать эту книгу[29]. «Вместе с сим получить изволите, – писал Пушкину Вильсон, – Записки капитана Брюса, в которых найдете много любопытства достойного»[30]. Книгу эту Пушкин, как сейчас увидим, не только получил, но и прочел.

Мы упоминали уже о разговоре Пушкина с Д. Е. Келлером, записанном последним в своем дневнике, а также о том, что Келлер зачеркнул в своей записи некоторые строки; в связи с этим они печатались до сих пор в следующем неполном виде:

«Он раскрыл мне страницу английской книги... о Петре Великом, в которой упоминалось о смерти Алексея Петровича...»

«Я сам читаю теперь эту книгу, но потом, если желаете, и Вам пришлю»[31] (сказал Пушкин Келлеру). Что это была за книга, установить в свое время, то есть при публикации записи Келлера, исследователям не удалось, так как строки, зачеркнутые Келлером, не поддавались прочтению.

Обратившись к подлиннику дневника Келлера[32], нам удалось разобрать, что в зачеркнутых им строках речь идет именно о записках Брюса, на которые Пушкин сослался в «Истории Петра» вслед за Голиковым и которые прислал ему А. Я. Вильсон.

Чтение наше подтверждалось и тем, что Келлер в своей записи сообщает о книге, где говорится не просто «о смерти» царевича Алексея (как печатали до сих пор), а об отравлении его; версия же об отравлении царевича излагается именно в «Записках» Брюса.

Правильность такого чтения была окончательно установлена специалистами Центральной криминалистической лаборатории,

которым удалось путем специального фотографирования прочесть интересующее нас место в дневнике Келлера полностью.

Келлер, как теперь можно считать установленным, писал в нем, вспоминая о своей встрече с Пушкиным: *«Он раскрыл мне страницу английской книги, записок Брюса о Петре Великом, в которой упоминается об отраве царе[вича] Алексея Петровича, приговаривая: «Вот как тогда дела делались».* Я сам читаю теперь эту книгу, но потом, если желаете, ее вам пришлю»[33].

Мы получаем теперь возможность не только установить, какую книгу показал Келлеру Пушкин, но и определить, какую страницу ее поэт прочел ему. Вот она:

«Маршал Вейде, выйдя из крепостного бастиона, где заточен был Алексей (рассказывает Брюс.— *И. Ф.*), приказал мне пойти к господину Бэру, аптекарю, чья лавка находилась поблизости, и сказать ему, чтобы он приготовил то питье, которое было ему заказано, ибо царевич тяжко болен. Когда я передал это известие господину Бэру, он побледнел, затрясся, задрожал и показался мне совершенно растерявшимся. Все это настолько удивило меня, что я попросил его объяснить, что с ним происходит. Но он не способен был что-либо ответить.

В это время пришел сам маршал, который был почти в таком же состоянии, как и аптекарь. Маршал сказал ему, что он должен поторопиться, так как состояние царевича стало после приключившегося с ним апоплексического удара крайне опасным. В ответ на это аптекарь передал маршалу серебряный сосуд, закрытый крышкой, и маршал ушел с ним в помещение царевича; ушел он шатаясь, как пьяный»[34].

Рассмотренный случай с большой ясностью говорит о том, что Пушкин доставал даже книги, весьма трудно доступные, не довольствуясь тем, что приводит из них в своем своде Голиков.

Он изучал рукописные сочинения (а не только документы), касающиеся истории Петра, найденные им в Государственном архиве. После смерти поэта Нессельроде писал Бенкендорфу о том, что Пушкин не возвратил в архив перевод дневника Корба. (В черновике этого письма Нессельроде первоначально было сказано: «Не возвращены же им две рукописи: 1-я, описание «Путешествия» Корба и 2-я — История Петра Великого, писанная Крекшиным»[35].)

Изображая «крутой и кровавый переворот», совершенный Петром, Пушкин располагал источниками, которых Голиков не знал или не смел использовать. Существенно, что к таким запретным в его время источникам Пушкин обращался в важнейших местах своей «Истории». К источникам труднодоступным — и даже совсем недоступным тогда другим историкам —

щекритании и обещалъ одолжить
книжку изъ Гордона на Англiйскомъ
языкѣ о Стрѣлецкихъ бунтахъ. Онъ
раскрылъ мнѣ страницу Англiйской
книги, записокъ Брюса о Петрѣ Вели-
комъ, въ которой упоминается
объ отравѣ царя Алексея Петровича
приговореннаго. Вотъ какъ тогда это
дѣлалось.

Дневник Д. Е. Келлера. 1837 г. Запись о встрече с Пушкиным. *Зачеркнутые строки.*

Онъ
раскрылъ мнѣ страницу Англiйской
книги, записокъ Брюса о Петрѣ Вели-
комъ, въ которой упоминается
объ отравѣ царя Алексея Петровича
приговореннаго. Вотъ какъ тогда это
дѣлалось.

Дневник Д. Е. Келлера. *Зачеркнутые строки, прочитанные с помощью специального фотографирования. Восстановленный текст.*

поэт, как было сказано, обратился, исследуя дело царевича Алексея, которое Голиков назвал «камнем претыкания» для историка Петра. Этим путем Пушкин возмещал неполноту голиковского свода.

Исторические источники приведены Голиковым в хронологическом порядке; имея в пору своей работы перед глазами голиковский свод и следуя тому же порядку в своем подготовительном тексте, Пушкин *в этом смысле* следовал Голикову. С глубокой, поражающей и сегодня проницательностью читая страницы многотомных «Деяний Петра Великого», он сумел всемерно, критически воспользоваться собранным в голиковском своде обширным историческим материалом. Но, создавая подготовительный текст своей «Истории Петра», Пушкин не «конспектировал» найденные им у Голикова источники. Закрепляя результаты изучения петровского времени, основанные на критическом чтении источников, Пушкин стремился установить, как совершались в действительности важнейшие исторические события освещаемой им эпохи, и потому оставил нам труд, много более высокий по своему значению, нежели «выписки-конспекты» (как принято было называть до недавнего времени подготовительный текст его «Истории Петра»)[36].

Историческая точка зрения Пушкина определяла новую перспективу в изображении Петра и его эпохи, и поэтому почерпнутый им в своде Голикова материал приобретал на страницах пушкинской «Истории Петра» новое качество – историческое и художественное.

Отношение народа к Петру – тема первостепенного значения. Голиков старается не замечать остроты ее. В книге Пушкина ей предназначается важное место.

Так, например, описав взятие Нарвы Петром, Пушкин заканчивает страницы, посвященные событиям 1704 года, изображением последовавшего за взятием Нарвы торжественного въезда Петра в Москву. У Голикова, сводом которого воспользовался Пушкин, говорится, что «множество народное», наблюдавшее триумфальный въезд Петра, начало «узнавать пользу преображенного своего воинства в вид, суеверию их казавшийся неприятным»[37].

Пушкин пишет не только о преобразовании войска, о его новом виде, который раньше «суеверию» казался «неприятным». Он остается *как будто* очень близок к Голикову, когда говорит: «Знатнейшие люди всех сословий поздравляли государя. Народ смотрел с изумлением и любопытством на пленных шведов, на их оружие, влекомое с презрением, на торжествующих своих соотечественников и начинал мириться с нововведениями» (129).

Но в отличие от своего источника, говоря, что народ *начинал мириться с нововведениями,* Пушкин намечает здесь узел одной из главных линий «Истории Петра»: речь идет о насильственном характере петровских преобразований и об отношении к ним народа. Описание Нарвского триумфа у Пушкина становится поэтому не только концовкой намечающейся главы, в которой описано взятие Нарвы, но и важным — тематически и композиционно — моментом построения всей книги о Петре. Это становится ясно, если сравнить с пушкинским описанием Нарвского триумфа пушкинское же описание триумфа, последовавшего за Полтавской победой.

В то время как Голиков при описании полтавского триумфа пишет лишь о пушечной пальбе, колокольном звоне, военной музыке, барабанном бое и «радостном от неисчетного народа восклицании сих слов: *здравствуй, государь, отец наш!*»[38], Пушкин пишет, что после Полтавской победы Петр вступил в Москву при «восклицании, *наконец, с ним примиренного народа: здравствуй, государь, отец наш!*» (230. Курсив наш. — *И. Ф.*) Эти строки говорят о том, как переменилось, на взгляд Пушкина, отношение к Петру народа, который пять лет назад, после Нарвской победы, только «начинал мириться с нововведениями».

Немногими чертами, иногда двумя-тремя словами, Пушкин решительно меняет освещение найденных им в своде Голикова фактов, рисующих личность Петра. Под 1698 годом Пушкин пишет: «В начале года Петр отправился в Англию на яхте и на трех английских военных кораблях, присланных от короля с частию своего посольства» (69). «А господина Лефорта», — говорит в этом месте Голиков, — Петр «оставил в Амстердаме, при разлучении с которым, яко с верным другом, прощался со слезами»[39]. Пушкин же пишет: «Лѐфорта оставил он в Амстердаме и, расставаясь с ним, плакал (вероятно, будучи пьян)» (69). Последнее замечание сделано Пушкиным, видимо, «про себя» и не предназначалось для включения в окончательный текст «Истории Петра».

Рассказывая о пребывании Петра в Голландии, Пушкин говорит о его работе на кораблестроительной верфи. С фактической стороны он здесь следует Голикову, который упоминает о том, что Петр был «по искусству своему в работе назван Питер-Басом, то есть Петром-мастером, которое название было ему приятнее тогда всех титулов величества»[40].

Пушкин вместо того написал: «Корабельные мастера звали его Piter Bas[41], и сие название, напоминавшее ему деятельную, веселую и странную его молодость, сохранил он во всю жизнь» (63).

У Голикова нет, разумеется, ничего подобного этим словам Пушкина, которые так выразительно характеризуют молодость Петра.

Даже тогда, когда Пушкин кажется близким к Голикову, он по мысли нередко очень далек от него.

В примечании к «Медному всаднику» Пушкин пишет: «Альгаротти где-то сказал: «Петербург — окно, через которое Россия смотрит в Европу» [42]. Не повторяя этого пассивного созерцательного образа («Россия *смотрит* в Европу»), Пушкин сказал:

Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.

И мысль стала другой, ибо одно дело — смотреть в окно, другое — рубить его. Изменением одного слова Пушкин меняет иногда смысл не только взятого им из книг материала. Так бывало и при работе Пушкина над своими стихами. В черновике «Медного всадника», там, где в окончательном тексте поэмы теперь сказано:

Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,—

Пушкин сначала написал:

И *заторгуем* на просторе!

Изменив затем последний стих, Пушкин сказал:

И *запируем* на просторе!

Переменой этой поэт сказал, что в глазах Петра, создающего морскую столицу, торговля была не целью, а средством к достижению великих исторических целей. Перемена эта, разумеется, для Пушкина не случайна. Недаром в «Арапе Петра Великого», изображая строительство Петербурга, Пушкин писал о Петре, «утверждающем морское величие России». А позднее сказал: «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль,— при стуке топора и при громе пушек...» Все в этих словах великого поэта передает мощь и стремительность России, которая вошла в Европу победами в труде и в бою. И древняя, давно стершаяся метафора — «корабль государства» — приобретает под пером Пушкина новый, действенный смысл.

Эти примеры, взятые из произведений Пушкина, помогают нам понять, как в свете исторических идей поэта совершалось в «Истории Петра» превращение устарелой голиковской прозы

(там, где Голиков не просто приводит, а перелагает исторические источники) в пушкинскую историческую прозу, и показывают, насколько обманчива близость Пушкина к Голикову даже там, где на поверхностный взгляд видны только сокращение и перевод архаических по слогу материалов голиковского труда на язык Пушкина.

Гоголь восхищался отличающей Пушкина «чрезвычайной быстротой описания» и его «необыкновенным искусством немногими чертами означить весь предмет». Это необыкновенное искусство Пушкина мы узнаем и на страницах «Истории Петра». Даже там, где Пушкин «только сокращает» материал, найденный у Голикова, Пушкин гениально меняет пропорции, создавая новую перспективу в изображении воссоздаваемых им событий. Говоря о слоге Пушкина, Гоголь заметил: «Рисует ли он боевую схватку... слог его... летит быстрее самой битвы». В движении живой пушкинской мысли создается ничем не напоминающий Голикова новый ритм и темп повествования, и перед нами открываются новые страницы создающейся пушкинской прозы.

Голиков протоколирует исторические события, Пушкин стремится изобразить их – он создает в своем повествовании драматическое движение как при изображении общего хода событий, обнимаемых его незавершенной книгой, так и внутри каждого из намечавшихся разделов будущей «Истории Петра».

Пушкин создавал новую по идейной и художественной структуре великую книгу, и потому даже там, где он меняет, по видимости, используемый им исторический материал только «чуть-чуть», он меняет его чрезвычайно сильно, как меняется все, что видит наблюдатель, если чуть-чуть повернуть линзы телескопа.

В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ

Современники поэта свидетельствуют о том, что Пушкин перечитал «все» «сочинения» о Петре Великом. Но почему же Александр Тургенев находил его знания «редкими, единственными»? Потому, видимо, что они основаны были на знакомстве не только с печатными источниками, но и с архивами, недоступными другим историкам.

До сих пор не изжито представление, будто обращение Пушкина к архивным делам петровского времени ограничилось получением им от царя разрешения «рыться в старых архивах»[1]. Приводя письмо Пушкина к Блудову от 20 января 1832 года, где Пушкин писал: «Буду ожидать приказания Вашего, дабы приступить к делу, мне порученному»[2], Л. Модзалевский комменти-

рует: «Дело, мне порученное, – история Петра», – но при этом утверждает, будто бы «предварительные сношения Пушкина этим и ограничились, и работой над историей Петра он занялся лишь в 1835 году»[3].

Распространению подобного представления несомненно способствовал Устрялов, которому Николай I поручил после смерти великого поэта написать вместо него «Историю Петра». Устрялов подчеркивал, что в государственных архивах, открытых ему «по высочайшему соизволению», нашел он средства узнать «то, что другим историкам было недоступно». «Последним историком Петра, имевшим доступ к государственным архивам, был, – по его утверждению, – курский купец Иван Иванович Голиков»[4]. О Пушкине Устрялов умалчивает.

Даже в статье П. Софинова «Работа А. С. Пушкина в архивах», посвященной главным образом работе поэта над историей Пугачева и содержащей много верного, повторено мнение, будто «в работе над «Петром» Пушкин избрал другой метод исторического исследования»: «решил вначале написать историю по печатным материалам и уже после исправлять на основе документальных данных»[5]. Названный нами исследователь, в отличие от остальных, отмечает все же, что «знакомство с архивным материалом» давало Пушкину «все больше и больше отрицательных фактов о Петре I, так что, – пишет он, – Пушкин в своем конспекте книги Голикова вносил одно за другим возражения, характеризующие Петра в нелестных для последнего выражениях»[6]. Сколько-нибудь конкретно вопрос о работе Пушкина над «Петром» в архивах, однако, не ставился.

Между тем изучение сохранившихся материалов позволяет нам не только установить, к каким архивам обратился Пушкин, изучая эпоху Петра, и представить себе с внешней стороны картину этой его работы. Необходимо выяснить, к каким фондам архивных источников должен был обратиться – и обратился действительно – Пушкин и получил ли он доступ к секретным делам петровского времени, так его интересовавшим.

Уже в своих «Материалах» для биографии Пушкина Анненков, как мы упоминали, писал, что «с зимы 1832 года» поэт «стал посвящать все свое время работе в архивах, куда доступ ему был открыт еще в прошлом году. Из квартиры своей в Морской (дом Жадимеровского) отправлялся он каждый день в разные ведомства, предоставленные ему для исследований. Он предался новой работе своей с жаром, почти со страстью. Так протекла зима 1832 года... Весной 1833 года он переехал на дачу, на Черную речку, и отправлялся пешком оттуда каждый день в архивы, возвращаясь таким же образом назад»[7].

Копия, снятая Пушкиным
с письма Петра I В. В. Долгорукову (вверху),
воспроизводящая почерк Петра.

Принято считать почему-то, что эти занятия Пушкина, вопреки ясным указаниям современников поэта и прямым документальным свидетельствам, целиком или почти целиком посвящены были изучению архивных материалов о Пугачеве. Между тем Анненков верно указывал: «При собирании документов для истории Петра Великого Пушкин встретился с материалами, которые показались ему столь важными, что он положил их в основание побочного исследования (то есть «истории Пугачева». — *И. Ф.*), нисколько не упуская из вида главного предмета своих розысков» [8]. Понимая, как важны были для Пушкина пугачевские материалы, Анненков подчеркивает, что Пушкин изучал их, «нисколько не упуская из вида» материалов петровского времени. Перечислив с большой точностью различные архивы, материалами которых пользовался Пушкин, Анненков замечает: «с сокровищами Государственного архива он познакомился под руководством и наблюдением» графа Блудова [9].

Что же представляли собой хранившиеся в Государственном архиве Российской империи исторические «сокровища» и почему работа, которой Пушкин предался, по словам Анненкова, «с жаром, почти со страстью», была поставлена под наблюдение Блудова?

В Государственном архиве хранились «акты и бумаги, относящиеся до особенных внутренних дел и важнейших происшествий империи» [10]. Николай I по своем восшествии на престол, говорит Пушкин в предисловии к «Истории Пугачева», приказал привести их в порядок: «...сии сокровища вынесены были из подвалов, где несколько наводнений посетило их и едва не уничтожило» [11].

«Создав для борьбы с нарастающим революционным движением целую систему охранительных органов, Николай I создал и специальное секретное хранилище, в котором должны были быть сосредоточены все документы, касающиеся царской фамилии, борьбы вокруг трона, борьбы самодержавия с революционным движением, — словом, все документы особой политической для самодержавия значимости» [12].

Сюда были переданы из «Кабинета его величества» бумаги Петра I. В 1829 году из всех этих фондов был создан в помещении Министерства иностранных дел архив, получивший с 1834 года название Государственного [13]. В архив этот и был допущен для занятий Пушкин.

После смерти Пушкина Нессельроде сообщал Бенкендорфу, что «покойный камер-юнкер Пушкин занимался в самом доме Министерства иностранных дел прочитыванием и деланием выписок из бумаг, касающихся до царствования императора Петра

Великого, и из дел о бунтовщике Пугачеве, для чего отведена была ему особая комната. По мере прочитывания он возвращал даванные ему бумаги»[14]. Документ этот подтверждает, что Пушкин не только читал «даванные ему бумаги», но и делал из них выписки. Какие именно выписки сделал он в Государственном архиве из бумаг петровского времени, мы установить сейчас не можем, так как материалы, которые Пушкин, по собственным словам его, «скоплял» и «приводил в порядок» в 1834 году, не дошли до нас[15].

Умалчивая в своих воспоминаниях о работе Пушкина в Государственном архиве, Устрялов дает нам тем не менее возможность представить себе обстановку, в которой очутился Пушкин, работавший в этом архиве, поскольку порядки, в нем заведенные, за годы царствования Николая I почти не менялись, а директором архива в период работы Устрялова являлся все тот же В. А. Поленов, с которым вынужден был раньше иметь дело великий поэт.

Государственный архив, «который открывался очень немногим», «находился,— вспоминает Устрялов,— там же, где и теперь,— в Главном штабе, в верхнем этаже, в Отделении Министерства иностранных дел». Что касается начальника его Поленова, то «человек он был старый, тяжелый, большой формалист». Ознакомление с архивом надо было начинать с изучения реестров, то есть перечней хранящихся в нем документов и дел петровского времени: это были, во-первых, документы, написанные или подписанные самим Петром; во-вторых — донесения и просьбы, ему адресованные. Реестры, в которых документы эти были перечислены, «состояли,— пишет Устрялов,— из трех огромных фолиантов, переплетенных в сафьян еще в царствование Екатерины II»[16].

Громада писем и бумаг Петра I столь обширна, что начатое в 1872 году полное издание их, выходящее поныне отдельными томами, к настоящему времени доведено только до 1711 года. Чтение почерка Петра представляет к тому же большую трудность, ибо почерк этот (как и отмечал Устрялов) «неправилен и в высшей степени неразборчив»[17]. Следует напомнить в этой связи, что в бумагах Пушкина сохранились четыре письма Петра I, факсимильно воспроизведенные Пушкиным, который старался, по-видимому, освоить таким способом почерк Петра[18].

Изучение бумаг Петра I, хранившихся в Государственном архиве, Пушкин должен был начать, разумеется, с обозрения их, то есть со знакомства с описями их. В бумагах Пушкина сохранилась действительно рукописная опись (писанная двумя лицами, нам неизвестными), воспроизведенная в десятом томе академиче-

ского издания сочинений Пушкина без выяснения вопроса о том, что представляет собой по существу этот документ: он опубликован под заголовком, данным ему в подлиннике и оставшимся нерасшифрованным,— «Дела под названием «Архив императора Петра I»[19]. Между тем документ этот, имеющий для нас существенное значение, представляет собой не что иное, как опись важнейших дел, входящих в состав бумаг Петра I; дела эти поступили в основном в Государственный архив, где работал Пушкин. В описи этой значатся:

«1. Двадцать книг с указами, письмами и прочими бумагами императора Петра I-го и императрицы Екатерины I-й».

«2. Семьдесят две книги, содержащие в себе историю государя Петра I».

«Почти все сии книги содержат собственноручные императора Петра I поправки»,— сказано в этой же описи. В ней по пунктам перечислены важнейшие из этих семидесяти двух книг, в состав коих входит рукопись «Истории Северной войны», написанной под руководством Петра и собственноручно им редактированной; она была издана, как мы знаем, в царствование Екатерины II Щербатовым под названием «Журнал, или Поденная записка Петра Великого». Пушкина должны были заинтересовать, конечно, страницы, собственноручно вписанные в нее Петром.

В той же описи назван «Журнал путешествий его царского величества с 1702 по 1711», «Тетради записные его императорского величества Петра I-го» (изданные князем Щербатовым только за 1704—1706 годы) и другие ценные материалы, включая «Тринадцать записных книжек императора Петра I-го, писанные карандашом или грифелем на аспидных дощечках». Своеобразные записные книжечки Петра должны были заинтересовать Пушкина, знавшего уже, вероятно, содержание их, опубликованное Голиковым в «Дополнении к Деяниям Петра Великого»[20].

В сохранившейся у Пушкина архивной описи указаны были также дела о бунтах петровского времени — стрелецком, Мазепы и проч. Эта опись позволяла Пушкину ориентироваться в важнейших исторических материалах, хранившихся в Государственном архиве среди «Кабинетных» бумаг Петра I; вместе с тем опись говорила о том, какие из этих материалов и где именно были опубликованы, что облегчало Пушкину изучение их.

«Кабинетные» бумаги, то есть бумаги, хранившиеся ранее в архиве «Кабинета» Петра и поступившие при Николае I в Государственный архив, находятся ныне в Центральном Государственном архиве древних актов в Москве (разряд IX, Кабинет Петра I). Вместе с ними хранится и составленный князем Щерба-

товым «Реэстр разобранным в архиве... Петра Великого... делам и письмам, переплетенным в книги в 1769, 1770, 1771, 1774 и 1777 годах». Сопоставление с этим реестром описи, уцелевшей в бумагах Пушкина, подтверждает указанное нами значение ее для архивной работы Пушкина, который достаточно ясно представлял себе состав «Кабинетных» бумаг Петра (или «Архива императора Петра I», как названы они были в принадлежавшей Пушкину описи). Опись эта не дает, однако, ответа на вопрос о том, получил ли Пушкин доступ к делам, хранившимся в Секретном отделении Государственного архива, наиболее недоступным из которых было дело царевича Алексея.

Когда Пушкин, желая привлечь в помощь себе для работы в архивах М. П. Погодина, обратился с такой просьбой к царю, Погодину были открыты все архивы, «кроме тайного»[21]. И Погодин, досадуя, писал Пушкину: «Важные секреты чай в Петерб[урге] — но какие же секреты для истории? Ведь это смешно. — Ну пусть отпоют меня, ну пусть отрежут язык на столько линий, сколько угодно!»[22] Это следует отметить потому, что Нессельроде, которому подчинен был Государственный архив, по-видимому, стремился истолковать данное Пушкину царем разрешение «рыться в старых архивах» также ограничительным образом.

Двенадцатого января 1832 года Нессельроде счел необходимым обратиться к царю с докладом, в котором сообщал, что «во исполнение высочайшей воли» им уже сделано «распоряжение» о допущении Пушкина в архивы. «Но при том я осмеливаюсь испросить, — писал Нессельроде, — благоугодно ли будет вашему императорскому величеству, чтобы титулярному советнику Пушкину открыты были все секретные бумаги времен императора Петра I, в здешнем архиве хранящиеся, как-то: о первой супруге его, о царевиче Алексее Петровиче; также дела бывшей Тайной канцелярии»[23]. На подлиннике этого запроса сохранилась помета: «Докладывано в С.-Петербурге. Генваря 12-го дня 1832 года»[24].

Три дня спустя Нессельроде извещал Блудова: «Его императорское величество... повелел... чтобы из хранящихся в здешнем Архиве дел секретные бумаги времен императора Петра I открыты были г. Пушкину не иначе, как по назначению Вашего превосходительства и чтобы он прочтением оных и составлением из них выписок занимался в Коллегии иностранных дел и ни под каким видом не брал бы вообще всех вверяемых ему бумаг к себе на дом»[25].

Снискавший своим участием в суде над декабристами полное доверие Николая I Блудов получил в свое ведение и важнейшие политические дела прошлых царствований. «Он имел по высо-

чайшему разрешению возможность ознакомиться со всеми документами тайных архивов и знал в то время лучше и обстоятельнее всех дело царевича Алексея»,— свидетельствует Погодин [26].

Когда по вступлении на престол Николая I министр императорского двора Волконский представил ему описи дел Кабинетного архива, между прочими делами в них под № 5 значились «два сундука больших с неизвестными делами, запечатанные». Николай I поручил Блудову их распечатать, осмотреть и донести...

В сундуках этих Блудов нашел, «во-первых, дела по царевичеву розыску и, во-вторых, дела Тайной канцелярии петровского времени» [27].

Дела эти, хранившиеся сначала в Петропавловской крепости и затем перешедшие, как сказано, в архив «Кабинета его величества», поступили в 1827 году, после того, как Блудов распечатал их, в архив Коллегии иностранных дел; дела «Тайной розыскных дел канцелярии» помещались с этого времени в здании Главного штаба и «разбирались по картонам под ближайшим наблюдением» его [28]. Все это в достаточной мере объясняет, почему Николай I признал необходимым, чтобы «секретные бумаги времен императора Петра I открыты были Пушкину не иначе, как по назначению» графа Блудова.

Через неделю после того, как царь принял свое решение и Нессельроде известил о нем Блудова, сам Блудов сообщил обо всем Пушкину письмом от 19 января 1832 года [29].

Месяц спустя К. С. Сербинович, занимавшийся разбором и описанием бумаг Петра Великого под руководством Блудова, по поручению последнего сообщал поэту: «Дмитрий Николаевич поручил мне уведомить Вас, милостивый государь Александр Сергеевич, что он будет сегодня в Архиве иностранной коллегии в час пополудни. Посему не угодно ли будет и Вам туда приехать. А я, кончив некоторые дела, отправлюсь туда же прямо и постараюсь упредить Вас, чтобы предуведомить Василия Алексеевича Поленова» [30]. Блудов и Сербинович, по-видимому, направились туда в этот день, чтобы открыть Пушкину доступ к секретным делам времен Петра Великого.

Но воспользовался ли Пушкин полученным разрешением и какие из этих секретных дел были открыты ему «по назначению» Блудова? Устрялов в предисловии к изданному четверть века спустя шестому тому своей «Истории» утверждал, что из документов, входящих в состав опубликованного им дела царевича Алексея, «наибольшая часть оставалась недоступной для историков». В число никому не доступных до него архивных ма-

териалов он включал «допросные пункты, писанные рукою Петра», и «ответы и показания царевича»[31].

Уверенность в том, что Пушкин не получил доступа к этим секретным историческим документам, была так велика, что исследователи не заметили даже прямой ссылки на архивное дело царевича Алексея, сделанной Пушкиным в рукописи «Истории Петра». «14 июня, – пишет он, – Петр прибыл в Сенат и, представя на суд несчастного сына, повелел читать выписку из страшного дела (см. *подлинник*)» (398. Курсив наш. – *И. Ф.*).

Подлинное дело царевича Алексея сохранилось и находится теперь в Центральном Государственном архиве древних актов в Москве. Изучив его страницы и сопоставив с ним обнародованный в наше время пушкинский труд, мы получаем возможность убедиться в том, что Пушкин читал подлинное дело царевича и воспользовался в своей «Истории Петра» почерпнутыми в нем данными.

Касаясь событий 1716 года, Пушкин ссылается на печатный сборник документов, относящихся к процессу царевича Алексея, который был обнародован по приказу Петра тотчас же после окончания суда над царевичем[32]. Сборник этот, ставший большой редкостью, так как при Петре II (сыне царевича Алексея) экземпляры его отбирались под страхом жестокого наказания, был перепечатан Погодиным в 1829 году в журнале «Московский вестник». Предисловие Погодина начиналось словами «Суд над царевичем...»[33]. На это печатное издание Пушкин и ссылался в «Истории Петра» под 1716 годом, указывая: «См. суд над царевичем» (356).

Но, ссылаясь – под 1718 годом – на «выписку из страшного дела», Пушкин имеет в виду (как он и пишет) архивный подлинник. Ибо в печатном издании, Пушкину хорошо известном, пропущены были все содержащиеся в подлинной выписке указания на пытку, которой был подвергнут царевич. В подлиннике же, на который в данном случае прямо ссылается Пушкин, не только содержатся все эти указания, но и отмечены те места, которые не могли появиться в печатном издании процесса царевича. «Не печатать», – помечено на полях в ряде мест этой сохранившейся до нашего времени в архиве подлинной выписки (см., напр., лл. 72 и 72-об., 150, 151, 151-об. и 153)[34]. Голиков, следуя печатному изданию ее, старается представить дело так, будто «розыск», которому подвергся царевич, не означал пытки. «Слово розыск, как то мы неоднократно изъясняли, – пишет он в «Дополнении к Деяниям Петра Великого», – не означало телесного наказания, но значило рассмотрение, или розыскание дела...»[35]

Между тем Пушкин не только пишет о пытке, которой был

подвергнут царевич, и не только указывает, когда именно пытали царевича,— он, как уже было сказано, упоминает о показаниях царевича, писанных раньше «твердою рукою», «а потом (22 июня 1718 г. — *И. Ф.*) — после кнута дрожащею» (399). Этот документ, по утверждению Устрялова, никому из историков до него не доступный, был, как видим, известен Пушкину (он хранится теперь вместе с другими в Центральном Государственном архиве древних актов)[36]

Ни в одном из существовавших во времена Пушкина печатных источников подобного рода конкретных сведений о пытке, которой был подвергнут царевич, Пушкин найти не мог. Законодательство петровского времени предусматривало применение пытки; жестокие казни были публичными. Но источники того времени молчат о пытке, которой подвергся царевич,— потому что дело шло о наследнике русского престола и Алексей пытан был по приказу отца. В силу сказанного официальные историки не могли касаться этой запретной темы. Вольтер в своей «Истории России в царствование Петра Великого» также молчит о ней.

Приводя в «Деяниях Петра Великого» извлечения из запрещенных в то время в России книг Брюса и Кокса, касающиеся таинственных обстоятельств смерти царевича, Голиков не упоминает о тех строках «Путешествия» Кокса, где сказано: «Бьющие в глаза расхождения между показаниями царевича на первом следствии в Москве (которое, по словам Кокса, протекало более гласно.— *И. Ф.*) и на петербургском процессе, который велся в большой тайне Петром и ближайшими его сотрудниками, заставляют думать, что по отношению к царевичу применены были пытки»[37].

Левек в своей «Истории России», вышедшей в Париже в 1782—1783 годах, на которую Голиков также ссылается[38], замечает, что признания, которые царевич сделал перед судьями, стремившимися его погубить, «производят впечатление сделанных по глупой неосторожности или вырванных силой»[39].

Но ни в книге Кокса, о прямом знакомстве Пушкина с которой у нас нет достаточных данных[40], ни в «Истории» Левека (Пушкину несомненно известной) по вопросу о том, подвергся ли пытке царевич, не содержится ничего, кроме предположений и догадок. Приводимые Пушкиным конкретные данные можно было найти лишь в подлинном следственном деле царевича, хранившемся в глубокой тайне в Секретном отделении Государственного архива империи.

Только предвзятая мысль о том, что дело царевича Алексея осталось Пушкину недоступным, мешала заметить следы зна-

комства Пушкина с этим «страшным» (по собственным словам его) делом. Но, сумев благодаря своей страстной настойчивости исследователя получить, несмотря на все возникшие препятствия, доступ к секретному делу о Пугачеве, Пушкин добился доступа и к другому, не менее секретному делу царевича Алексея[41].

Относящиеся к делу царевича Алексея и хранившиеся в Государственном архиве империи документы многочисленны. И мы в заключение должны постараться ответить на вопрос: все ли они были показаны Пушкину?

Документы о пытке, которой подвергся царевич во время следствия, Пушкин видел, но в своей «Истории Петра» он пишет, что «царевич умер отравленный» (399). Между тем Устрялов дает понять, что царевич умер, не выдержав новых пыток, которым был подвергнут по приказу Петра уже после объявления смертного приговора. Петр опасался, по-видимому, что приговоренный к смерти царевич унесет с собой имена сообщников, еще им не названных. Нам известно, что Тайная канцелярия и сам Петр долго еще разыскивали их после смерти царевича.

Официальная версия гласила, что царевич по выслушании смертного приговора «почувствовал во всем теле своем ужасную судорогу, от которой на другой день и умер»[42]. Вольтер в своей «Истории России в царствование Петра Великого» рассказывает, будто Петр явился на зов умиравшего Алексея, «и тот и другой проливали слезы, несчастный сын просил прощения» и «отец простил его публично»[43]. Но примирение запоздало, и Алексей скончался от постигшего его накануне апоплексического удара. Сам Вольтер этой версии не верил и 9 ноября 1761 года, в период работы над своей книгой о Петре, писал Шувалову: «Люди пожимают плечами, когда слышат, что двадцатитрехлетний принц умер от удара при чтении приговора, на отмену которого он должен был надеяться»[44].

Секретный документ, позволяющий судить о причине смерти Алексея, не был показан ни Пушкину, ни, позднее, Устрялову. И лишь воспоминания последнего, напечатанные в 1880 году, открывают нам, откуда Устрялов почерпнул свои сведения. Когда печатание шестого тома устряловской «Истории», посвященного делу царевича Алексея, уже «было в полном ходу,— говорит в своих воспоминаниях Устрялов,— я отправился к доброму и умному К. И. Арсеньеву», чтобы «узнать у него *наверное*, как умер царевич?»[45].

Это был тот самый Константин Иванович Арсеньев, с которым четверть века назад встречался Пушкин. «Я лично не могу до сих пор забыть того поражающего впечатления, которое

произвела на меня обширность сведений Арсеньева, когда я в конце 1834 года увидал его впервые в доме у П. А. Плетнева беседующим с Пушкиным о лицах и событиях времен Петра Великого, историю которого собирался тогда писать великий поэт. О лицах этих и их отношениях между собою — родственных и служебных — говорил Арсеньев с такими подробностями, точно был современником им и близким человеком»[46],— вспоминал позднее В. В. Григорьев. Арсеньев состоял сначала профессором университета, а потом преподавал русскую историю цесаревичу Александру (будущему Александру II) и был допущен к занятиям в Государственном архиве.

«Я рассказал ему,— передает, вспоминая состарившегося Арсеньева, Устрялов,— все, как у меня написано, то есть что царевич умер в каземате от апоплексического удара, как свидетельствует Вебер.

Арсеньев мне возразил: «Нет, не так! Когда я читал историю цесаревичу, потребовали из Государственного архива документы о смерти царевича Алексея. Управляющий архивом Поленов принес бумагу, из которой видно, что царевич 26 июня в 8 часов утра (то есть после объявления ему смертного приговора.— *И. Ф.*) был пытан в Трубецком раскате, а в 8 часов вечера колокол возвестил о его кончине».

Эту бумагу прочли,— передает Устрялов слова Арсеньева,— запечатали и отдали Поленову, «который не сказал мне о том ни слова»[47].

Узнав от Арсеньева о содержании этого секретного архивного документа, Устрялов получил возможность внести содержавшиеся в нем сведения в свою «Историю». Пушкин же об этом строго секретном документе из архива Санктпетербургской крепости так и не узнал.

Какое значение придавал Пушкин архивам, показывает его письмо к Погодину, которому он 5 марта 1833 года писал: «Сколько отдельных книг можно составить тут! сколько творческих мыслей тут могут развиться!»[48]

ПУШКИН В БИБЛИОТЕКЕ ВОЛЬТЕРА

В составе библиотеки Вольтера, хранящейся ныне в Ленинграде, стоят и сейчас пять фолиантов в переплетах коровьей кожи, в которых содержатся рукописные исторические материалы о Петре, собранные Вольтером. Они, как помнит читатель, вместе с купленной Екатериной II библиотекой Вольтера привезены были после смерти его в Петербург, и вслед за тем библиотека Вольтера помещена была в императорском Эрмитаже.

Двадцать четвертого февраля 1832 года Пушкин обратился через Бенкендорфа к царю с просьбой «о дозволении» ему «рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотску Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловым для составления его «Истории Петра Великого»[1]. Пять дней спустя Бенкендорф извещал Пушкина, что он доложил его просьбу «государю императору, и его величество всемилостивейше дозволил» Пушкину «рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера» (о чем и сообщено министру императорского двора)[2]. Таким образом, для Пушкина сделано было исключение, поскольку Николай I, как известно, строжайше запретил кому бы то ни было читать книги Вольтеровой. библиотеки и делать из них выписки. Пушкин был единственным русским читателем, которому удалось в то время преодолеть этот запрет[3].

О содержании сохранившихся в библиотеке Вольтера исторических материалов Пушкин знал, как уже сказано, из напечатанной переписки Вольтера с Шуваловым[4]

В одном из своих писем Вольтер сообщал, что помимо материалов, полученных им из России, он «собирал рукописи по всей Европе и встретил помощь, на какую не смел и надеяться». «По счастливой.случайности,— указывает он в этом же письме,— я получил мемуары послов» (аккредитованных при дворе Петра I)[5]. Таким образом, Пушкин мог рассчитывать найти в библиотеке Вольтера помимо русских материалов записки иностранных послов при петровском дворе.

Насколько недоступными оставались для историков материалы, собранные Вольтером, можно судить по замечанию, сделанному Устряловым во введении к «Истории царствования Петра Великого»; он считал, что материалы, посланные Вольтеру, пропали. «Не жаль потери золотых медалей и дорогих мехов (присланных из России в подарок Вольтеру.— *И. Ф.*),— пишет он,— но жаль материалов, которые частию посланы были в подлиннике и утратились невозвратно»[6]. Слова Устрялова могут быть объяснены только тем, что он.был введен в заблуждение: не желая допустить историка к интересовавшим его рукописям, министерство двора, по-видимому, сообщило ему, что материалы эти не сохранились.

Третьего марта 1832 года Придворная контора по предписанию министра императорского двора известила академика Е. Е. Келлера, начальника 1-го отделения Эрмитажа, о том, что Пушкин «допущен по высочайшему повелению к занятиям в библиотеке Вольтера»[7]. «Несомненно, что именно с Е. Е. Келлером Пушкин и имел дело, посещая Эрмитаж



Статуя Вольтера работы Гудона.
Рисунок, сделанный Пушкиным в библиотеке Вольтера 10 марта 1832 г.

для своих занятий»,— пишет Л. Модзалевский, комментируя это письмо, и добавляет: «К сожалению, нам неизвестно, когда и сколько раз он там был. Известно только, что библиотеку Вольтера он рассматривал 10 марта, о чем оставил запись в своей записной книжке»[8].

В этой записной книжке[9] уцелел рисунок Пушкина, изображающий статую Вольтера работы Гудона, которую Николай I приказал поставить в никем не посещаемую библио-

теку Вольтера. (Под рисунком этим Пушкин и сделал помету: «10 марта 1832 г. Библиотека Вольтера».)



Вольтер.
Рисунок Пушкина. 1836 г.

Кроме рисунка, в записной книжке Пушкина сохранилось несколько кратких, беглых заметок. «Ни одна из них,— пишет Я. Якубович, рассматривая эти заметки в своей статье «Пушкин в библиотеке Вольтера»,— не оправдывает мотивировки, данной Пушкиным для получения права входа в Эрмитаж. Все они, наоборот, нисколько не связаны со строгими занятиями официального историка. Несомненно, замечает названный исследователь,— были здесь и другие работы и иные, более значительные, важные и обширные записи, выписки. Вероятно, прежде всего, чтобы оправдать свое официальное заявление, обращался Пушкин к петровским богатым материалам» [10]. Но сам Д. Якубович ограничился, как сказано, изучением только беглых, побочных по отношению к этим петровским материалам, заметок Пушкина. «Надо полагать,— говорит он в своей статье,— что многое из материалов, оставшихся в бумагах Пушкина после его смерти, еще будет приведено в связь с библиотекой Вольтера». Какие именно материалы имел он при этом в виду, недостаточно ясно. Между тем необходимо поставить вопрос, основной для нас: ознакомился ли Пушкин в библиотеке Вольтера с интересовавшими его историческими материалами о Петре? И если ознакомился, то что нашел в них?

В академическом издании сочинений Пушкина вслед за «Историей Петра» напечатан сохранившийся в бумагах Пушкина «Хронологический перечень главных событий царствования Петра I», представляющий собой список, сделанный Пушкиным с французской рукописи, находящейся среди бумаг библиотеки Вольтера; документ этот был составлен для Вольтера в России «историком Миллером лично или под его наблюдением» [11].

В этом переписанном Пушкиным «хронологическом перечне» содержатся среди прочего ссылки на сочинения современников Петра — Корба и де Бруина,— издавших записки о петровском времени, с которыми Пушкин ознакомился. Но особенно важное

№ 6.

Abregé chronologique

des événements les plus remarquables du regne de Pierre I

Naissance de Pierre le grand 30 mai 1672.
Mort du Tsar Al. Mich. 30 Janvier 1676

1682.

Mort du Tsar Fedor Alex. 27 avril
Pierre I nommé successeur au trone
Conspirations des Strelits
Les Tsars Iwan et pierre Alex. regnent ensemble
Couronnement de l'un & de l'autre 25 juin
Les deux Tsars se refugient pour la premiere fois au monastere de Troitsky à cause de la conspiration des Strelzes 2 septembre.

1683

Création des deux regiments aux gardes Preobrajenskoi et Semenofskoi, sous pretexte d'amuser les Tsars
Nombre de Strelzes envoyés en exil.

1684

mariage du Tsar Iwan Alex. avec Prascovia Fedorovna Soltikof 9 janvier
Arrivé d'un Embassadeur Imperial à Moscou, ainsi de mai

1685

Les Tsars se retirent pour la seconde fois au Mon. de Troitzki à cause de la rebellion des Strelzes

1686

Paix avec la Pologne
Départ du Boyard Boris Petrovitsch Scheremetof pour l'Ambassade de Vienne et autres lieux.

Переписанный Пушкиным в библиотеке Вольтера
«Хронологический перечень главных событий царствования
Петра I» (на фр. яз.). *Первая страница. Фрагмент.*

значение этот перечень приобретает для нас потому, что он является прямым доказательством использования Пушкиным петровских материалов, сохранившихся в библиотеке Вольтера. Эта сделанная Пушкиным обширная выписка является единственной дошедшей до нас. Но возможно ли предположить, что, получив доступ ко всем пяти томам материалов по истории Петра, собранных Вольтером, Пушкин прочел из них один только переписанный им перечень и тем ограничился, не обратив внимания на все остальное?

Рукописные материалы, о которых мы говорим, переплетены в пять томов и легко обозримы. Пушкин знал об их ценности. Перед ним были не только малодоступные другим историкам источники, уже собранные в коллекцию, — рукописи, лежавшие перед ним, соединяли всю заманчивость редкости с доступностью книги, ибо записки современников Петра, в том числе и записки, написанные по-немецки, были переведены для Вольтера на французский язык, которым Пушкин так блестяще владел, и каллиграфически переписаны; чтение их не требовало поэтому от Пушкина ни большого труда, ни чрезмерной затраты времени. Следует добавить, что важнейшие из записок, собранных Вольтером, не могли не обратить на себя внимание Пушкина уже своим внешним видом. Две рукописи должны были сразу же привлечь его внимание.

Это прежде всего записки Бассевича, рассказывающего о чрезвычайно интересовавших Пушкина событиях, сопровождавших смерть Петра и воцарение Екатерины I. Вольтер, как было известно Пушкину, основывается в своей книге о Петре на записках Бассевича, но до последней крайности смягчает его рассказ. Пушкин, касаясь в своей «Истории Петра» казни Монса, счел нужным, что важно для нас, отметить: «*Вольтер ссылается на Бассевича... бывшего тогда в Петербурге*» (458). Рукописью записок Бассевича открывается третий том материалов Вольтера.

Во втором фолианте обращает на себя внимание роскошная по своему виду рукопись: «Анекдоты о русском дворе и царствовании Петра I и его второй супруги Екатерины». Автором ее назван на титульном листе Вильбуа — «командир русской эскадры». Авторство последнего давно уже поставлено под сомнение: в литературе, посвященной изучению источников петровского времени, было высказано предположение, что действительным автором этих записок являлся французский посол при дворе Петра I Кампредон.

Но независимо от вопроса о том, кто является в действительности автором этих исторических анекдотов о Петре и Екатери-

не, независимо даже от степени достоверности всех рассказов, входящих в их состав, несомненно, что рукопись, о которой мы говорим, содержит в себе рассказы очевидца, имевшего возможность следить в последние годы царствования Петра за отношениями, сложившимися между Петром и Екатериной. В рукописи этой много занимательных, а отчасти и достоверных сведений и черт, характеризующих петровский двор. Она должна была тем более заинтересовать Пушкина, что на ней основывались Кастера и Сегюр, писавшие о деле Монса, рассказ которых Пушкин получал возможность сопоставить с рукописью, содержавшей мемуары, которые являлись для этих французских историков главным источником.

Сказанное не означает, конечно, что Пушкин оставил без внимания остальные материалы, собранные Вольтером, но мы остановимся только на записках Бассевича и «Анекдотах» Вильбуа и постараемся показать, что именно Пушкин имел возможность почерпнуть в них[12].

Записками Бассевича (министра герцога Гольштейнского, указывает Пушкин в «Истории Петра») начинается третий из фолиантов Вольтера, и на рукопись эту, как сказано, невозможно не обратить внимания даже при беглом ознакомлении с этим фолиантом.

Письмо Вольтера Шувалову от 8 июня 1761 года, из которого видно, что он считал нужным использовать мемуары Бассевича, отмечено в собрании сочинений Вольтера закладкой Пушкина. Уже по всему этому трудно сомневаться в том, что Пушкин, увидев среди бумаг Вольтера рукопись записок Бассевича, прочел ее. Но дело не сводится только к внешним данным, указывающим на возможность знакомства Пушкина с рукописью Бассевича, точнее говоря – с французским извлечением из нее, сохранившимся в бумагах Вольтера.

Рассказав в своих записках о борьбе сторонников возведения на престол малолетнего Петра – сына царевича Алексея (стремившихся к восстановлению допетровских порядков) против партии Меншикова и Екатерины, Бассевич пишет: «Меншиков, Бассевич и кабинет-секретарь Макаров в присутствии императрицы после того с час совещались о том, что оставалось еще сделать, чтобы уничтожить все замыслы против ее величества...

Император скончался на руках своей супруги утром на другой день... Сенаторы, генералы и бояре тотчас же собрались во дворец...» Бассевич сказал Ягужинскому: «Уведомляю вас, что казна, крепость, гвардия, Синод и множество бояр находятся

в распоряжении императрицы». «Передайте это тем, в ком вы принимаете участие, и посоветуйте им сообразоваться с обстоятельствами, если они дорожат своими головами...» «Весть эта быстро распространилась между присутствующими. Когда Бассевич увидел, что она обежала почти все собрание, он подошел и приложил голову к окну, что было условленным знаком, и вслед за тем раздался бой барабанов обоих гвардейских полков, окружавших дворец...»

Меншиков говорил сначала от имени императрицы, а потом отвечал ей от имени собравшихся. «Все целовали ей руку, а затем открыты были окна. Она показалась в них народу, окруженная вельможами, которые восклицали: «Да здравствует императрица Екатерина!» Офицеры заставляли повторять эти возгласы солдат, которым князь Меншиков начал бросать деньги пригоршнями...» [13]

Записки Бассевича были бесспорно важнейшим источником для историков, изображавших смерть Петра и воцарение Екатерины. Они были опубликованы в 1775 году Бюшингом в издававшемся им в Германии «Сборнике новой истории и географии» [14]. В книге, изданной в 1831 году в Петербурге под названием «Обзор главнейших происшествий в России с кончины Петра Великого до вступления на престол Елисаветы Петровны,— сочинение А. Вейдемейера», в первой же главе, где описывается смерть Петра, автор ссылается на записки Бассевича, приводя «подробности вступления на престол Екатерины I, изложенные большею частию по запискам графа Бассевича, очевидца сего происшествия и одного из главных действовавших в оном лиц» [15]. Изложение записок Бассевича в этой книге, однако, смягчено.

Голиков в «Деяниях Петра Великого» утверждает, будто сам он не знал действительных обстоятельств, сопровождавших возведение на престол Екатерины I, ибо, говорит он, я «не имею точных о сем в собрании моем записок» [16]. Поэтому он также приводит основанный на записках Бассевича, но бледный, как мы уже говорили (то есть чрезвычайно смягченный), рассказ Вольтера, чем и ограничивается.

Пушкин, в отличие от этого, изобразив в своей «Истории» смерть Петра, кратко и вместе резко указывает: «Екатерина провозглашена императрицей (велением Меншикова, помощию Феофана и тайного советника Макарова)». В этой краткой записи, которую Пушкину предстояло еще, конечно, развернуть в исторический рассказ, отразилась осведомленность Пушкина о действительном ходе событий, представленных Вольтером в его книге в столь смягченном виде, что даже Голиков счел воз-

можным привести в своем апологетическом своде эти страницы Вольтера.

Резкость пушкинских строк объясняется не тем только, что он «обострял выражения» Вольтера и Голикова, а тем, что осведомленность его о событиях, сказавшаяся в «Истории Петра», основывалась по всем данным на знакомстве с записками Бассевича, найденными Пушкиным в библиотеке Вольтера. В записках этих, несмотря на то, что Бассевич являлся сторонником Екатерины и Меншикова, роль последнего представлена, как мы видели, с достаточной ясностью. И не случайно Анненков, напечатавший в свое время пушкинский рассказ о смерти Петра, принужден был исключить из него строки Пушкина, говорящие о том, что Екатерина провозглашена была императрицей «велением Меншикова...».

В «Записках», приписываемых Вильбуа, «командиру русской эскадры», содержатся сведения о чрезвычайно интересовавшем Пушкина деле Монса[17].

Екатерина, говорится в этой рукописи, достигнув всего, что только доступно честолюбию, изменила Петру, вступив в связь с камергером своего двора Монсом. Автор записок говорит, что он подозревал об этой любви, имея возможность видеть Екатерину и Монса вдвоем, хотя не был никем предупрежден об их романе.

Увидев Екатерину и Монса в обществе, то есть в кругу придворных, он окончательно убедился в правильности своих подозрений.

Когда Екатерина почувствовала, что ее ожидает, как сказано в записках, падение с высоты трона в пропасть, она испугалась и захотела прибегнуть к содействию графа Толстого и графа Остермана. Ибо царь, получив неопровержимые доказательства неверности Екатерины, желал судебного процесса, стремясь открыто погубить ее. Он говорил о своем плане с Толстым и Остерманом; тот и другой бросились на колени, стремясь отговорить Петра. Они доказывали, что разумнее будет скрыть происшедшее, иначе невозможен станет брак дочерей Петра — Анны и Елизаветы, которые должны были вскоре вступить в супружество с европейскими принцами.

Петра удалось удержать от задуманного им мщения, и он отомстил иначе: публично отрубив голову любовнику Екатерины (Монс был осужден за должностные преступления, действительно им совершенные).

Автор «Записок» рассказывает, что обезглавленный труп Монса выставлен был на площади вместе с его отрубленной головой и Петр заставил Екатерину проехать вместе с ним в от-

крытых санях мимо самого эшафота. Петр глядел на нее пристально, но Екатерина сумела удержаться от слез и скрыть свои чувства.

В записках рассказывается о приступе ярости, овладевшей Петром, но автор отвергает предположение, что Екатерина отравила Петра; он указывает, что Петр умер от давней своей болезни.

Бассевич в своих «Записках» также упоминает о том, что Петр провез Екатерину мимо столба, к которому пригвождена была голова Монса, но умалчивает о том, что Екатерина и Монс (сторонником которых был Бассевич) находились между собой в тайной связи. «Завистники,— пишет он,— очернили в глазах императора» отношения к императрице сестры Монса госпожи Балк и ее брата.

Вольтер, знавший и рукопись, приписываемую Вильбуа, и записки Бассевича, не решился рассказать в своей книге действительную историю казни Монса. Он глухо говорит о «семейственных печалях, которые, может быть, причинили» смерть Петру; пишет, что «у Екатерины был один молодой камергер — Монс де ля Круа, родившийся в России от фамилии фландерской», который «был очень пригож», пишет, что Монс и сестра его посажены были в тюрьму «за то, что они принимали подарки», несмотря на то, что это запрещено было чиновникам под страхом смертной казни. «Монса,— сообщает Вольтер,— присудили на смерть, а его сестре — любимице императрицы, определили одиннадцать ударов кнутом...»[18] Голиков в «Деяниях Петра Великого» о действительной причине казни Монса, разумеется, также умалчивает.

В печати о деле Монса рассказывал Кастера, основываясь на рукописи, приписываемой Вильбуа, и упрекая Вольтера в своей «Истории Екатерины II» за то, что прославленный писатель не решился использовать источники, которыми располагал. Позднее о казни Монса и разрыве Петра с Екатериной писал, как мы уже упоминали, Сегюр в своей «Истории России и Петра Великого».

Пушкин же в своей «Истории Петра I» говорит:

«В сие время камергер Монс де ла Круа и сестра его Балк были казнены. Монс потерял голову; сестра его высечена кнутом. Два ее сына — камергер и паж — разжалованы в солдаты. Другие оштрафованы.

Императрица, бывшая в тайной связи с Монсом, не смела за него просить, она просила за его сестру. Петр был неумолим».

И, как помнит читатель, продолжает:

«Оправдалась ли Екатерина в глазах грозного супруга? По

крайней мере ревность и подозрение терзали его. Он повез ее около эшафота, на котором торчала голова несчастного. Он перестал с нею говорить, доступ к нему был ей запрещен. Один только раз, по просьбе любимой его дочери Елисаветы, Петр согласился отобедать с той, которая в течение 20 лет была неразлучною его подругою...» (458).

Пушкин был прекрасно осведомлен о деле Монса и об обстоятельствах, сопровождавших смерть Петра и воцарение Екатерины I. Он основывался, видимо, не только на печатных источниках и знаком был с рукописными мемуарами, которые прочел в библиотеке Вольтера.

ПАРИЖСКИЕ БУМАГИ

Даже в предшествовавший дуэли последний месяц Пушкин продолжал работать над своей «Историей Петра». В конце декабря 1836 года он сообщал, что «Петр Великий» отнимает у него «много времени». Ему удалось преодолеть в начале работы недоступность секретных исторических материалов, хранившихся в русских государственных архивах. Ознакомиться с историческими документами, находившимися в иностранных архивах, Пушкин, которого Николай I не выпускал из России, казалось, не мог.

Между тем изучение приведенных нами в начале книги записей Александра Тургенева, содержание которых оставалось нераскрытым, показывает, что незадолго до своей смерти Пушкин получил, как мы уже говорили, возможность ознакомиться с донесениями французских послов при дворе Петра I и его ближайших преемников и другими чрезвычайно интересными историческими материалами, которые А. И. Тургенев извлек из парижских архивов и в 1836 году доставил в Петербург.

Публикуя извлечения из дневника А. И. Тургенева за время с 25 ноября 1836 года по 19 марта 1837 года в своей книге «Дуэль и смерть Пушкина», П. Щеголев отмечал, что ему с самого начала работы «была ясна ценность записей Тургенева, относящихся ко времени преддуэльному, но необычайная трудность чтения тургеневского почерка помешала использованию дневника в широком объеме»[1]. Подготавливая новое издание своей книги, исследователь, как ему казалось, извлек из него все, что могло бы иметь какое-либо касательство к Пушкину.

Замечательные по своему содержанию и объему дневники Александра Ивановича Тургенева, те «журналы-фолианты», в которые он день за днем, из года в год «прилежно записывал

каждый свой шаг, каждую встречу, каждое слово, им слышанное»[2], остаются, к сожалению, до сих пор в своей большей части неизданными[3]. Трудность чтения их объясняется, однако, как нам кажется, не столько особенностями тургеневского почерка, сколько тем, что Тургенев записывал многое для самого себя, часто не раскрывая ясного ему значения букв и кратких упоминаний, какими он обозначал в своем дневнике имена, события и собранные им исторические материалы.

Используя затем в письмах свои краткие записи, Тургенев нередко сам раскрывает их содержание. В других случаях понять записи, сделанные им в дневнике, помогают многочисленные документы, сохранившиеся в тургеневском архиве. К числу поддающихся раскрытию тургеневских записей относятся и записи его от 9 и 26 января 1837 года, говорящие о «французских», или «парижских», бумагах и выписках, показанных им Пушкину.

Обратившись к подлинному дневнику А. И. Тургенева за 1836—1837 годы, мы обнаруживаем между записями от 5 и 7 марта 1837 года неопубликованное черновое письмо его к Павлу Ивановичу Кривцову[4], определяющее, какие «французские бумаги» привез в Россию А. И. Тургенев в 1836 году из Парижа. Я приехал,— пишет он,— с «богатыми и важными приобретениями, в Парижских архивах мною сделанными: особливо в Архиве Мин[истерства] ино[странных] дел, где я списал почти все, относящееся до России, с оригинальных бумаг, начиная с первых сношений наших с Францией прежде Петра I — до первых двух годов царствования им[ператрицы] Ел[изаветы] Петр[овны] включительно»[5].

Обнаруженный нами среди бумаг тургеневского архива документ под названием *«Выписки из архива французского Министерства иностранных дел»*[6] представляет собой (как можно убедиться, сопоставив его с приведенным выше письмом Тургенева к Кривцову) более развернутое описание этих привезенных Тургеневым из Парижа в 1836 году исторических материалов.

Касаясь этих «французских бумаг», А. И. Тургенев в том же 1836 году писал А. И. Булгакову: «Вот третий пакет... В нем и полпуда нет, хотя полвека нашей истории в нем уписалось»[7]. Доставленные им в Петербург «драгоценные донесения иностранных резидентов о царствованиях Петра I» и его ближайших преемников «прольют свет на эту часть нашей истории»,— писал в «Воспоминании об А. И. Тургеневе» М. Погодин[8]. «А. И. Тургеневу,— заметил в «Опыте русской историографии» В. Иконников,— принадлежит честь первого систематического извлечения документов о России из французских архивов»[9].

«В продолжение многих лет путешествуя по Европе, он имел случай обозреть знаменитейшие библиотеки и хранилища рукописей; всюду старался отыскивать письменные памятники, относящиеся к русской истории; не щадил ни трудов, ни издержек на собирание их», — читаем мы в предисловии к появившемуся еще при жизни его «Обозрению известий о России в век Петра Великого, извлеченных А. И. Тургеневым из разных актов и донесений французских посланников при русском дворе». «В одном Парижском архиве найдено им девятнадцать фолиантов дипломатических сношений Франции с Россиею, принадлежащих к царствованию Петра Великого, и еще три фолианта объемлют сношения от вступления на престол Екатерины I до ее кончины»[10]. К этому можно добавить, что одни только относящиеся к 1740—1742 годам донесения французского посла в Петербурге маркиза де ля Шетарди, извлеченные в 1836 году А. И. Тургеневым из архива французского министерства иностранных дел, привезенные им в Россию и изданные позднее в русском переводе, составили целую книгу[11].

А. И. Тургенев начал свою службу вместе с другими тогдашними «архивными юношами» — Блудовым, Вигелем, братьями Булгаковыми — в Московском архиве Коллегии иностранных дел; здесь развился в нем впервые глубокий интерес к русской истории и ее источникам. «Он любил, — писал об Александре Ивановиче с вольностью давнего друга Вяземский, — присвоивать себе, натурою или списыванием, все возможные бумажные редкости и драгоценности. Недаром говорили в Арзамасе (ибо всем участникам этого литературного общества давались шутливые прозвища. — *И. Ф.*), что он не только *Эолова арфа*... но что он и *«две огромные руки»*, как сказано в одной из баллад Жуковского. В самом деле это не две, а сотни... рук захватывали направо и налево, вверху и внизу все мало-мальски замечательные рукописи, исторические, политические, литературные и т. д.»[12].

А. И. Тургенев был не только страстным любителем и добытчиком рукописей, знатоком и издателем русских исторических источников. «Науки оставались любимым его занятием», — свидетельствовал М. Погодин, добавляя: «Карамзин с тех пор, как начал писать Историю, все нужные для себя книги получал посредством Тургенева, который посылал ему иные даже без его указания и тем содействовал очень много успеху его труда»[13]. Тургенев «был самым верным исполнителем его поручений» и «сообщал ему всякие новости... об исторических сочинениях и предприятиях по всей Европе»[14].

По первому слуху о том, что «Пушкин назначен историографом Петра Великого», Тургенев вызвался помогать ему, как

раньше помогал Карамзину. В 1831 году он, как уже упоминалось, сообщал Жуковскому, что Пушкину следует воспользоваться списком дневника Патрика Гордона, случайно купленным Тургеневым в Лондоне. Позднее он в печати заметил: «Возвращая рукопись сию России, желаю, чтоб она послужила материалом для будущего историка преобразований Петра I»[15]. Работа Тургенева во французских архивах чрезвычайно интересовала Пушкина. Письма из Парижа, в которых Тургенев много внимания уделял своим архивным разысканиям, читались в присутствии Пушкина на субботах у Жуковского. А когда начал издаваться «Современник», Пушкин стал широко печатать в своем журнале парижские письма-корреспонденции Тургенева.

В Петербург Тургенев возвратился в конце ноября 1836 года, и два последних месяца своей жизни Пушкин провел в самом тесном общении с ним. «Пушкин мой сосед. Он полон идей, и мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах; иные находят его изменившимся, озабоченным и не принимающим в разговоре того участия, которое было прежде столь значительным. Я не из их числа, и мы с трудом кончаем разговор, в сущности не заканчивая его, то есть никогда не исчерпывая начатой темы»,— писал А. И. Тургенев через месяц по приезде в Петербург[16]. «Я видался с ним почти ежедневно»,— сообщал он брату Николаю 31 января 1837 года[17].

Пушкин был очень откровенен с Александром Тургеневым. Еще в 1831 году он читал ему отрывки из сожженной части своего «Онегина», «где он описывает,— как сообщал затем А. И. Тургенев брату,— возмущение 1825 года». «В этой части,— пояснил Александр Иванович,— у него есть прелестные характеристики России и русских, но она останется надолго под спудом»[18]. К истории восстания 14 декабря Пушкин и Тургенев возвращались в своих беседах и в последние месяцы жизни поэта[19].

Через год после того, как Николай I зачеркнул ряд стихов в рукописи «Медного всадника», а против других поставил вопросительные знаки, Пушкин прочел А. И. Тургеневу свою поэму, и тот сообщил 24 октября 1834 года Вяземскому: «Поэма его о наводнении превосходна, но исчерчена и потому не печатается. Пугачевщина уже напечатана и выходит»[20]. «Само по себе разумеется, что Пугачев явится к вам первому, как скоро выйдет из печати»,— писал незадолго до этого Пушкин Тургеневу[21]. В декабре 1836 — январе 1837 года, свидетельствуют записи в дневнике А. И. Тургенева, он беседовал с Пушкиным о новой истории России и источниках ее не однажды. И счел возможным

ознакомить поэта с материалами о Петре Великом, извлеченными им только что из парижских архивов.

«Он занимался на Западе извлечением из государственных архивов документов и актов, касающихся русской истории, — заметил П. Щеголев об А. И. Тургеневе, — и в гораздо большей мере, чем кто-либо из петербургских приятелей, мог соответствовать историческим интересам Пушкина»[22]. Но ни Щеголев, опубликовавший извлечения из дневника А. И. Тургенева за время с 25 ноября 1836 года по 19 марта 1837 года[23], ни Сабуров в своем очерке, посвященном А. И. Тургеневу[24], к сожалению, не обратили внимания на свидетельства тургеневского дневника, относящиеся к данной теме.

9 января 1837 года Тургенев, как помнит читатель, записал: «Я зашел к Пушкину... Потом он был у меня и мы рассматривали фр[анцузские] бумаги...» 26 января Тургенев снова записывает: «Я сидел до 4-го часа, перечитывал мои письма» (это были, как увидим, письма о работе в парижских архивах, которые печатались в пушкинском «Современнике». — *И. Ф.*), а затем говорится: «Успел только прочесть Пушкину выписку из пар[ижских] бумаг...»[25]

Записи эти показывают, что знакомство Пушкина с работой Тургенева во французских архивах не ограничилось чтением тургеневских писем-корреспонденций: Тургенев ознакомил Пушкина с содержанием наиболее интересовавших его «парижских бумаг» прежде, чем представил их Николаю I.

Работа А. И. Тургенева в иностранных архивах не только обогащала русскую науку новыми историческими источниками, но и должна была оправдать слишком частое, на взгляд царя, пребывание А. И. Тургенева за границей. Александр Иванович, как известно, не отрекся от брата Николая, который, находясь во время восстания 14 декабря за пределами России, отказался явиться по вызову Николая I в Петербург и за участие в движении декабристов был заочно приговорен к смертной казни. Александр Тургенев не однажды ездил к брату и доставлял ему из России средства к существованию. Поэтому, когда Александр Иванович возвратился в 1836 году в Петербург с материалами, извлеченными из парижских архивов, при дворе его встретили с настороженностью.

Собираясь представить Николаю I «парижские бумаги», он готовил, кроме того, для царя «экстракт», или «записку», содержащую извлечения из них, сопровождаемую кратким обозрением этих исторических материалов. «Записка» должна была заключить в себе все наиболее интересное из привезенных Тургеневым бумаг, которые становились благодаря ей легко обозримыми.

Записка Пушкина Александру Тургеневу от 26 января 1837 г.
«Не могу отлучиться. Жду Вас до 5 часов».

Составлением такой «записки» он и занялся в Петербурге, с помощью уже известного нам К. С. Сербиновича.

25 января 1837 года, возвратившись домой, Александр Иванович «нашел записку из дел Сербиновича»[26] (о которой через несколько дней в письме к брату заметил: «Записка почти готова из рукописей»[27]). Эту «почти готовую» «выписку из парижских бумаг Серб[иновича], кот[орый], – поясняет Тургенев, – затем был у меня и унес их», он и «успел... прочесть Пушкину» накануне дуэли[28].

На другой день после нее, 28 января, Александр Иванович писал сестре, как 27-го, на вечере у князя Щербатова услышал он, «что Пушкин ранен, и очень опасно». «Я все не думал о поэте Пушкине, – говорит Тургенев, – ибо видел его накануне, на бале у графини Разумовской, накануне же, т. е. третьего дня, провел с ним часть утра; видел его веселого, полного жизни... Третьего и четвертого дня также я провел с ним большую часть утра, мы читали бумаги, кои готовил он для пятой книжки своего журнала»[29].

25-го утром, стало быть, Тургенев занят был с Пушкиным чтением писем, говоривших о работе в парижских архивах (которые появились на страницах «Современника» после смерти поэта), а на другой день, 26-го утром, Тургенев прочел ему свою выписку из «парижских бумаг».

«Выпиской из парижских бумаг» и самими бумагами Тургенев продолжал заниматься и 31 января, в день, когда он вместе с другими друзьями поэта перевез его гроб в Конюшенную церковь, где пропели «за упокой», и 2 февраля, когда Тургенев «рано поутру» отправил в Париж с д'Аршиаком, секундантом Дантеса, письмо о смерти Пушкина. В этот день, записал Александр Иванович, «Жуковский приехал ко мне с известием, что государь назначает меня провожать тело Пушкина до последнего жилища его». Вслед за тем мы читаем: «К Сербиновичу: условились о бумагах...»[30] Это были все те же «парижские бумаги».

Похоронив в Святых Горах Пушкина, А. И. Тургенев возвратился в Петербург и передал через князя А. Н. Голицына царю

свои «бумаги» и «записки». Сообщая об этом брату, Александр Иванович писал: «11 февраля представил мои портфели с Римскими и Парижскими бумагами князю и прочел ему сделанные из них Сербиновичем каталоги и записки»[31].

На другой же день после того, как они были представлены, царь с большой похвалой отозвался об исторических «приобретениях» А. И. Тургенева, говорил о них с Бенкендорфом и с французским послом – историком Барантом «с большим интересом» и, сообщает А. И. Тургенев в том же письме, «прочитав мои записки, начал читать самые акты»; день спустя «увидел он меня на бале у французского посла, громко подозвал меня к себе и сказал вслух, во услышание всех предстоявших... «Тургенев, благодарю тебя, очень благодарю. Я читал твои бумаги с вел[иким] удоволь[ствием]... Теперь благословляю тебя; поезжай, куда хотел, но прошу тебя об одном: *другим не занимайся*»[32]. Недоверие к Тургеневу, которого царь снова отпускал за границу, исчезло не вовсе. «Один едва знакомый человек, – пишет Александр Иванович, – не слыхав и не видав, что государь говорил со мною, заметил кому-то: «Странно, что к Тургеневу все подходят и разговаривают сегодня. Прежде этого не случалось»[33].

Государь, записал тогда же в дневнике А. И. Тургенев, «хвалил мои труды, желал бы напечатать; но опасается неудовольствия со стороны французского правительства»[34]. Исторические документы, извлеченные Тургеневым из французских архивов, даже век спустя после событий, которых они касались, продолжали считать не подлежащими оглашению.

Предостерегая А. И. Тургенева и «прося» его «другим не заниматься», царь имел в виду не только связи последнего с зарубежным окружением его брата-декабриста. Николай I опасался разглашения секретных исторических материалов, компрометирующих царствующий дом.

По рассказу Герцена, издавшего за границей «Записки Екатерины II» (несмотря на принятые против этого царским правительством чрезвычайные меры), именно А. И. Тургеневу удалось в 1818 году снять копию с записок императрицы[35], и «отсюда пошли все списки, существовавшие в России». Изъятие списков началось, когда «Тургенев проговорился Николаю, что знает» эти мемуары. Список их, принадлежавший Пушкину, был изъят, как известно, после смерти поэта из его бумаг по распоряжению императора и обнаружен только в 1949 году при разборе рукописей, входивших в состав библиотеки Зимнего дворца[36].

Через несколько лет после смерти Пушкина А. И. Тургенев, продолжавший свои заграничные разыскания, был срочно вызван Бенкендорфом в Петербург, куда он немедленно выехал

и где принужден был дать пространные показания. Обвинение заключалось в том, что он ознакомил князя П. В. Долгорукова с так называемыми бумагами Кальяра – секретаря французского посольства в Петербурге, относящимися к первым годам царствования Екатерины II. Эту обширную секретную в то время рукопись Тургенев приобрел за границей и в 1838 году, находясь в Петербурге, дал читать Долгорукову. Не отрицая этого, Тургенев заверял, будто он «всегда умел беречь тайну, будет уметь делать это и впредь» [37].

В действительности же Александр Иванович не относился так строго к секретным историческим материалам, которыми располагал. Он показал их вскоре по приезде в Петербург Пушкину и широко ознакомил с ними своего брата, опубликовавшего впоследствии некоторые из этих материалов в своей книге «Россия и русские». А в 1858 году в Берлине анонимно издана была книга «Русский двор сто лет тому назад», содержащая извлечения из депеш французских и английских послов в Петербурге, материалы для которой также успел в свое время подготовить А. И. Тургенев [38]. В России эта книга вышла только в 1907 году [39], но на нее был наложен арест, и по определению суда из нее вырезали некоторые страницы.

Подозрения III Отделения по отношению к А. И. Тургеневу, таким образом, были небезосновательными. А к числу заслуг последнего мы должны, как теперь выясняется, присоединить попытку ознакомить Пушкина с извлеченными из французских архивов документами, относящимися к царствованию Петра Великого.

Напечатанные в пушкинском «Современнике» письма-корреспонденции Тургенева раскрывают картину его работы в парижских архивах. Прочитав последнюю, третью часть «Хроники Русского», как были названы в «Современнике» парижские письма-корреспонденции А. И. Тургенева, Пушкин 16 января 1837 года писал ему: «Вот вам ваши письма... Думаю дать этому всему вот какое заглавие: Труды, изыскания *такого-то*, или *А. И. Т.* в Римских и Парижских архивах. Статья глубоко занимательная» [40].

В письме из Парижа от 31 мая/12 июня 1835 года, вошедшем в состав этой глубоко заинтересовавшей Пушкина «статьи» (или «Хроники»), Тургенев писал: «В самый день моего приезда я был в отделении рукописей Королевской библиотеки... Разбор оных занимает меня с того времени ежедневно».

Разрешение заниматься в архиве французского министерства иностранных дел было получено Тургеневым тогда же. «В сем архиве *старые дела*, имеющие токмо одно *историческое* достоин-

ство,— сообщает он в том же письме,— не почитаются государственною тайною, и главный архивариус, историк Минье (Mignet) с разрешения министра обещал уже отобрать для меня все бумаги, в коих могут встретиться документы по сношениям Франции с Россией в царствование Петра I и прежде его бывшим»[41].

Занявшись «сим делом с усердием, соразмерным важности и богатству сих исторических материалов»[42], Тургенев уже 22 августа/3 сентября 1835 года писал: «Вчера начал я рассмотрение 19-го фолианта, до восшествия на престол императрицы Екатерины I простирающегося»[43]. Сначала Тургеневу «одному и без писца» было «позволено в самом архиве разбирать оригинальные документы», и он должен был «рассматривать, отмечать и выписывать сам все любопытное и достопримечательное в сношениях Французского двора с Россиею»[44]. Три месяца спустя он пришел к мысли о необходимости «переписать все сии акты»[45], что в дальнейшем и было выполнено под его руководством. Но он много «работал своею рукою» («князь Голицын представлял государю и мои собственноручные толстые выписки из архива»,— заметил впоследствии А. И. Тургенев)[46].

Работа его в архиве французского министерства иностранных дел продолжалась и в 1836 году.

«Я бы не огорчился нимало отставкой Тьера и Гизо,— писал он из Парижа,— если б она привела их к отставной любовнице — Истории; но вряд ли. Они останутся людьми политическими и возвратятся скорее снова к портфелям, нежели к перу»[47]. Воскресенье — приемный день и Тьера и Гизо, и Тургенев посещает их — «экс-министров» и виднейших представителей «новой школы французских историков», труды которых Пушкин хорошо знал, так же как сочинения Минье.

В связи с переменами во французском министерстве А. И. Тургенев пишет: «И для моих трудов в архиве эта перемена не без хлопот. Я должен был еще и прежде кончить работу; но не без надежды идти далее 1742 года, или по крайней мере кончить его. Теперь хотя Минье и останется главным архивистом, но кто будет министром? Да и согласится ли Минье допускать меня в архив? Я домогаться этого не буду. Они и без того едва не раскаиваются, что впустили козла в огород.— А сколько капусты! Чем дальше в лес, тем больше дров! Лес вековой, но еще полный жизни исторической!»[48]

16 февраля Тургенев сообщает: «Вчера расплатился я с писцами в архиве и унес из моей каморки все мои бумаги!»[49]

«Я разбираю теперь собранные мною в двух архивах сокровища и привожу их в порядок». Тургенев замечает, что началь-

ство архива изъяло несколько листов и отказалось выдать ему некоторые копии. Но, говорит он, «некоторые из сих бумаг известны мне по содержанию; другие я сам переписал в свои тетради, и следовательно потеря почти ничтожная...». «Все списки на большой бумаге, самой огромной величины, какую я найти мог; писано довольно мелко – и конечно более двухсот листов, а если считать все переписанное, то дойдет и до четырехсот. Сверх того есть и другие акты»[50].

Часть тургеневских материалов, писанных действительно «на большой бумаге, самой огромной величины», хранится ныне в Москве в Центральном Государственном архиве древних актов.

«История, – писал А. И. Тургенев 22 августа/3 сентября 1835 года, касаясь своей работы в парижских архивах, – представляется здесь совсем в ином виде, нежели в обыкновенных обозрениях главных событий в государствах: ясно видны тайные политические замыслы, первые, так сказать, зародыши важных исторических происшествий, пружины, коими приводили тогда в действие государственные машины; талант действовавших лиц и правила кабинетов.

Для нас, русских, рисуются тени – столь слабо обозначенные в наших собственных исторических материалах – Головкиных, Ягужинских, Меншиковых, Остерманов и, наконец, Петра, о коем говорят иностранцы: правители и министры, послы и агенты всякого рода, не всегда с равным беспристрастием, но всегда с каким-то невольным, вынужденным энтузиазмом к необыкновенному, великому... Европейские кабинеты вдруг заговорили о нем, о России уже, а не о *Московии*!»[51]

Тургеневские письма помогают установить, какие именно относящиеся к Петровской эпохе исторические материалы привез и показал Пушкину в этот свой приезд из Парижа А. И. Тургенев. Он не ограничивается в своих письмах общей характеристикой их, выделяя те донесения французских послов при русском дворе, которые показались ему наиболее интересными.

Выделяемые им – в качестве важнейших – «парижские бумаги» с еще большей точностью указаны в упомянутом уже, не публиковавшемся документе, обнаруженном нами в тургеневском архиве. «Собрание выписок из архива министерства иностранных дел, – говорится в этом, предназначенном для царя документе, – объемлет собою время с 1660 по 1742 год... Оно состоит большей частию из депешей французских, аккредитованных при Российском дворе особ, которые уведомляли свое правительство... о состоянии Российского государства, об отношениях его к прочим державам, о причинах государственных переворотов и даже

о всех любопытных публичных и частных событиях... так что читающий сии депеши может получить верное и ясное понятие как [об] обычаях и нравах того времени, политике двора и свойствах всех приближенных к нему особ, так и о главных причинах, содействовавших возвышению России посреди самых запутанных ее дел.

Исчислять все любопытные и примечательные для истории подробности, которыми изобилуют сии выписки, было бы неудобно, и потому представляется здесь только в кратком очерке содержание тех, кои заслуживают особенное пред прочими внимание»[52].

Называя документы, представляющие наибольший исторический интерес, приводимая записка на первое место среди них ставит депеши французского посла в Петербурге Кампредона за 1725 год, касающиеся «обстоятельств смерти Петра I», «провозглашения Екатерины I императрицею» и происхождения ее. Затем названы донесения Кампредона за 1726 год, характеризующие «власть князя Меншикова», борьбу с ним его противников, а также «стремление русских вельмож к ограничению монархической власти». Далее выделены «депеши посла Маньяна» за 1727 и следующие годы. Здесь отмечены: «Выписка из завещания Екатерины» и рассказ о падении и ссылке Меншикова.

Под 1729 годом отмечено «известие о смерти Толстого [Петра Андреевича], сосланного в Соловецкий [монастырь]», то есть «биографическая записка о нем датского министра, содержащая много любопытных подробностей как из жизни Толстого, так и вообще о его времени».

Что касается последующего периода, то важнейшими среди донесений записка признает депеши, сообщающие об «избрании императрицы Анны Иоанновны» и «главных пружинах нового переворота», о кондициях, то есть условиях, принятых этой императрицей, ограничивающих самодержавную власть, и последовавшем тут же «уничтожении [ею] прежних условий».

Записка кончается указанием на депеши маркиза де ля Шетарди, относящиеся к первым годам царствования Елизаветы Петровны и представлявшие, как мы знаем, на взгляд А. И. Тургенева, особый интерес (многие из этих донесений, можно заметить в скобках, в самом деле читаются как роман).

«Выписки из парижских бумаг», кратким обозрением которых является приведенная выше рукописная записка, легли в основу напечатанного еще при жизни Александра Ивановича подробного «Обозрения известий о России в век Петра Великого, извлеченных А. И. Тургеневым из разных актов и донесений французских посланников и агентов при русском дворе»[53] и «Обозрения

современных известий о замечательнейших лицах в царствовании Петра I и Екатерины I» (извлеченных Тургеневым из тех же источников)[54].

Происхождение этих печатных «Обозрений» с полной несомненностью устанавливается сохранившимся в архиве А. И. Тургенева письмом к нему К. С. Сербиновича от 1 декабря 1842 года, где читаем: «Теперь думаю напечатать в журнале министерства народного просвещения обозрение сведений, заключающихся в сделанных Вами выписках из Парижских архивов о Петре Великом»[55]. «Обозрения» эти появились действительно в редактируемом Сербиновичем журнале: они были приготовлены к печати бывшим секретарем Тургенева Борисом Федоровым, которому Александр Иванович передал свои «выписки о Петре I»[56].

«Обозрения» эти – краткое рукописное и подробное печатное – с достаточной точностью указывают, какие донесения, извлеченные Тургеневым из парижских архивов, представляли для историка наибольшую важность. Самые донесения французских послов, о которых говорится в парижских письмах Тургенева и в составленных под его руководством «выписках» и «обозрениях», сохранились до нашего времени и в конце XIX столетия были, как уже сказано, полностью опубликованы[57]. Попытаемся поэтому выяснить, сопоставляя сохранившиеся документальные материалы, с какими извлечениями из них А. И. Тургенев ознакомил Пушкина.

Это были, надо думать, прежде всего донесения французского посла в Петербурге Кампредона, достоверно и ярко рисующие смерть Петра и исторические обстоятельства, ее сопровождавшие, то есть борьбу за престол между сторонниками Екатерины и старой знатью, стремившейся возвести на трон малолетнего Петра (сына царевича Алексея).

О впечатлении, какое произвели эти донесения на Тургенева, когда он впервые прочел их в парижском архиве, говорят письма, вошедшие в «Хронику Русского», которую Пушкин назвал, как помнит читатель, «глубоко занимательной». Основываясь (в чем нетрудно убедиться, обратившись к донесениям Кампредона о болезни и смерти Петра I) на депешах, отправленных в Париж 6 и 10 февраля 1725 года (н. ст.) французским послом[58], Тургенев, не называя имени последнего, писал 22 августа/3 сентября 1835 года:

«Приближенные не надеялись, но страшились и за него (Петра. – *И. Ф.*) и за столицу, ибо войско давно уже не получало жалованья. При дворе были партии; хотя Петр и короновал незадолго перед тем Екатерину, но не все были за нее: хотели регентства...»[59]

«Будущее России решилось в этой эпохе на долгое время. Главными действующими лицами [были] Голстинский принц и министр его Бассевиц, Меншиков, Головкин, Толстой, Остерман, Ягужинский и страх двора — командовавший войсками в Украйне фельдмаршал князь Голицын», — замечает Тургенев в письме от 6/18 сентября 1835 года[60].

В «Обозрении известий о России в век Петра Великого, извлеченных А. И. Тургеневым из донесений французских посланников и агентов при Русском дворе» донесения, отправленные в Париж 6 и 10 февраля 1725 г. (н. ст.) Кампредоном, приведены — уже с упоминанием имени последнего — в чрезвычайно смягченном по цензурным соображениям виде и с переводом даты их на старый стиль[61]. Но это именно те самые, получившие впоследствии заслуженную известность донесения, о которых Соловьев писал в своей «Истории России»: «Мы в своем рассказе (о смерти Петра. — *И. Ф.*) следуем преимущественно донесениям французского посланника Кампредона, отличающимся полным согласием с обстоятельствами»[62].

А. И. Тургенев, которому принадлежит заслуга извлечения депеш Кампредона из архива французского министерства иностранных дел, оценил их значение. Он ознакомил с ними и своего брата — Николая Тургенева (который впоследствии поместил в третьем томе книги «Россия и русские» два извлечения из донесений Кампредона от 15 января и 23 февраля 1726 года[63], связанные со «стремлением русских вельмож к ограничению монархической власти»). И мы едва ли ошибемся, полагая, что А. И. Тургенев обратил внимание Пушкина прежде всего на эти важнейшие донесения Кампредона, которым, как было отмечено выше, он отвел первое место в своем обозрении «французских бумаг».

Донося 10 февраля (н. ст.) королю Людовику XV о смерти Петра I, Кампредон писал о том, как «перепугалось все население, опасавшееся каких-либо беспорядков. Опасения эти, — пояснял он, — имели тем большее основание, что никакого определенного распоряжения насчет престолонаследия не было, мнения вельмож по этому вопросу разделились, войско шестнадцать месяцев уже не получало жалования и доведено было до отчаяния непрестанными работами, а ненависть народа к иностранцам достигла до последней степени.

По всем человеческим предвидениям казалось, что счастью вдовствующей императрицы (Екатерины. — *И. Ф.*) наступил конец и что приближенных ее: кн. Меншикова, Толстого и др. постигнет та же участь». Между тем, доносил Кампредон, «всемогущему угодно было сделать возможным то, что людям

представлялось невозможным». «Орудием всего этого,— пояснял Кампредон,— явился кн. Меншиков, склонивший на сторону императрицы гвардейский полк». Далее он сообщает: «Во время совещания некоторые гвардейские офицеры в сильном волнении кричали, что если совет будет против императрицы, то они размозжат головы всем старым боярам. Так кончился этот памятный день...»

«Одно, что еще несколько тревожит двор, это кн. Голицын, находящийся в Украйне во главе шеститысячного войска, ибо он большой сторонник прежнего порядка престолонаследия и юного великого князя»[64]. (Его-то и назвал А. И. Тургенев «страхом двора», прочитав это донесение Кампредона.)

В письме, отправленном Кампредоном в тот же день графу де Морвилю, о борьбе дворцовых партий и стараниях Меншикова и Толстого рассказывается более подробно. Здесь сообщается также, что «Ягужинский и государственный секретарь Макаров должны были... действовать согласно видам царицы, ибо оба только и могли держаться при ее правлении...».

Когда наступили последние минуты Петра, «царица находилась у его постели, заливаясь слезами и делая вид, будто ничего не знает о том, что только что произошло», а между тем она заранее приняла все необходимые меры и «имела предусмотрительность заранее послать в крепость деньги для уплаты жалования гарнизону... Гвардии она дала слово заплатить все, ей следуемое, из собственных денег...». «Закрыв глаза царю, своему супругу, царица отправилась в залу совета и там, проливая потоки слез, обратилась с речью к сенаторам» и т. д. и т. д.[65]. Опасность вооруженной борьбы между партиями, образовавшимися во дворце, была все же предотвращена.

Пушкина, а по некоторым имеющимся данным и самого А. И. Тургенева, издавна чрезвычайно интересовали остававшиеся нераскрытыми обстоятельства, связанные с бегством царевича Алексея за границу и внезапной смертью его. Из донесений Ла-Ви, французского консула в Петербурге, А. И. Тургенев почерпнул целый ряд интересных сведений о деле царевича. В посвященном последнему разделе «Обозрения современных известий о замечательнейших лицах в царствование Петра I и Екатерины I, извлеченных А. И. Тургеневым», мы читаем:

«Президент сената князь Долгорукий и его приверженцы очень преданы царевичу Алексею Петровичу.

Говорят шепотом, что царевич (который, как думают, в Неаполе) писал отцу своему, что не возвратится в Московию, пока князь Меншиков не будет удален от двора.

Слышно, что царевич, по возвращении своем, будет жить

в заключении. В нем хотят погасить надежду к получению короны»[66].

Ла-Ви пишет, читаем мы в «Обозрении известий о России в век Петра Великого, извлеченных А. И. Тургеневым», что «казнь (царевича Алексея.— *И. Ф.*) не прекращает смут, но усиливает их. Виновные обвиняют невиновных; судьи в замешательстве. Сам Петр редко бывает спокоен, и это увеличивает беспокойство судей...»[67]. Здесь изложено с осторожностью донесение Ла-Ви от 28 ноября 1718 года (н. ст.)[68].

«В декабре 1718 г.,— читаем мы далее в «Обозрении известий о России, извлеченных А. И. Тургеневым»,— казнили пятерых государственных преступников: Авраама Феодоровича Лопухина, дядю царевича; священника Якова Пустынного, Ивана Афанасьева, его (царевича.— *И. Ф.*) гофмаршала и поверенного во всех делах; Дубровского, его камергера, и Воронова, его дворецкого. Тела казненных, с головами, положенными под руки их, были три дня выставлены перед народом; после чего отрезаны руки у трупов, положены на колеса, а головы на столбах. Чрез час после совершения казни Петр собрал Сенат... Учреждено судилище для разыскивания виновных в лихоимстве. Это судилище, под председательством генерала Вейде, заставляет трепетать знаменитейшие лица в империи... Толстой, Румянцев и Ушаков получили награды по делу о царевиче Алексие Петровиче...»[69] Все это взято из донесения Ла-Ви от 23 декабря 1718 года (н. ст.), впоследствии также полностью увидевшего свет[70].

Тревога Петра после смерти царевича Алексея свидетельствует о том, какую опасность продолжала представлять собой в глазах царя реакционная оппозиция, знаменем которой был погибший царевич.

Исторические материалы, привлекшие Тургенева, представляли бесспорно для Пушкина не только научный, но и художественный интерес; нет сомнения, что устные рассказы Тургенева, с ними связанные, чрезвычайно интересовали его.

Напечатанное во втором томе пушкинского «Современника» объяснение «От редакции», признавая, что Тургенев писал свои парижские письма, не думая о печати, прекрасно характеризует манеру Тургенева-рассказчика: «Глубокомыслие, остроумие, верность и тонкая наблюдательность, оригинальность и индивидуальность слога, полного жизни и движения, которые везде пробиваются сквозь небрежность и беглость выражения, служат лучшим доказательством того, чего можно было бы ожидать от пера, писавшего таким образом *про себя*, когда следовало бы ему писать *про других*...»[71] Эти строки с большой точностью

передают впечатление, какое производили на Пушкина, Вяземского и их друзей рассказы Тургенева.

Особенное внимание Пушкина должен был привлечь бесспорно интереснейший исторический документ, о котором А. И. Тургенев сообщал из Парижа 21 сентября/3 октября 1835 года: «Сегодня прочел я биографию графа Толстого, которую написал датский министр, при дворе Петра I, Екатерины I и Петра II долго находившийся. Он снабдил ею и тогдашнего французского агента при нашем дворе. Автор был отчасти сам свидетель повествуемых им происшествий и знавал лично тех, коих характер и действия описывает. *Я еще ничего не читал любопытнее сей записки о сей эпохе*»[72]. Едва ли можно сомневаться в том, что Пушкин заинтересовался этим кратким «жизнеописанием» Петра Андреевича Толстого, которое Тургенев нашел самым любопытным из всего, что ему пришлось читать об эпохе Петра,— в связи с чем отметил его и в предназначавшемся для царя обозрении «парижских бумаг».

«Записка» эта была составлена 5 мая 1729 года (н. ст.) датским послом в России Вестфаленом по получении известия о смерти Петра Андреевича Толстого. Французский консул в Петербурге Виллардо отредактировал эту «Записку», дополнил некоторыми деталями и отправил в Париж, где ее и нашел век спустя А. И. Тургенев. «Записка» Вестфалена увидела свет только в 1889 году[73], а в обработке Виллардо она появилась — на русском языке — в самом конце прошлого столетия[74].

В «жизнеописании» этом рассказывается о переходе Толстого на сторону молодого Петра, долго еще относившегося с подозрительностью к бывшему стороннику его врагов, который стал одним из его ближайших сотрудников. «Рассказывают,— говорится в «Записке»,— будто его величество за несколько недель до своей кончины, перечисляя добрые и дурные стороны своих министров, сказал: «Петр Андреевич во всех отношениях человек очень ловкий, только, имея дело с ним, не мешает держать добрый камень в кармане, чтобы разбить ему зубы, в случае если бы он вздумал кусаться»[75].

В «Записке» Вестфалена — Виллардо сообщаются чрезвычайно интересные сведения о роли Толстого в деле царевича Алексея. Подобных сведений Пушкин не мог почерпнуть даже в подлинном следственном деле царевича. В «Записке» этой о Петре говорится: «Он отправил Толстого к беглому сыну, поручив ему обещать царевичу прощение, если он возвратится. Толстой едет в Неаполь с гвардии капитаном Румянцевым... Еще до отъезда из Амстердама он составил себе план действий, именно положил сблизиться с любовницей, которую царевич увез с собой из Пе-

тербурга — смышленой и довольно хорошенькой чухонкой. Толстой воспользовался слабой стрункой ее — с самыми горячими и низкими клятвами обещал выдать ее замуж за младшего своего сына и дать за ним 1000 душ крестьян, если только она убедит царевича немедля вернуться в Россию»[76].

Наконец о Екатерине и деле Монса «Записка» сообщает: «В первом порыве гнева, вызванном этим событием, царь сжег свое завещание в пользу царицы»[77].

Чрезвычайно любопытные сведения содержатся в последней части этой «Записки» и о царствовании Екатерины I, обстоятельствах ее смерти и деле Девиера. Все это заставляет признать, вслед за Тургеневым, «Записку» документом, представлявшим для писателя-историка выдающийся интерес.

Таким образом, хотя Пушкин не имел возможности работать в зарубежных архивах, он благодаря содействию А. И. Тургенева получил в последние месяцы жизни возможность узнать из привезенных Тургеневым копий, из записок и устных рассказов его содержание исторических документов, оставшихся долго недоступными и использованных русскими историками лишь много поздней. Из привезенных А. И. Тургеневым материалов черпал впоследствии и Устрялов — автор «Истории Петра Великого», которому Николай I поручил написать этот труд после смерти Пушкина, и Соловьев — в «Истории России». Нет сомнения, что, если бы жизнь Пушкина не пресеклась так внезапно, он воспользовался бы в своей «Истории Петра» материалами, с которыми Тургенев начал его знакомить.

Сделать это Пушкину не было суждено, но раскрывающаяся перед нами страница из истории последних недель его жизни представляет бесспорно интерес для творческой биографии поэта, знакомившегося до последнего дня с источниками, бросающими свет на историю Петровской эпохи.

Тургенева поразили исторические знания поэта о России. Удивление его вполне понятно. Он привез из Парижа донесения Кампредона о смерти Петра и имел благодаря этому возможность, как сказано, ознакомить Пушкина с неизвестными тогда русским историкам обстоятельствами, сопровождавшими борьбу, поднятую вокруг умирающего царя. Тургенев имел, вне сомнения, уже к этому времени возможность рассказать Пушкину и «анекдоты» о Петре и Екатерине, содержащиеся в так называемых записках Вильбуа, хранившихся в парижской Королевской библиотеке, которым придавалось тогда большое значение[78]. Князь П. В. Долгоруков, например, заявил в своих объяснениях, данных в III Отделении, что мнение его о Петре Великом (который в начатой им раньше «Русской Истории». был

«изображен полубогом») «изменилось чтением разных книг о той эпохе и чтением записок адъютанта Петра Великого, Вильбуа» [79].

Между тем Пушкин знал эти «Анекдоты» по рукописи, хранившейся в императорском Эрмитаже в составе библиотеки Вольтера.

Несколько лет спустя после встреч и разговоров Пушкина с Тургеневым III Отделение, не зная о том, что рукопись можно найти не выезжая из Петербурга, стремилось приобрести ее через своих литературных агентов в Париже. 3 августа 1843 года Яков Толстой писал оттуда Дубельту: «Спешу послать вашему превосходительству... копию рукописи, будто бы составленной Вильбуа». «Случай свел меня с некиим Летелье, переписчиком Королевской библиотеки, предложившим мне снять копии с самых секретных документов, которые,— утверждал Я. Толстой,— не выдаются для просмотра никому из иностранцев... в том числе и Александру Тургеневу...» [80]

Пушкин прочитал в библиотеке Вольтера не только рукописные «Анекдоты Вильбуа». Прочитанные им там же записки Бассевича раскрывали многие из обстоятельств, касающихся смерти Петра и описанных в донесениях Кампредона, привезенных Тургеневым. Но удивление Тургенева вызвано было, конечно, не только неожиданным для него знакомством Пушкина с подобного рода иностранными источниками и редкими рукописями, найти которые, казалось, можно было только в Париже.

Поразили Тургенева не только знания Пушкина, основанные на глубоком изучении русских исторических источников. Много сделавший сам для познания прошлого России, Тургенев оказался в состоянии оценить лучше многих глубину, проницательность и верность исторических взглядов Пушкина — способность его «судить», как «никто» другой в эти годы, о новой истории России. Обо всем этом Тургенев писал на другой день после смерти Пушкина, сожалея о нем как об историке, не завершившем своего труда:

«...Вчера в 2¾ мы его лишились, лишилась его Россия и Европа... Последнее время мы часто видались с ним и очень сблизились; он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные.

Сколько пропало в нем для России, для потомства, знают немногие; но потеря, конечно, незаменимая. Никто так хорошо не судил Русскую новейшую историю: он созревал для нее и знал и отыскал в известность многое, чего другие не заметили. Разго-

вор его был полон жизни и любопытных указаний на примечательные пункты и на характеристические черты нащей истории. Ему оставалось дополнить и передать бумаге свои сведения. Великая потеря!»[81]

ПО СТРАНИЦАМ «ИСТОРИИ ПЕТРА»

Голиковский свод лежал у Пушкина перед глазами. Множество других — книжных и иных — источников Пушкин использовал и собирался еще использовать в своем труде. Но Пушкин знал Россию и историю изучаемой эпохи не только по книгам и запискам петровского времени.

Поэт знал не только древнюю и новую, созданную Петром, столицу России. Описывает ли он Персидский поход Петра, в его рассказе сказывается знание Кавказа и опыт «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года»; мы знаем: Пушкин видел войну и скакал «с саблею наголо против турок, на него летящих»[1]. Пишет ли Пушкин о Турецкой войне 1711 года, то есть о Прутском походе, он говорит об этих местах как очевидец, поправляя Моро де Бразе, иностранного офицера русской службы, участника Прутского похода Петра, рассказавшего о нем в своих записках. Моро пишет: «Жары нестерпимы в сих местах, где видно только небо да горы раскаленного песку, без деревьев, без жителей и без воды». Пушкин поправляет рассказчика: «Степи Буджацкие не песчаные: они стелются злачной, зеленой равниною, усеянною курганами... Правда, что в 1711 году эти степи были голы: трава съедена была саранчою»[2].

Исправляет Пушкин не только географию Моро, в которой тот пользуется, по ироническому выражению поэта, «правом рассказчика»[3]. Вместе с тем Пушкин ценит и считает нужным использовать его «Записки», видя в них исторический рассказ участника Прутской кампании, который «не должно смешивать с нелепыми повествованиями иностранцев о нашем отечестве»[4].

«Рассказ Моро де Бразе о походе 1711 года, лучшее место изо всей книги, отличается умом и веселостию беззаботного бродяги; он заключает в себе множество любопытных подробностей и неожиданных откровений, которые можно подметить только в пристрастных и вместе искренних сказаниях современника и свидетеля», — замечает Пушкин.

В своей «Истории» он остается объективным и при описании неудачного для Петра Прутского похода, но чувство патриота сказывается даже в оборотах и интонациях Пушкина. У Голикова в описании Прутского похода приведена цитата из «Журнала

Петра Великого», где изложение ведется от первого лица, и мы читаем: «Перед нашим войском», «с нашей стороны», «а у нас, кроме рогаток, ничего не было» и т. д.[5]. Замечательно, что Пушкин в своей рабочей записи, не ссылаясь на «Журнал Петра», пишет: «Всего *нас* было 31 554 пехоты, да 6 692 конницы и *то почти бесконной*»[6] (268). Эта фраза дана Пушкиным в конце описания дневного боя — от первого лица: Пушкин выразительно передает в ней впечатление неравенства сил малочисленной русской армии, стоявшей против войска турок.

По поводу же мнения Моро де Бразе о причинах неудачи Прутского похода Пушкин пишет: «Как заметно, что здесь говорит иностранец, приверженный к своей партии»[7].

В подготовительном тексте «Истории Петра» многих чрезвычайной важности вопросов Пушкин коснулся лишь вскользь или даже совсем не успел коснуться, несмотря на то, что сознавал их значение. Однако даже отрывочные примечания Пушкина к запискам Моро де Бразе выразительно говорят нам о его отношении к борьбе, которую русским приходилось вести против «партии» иностранцев, призванных на службу Петром.

С борьбой иностранной и русской партий в генералитете Петра связано и следующее замечание Пушкина по поводу рассказа Моро де Бразе о Прутском походе. Пушкин пишет: «Благодарим нашего автора за драгоценное показание. Нам приятно видеть удостоверение даже от иностранца, что и Петр Великий и фельдмаршал Шереметев принадлежали партии русской»[8].

В конце своего царствования Петр предпринял, как известно, некоторые меры для того, чтобы ослабить влияние призванных им в Россию иностранцев. Одну из таких мер Пушкин под 1722 годом отметил: «Петр повелел принимать иностранных офицеров с понижением чина против российских etc.» (416). Эти меры Петра оказались — мы знаем — запоздалыми. Реакционное значение иностранных наемников самодержавия и их «партии» в «императорский» период русской истории, последовавший за смертью Петра, слишком известно.

Моро де Бразе рассказывает в своих записках о Прутском походе, о том, как русские гренадеры «просились на коней, дабы... выручить» ввязавшихся в схватку с турками венгерцев, служивших в войске Петра. «Но генерал Янус,— говорит Моро,— не хотел взять на себя ответственность и завязать дело с неприятелем». Пушкин здесь замечает: «Кажется, русские варвары (интересно, что слово «варвары» Пушкин в рукопись — иронически — вписал.— *И. Ф.*) в этом случае оказались более жалостливыми, нежели иностранцы, ими предводительствовавшие»[9].

Указывая, что записки Моро де Бразе, касающиеся Прутско-

ŒUVRES

COMPLÈTES

DE VOLTAIRE.

NOUVELLE ÉDITION.

HISTOIRES
DE CHARLES XII ET DE L'EMPIRE DE RUSSIE.

A PARIS,

Chez { LEFÈVRE, Libraire, rue de l'Éperon;
DETERVILLE, Libraire, rue Hautefeuille.

M. DCCC. XVII.

«История Карла XII» и «История России
в царствование Петра Великого». Том 15-й
принадлежавшего Пушкину собрания сочинений
Вольтера (Париж, 1817 г.).

го похода, представляют собой «важный исторический документ и едва ли не единственный (опричь Журнала самого Петра Великого)» [10], Пушкин, как помним, поясняет: «Моро не любит русских и недоволен Петром; тем замечательнее свидетельства, которые вырываются у него поневоле» [11].

Но вот Пушкин вспоминает не о рассказе «беззаботного бродяги», «наемного храбреца» Моро, а об исторических трудах прославленного французского писателя.

Ссылки на Вольтера в тексте пушкинской «Истории Петра» относятся главным образом к «Истории Карла XII», написанной Вольтером задолго до его книги о Петре по горячим следам событий. Вольтер имел еще возможность лично расспрашивать ближайшего сподвижника Карла XII графа Понятовского и португальского доктора Фонсека — шведского агента, тайно доставлявшего в Константинополь письма, побуждавшие Турцию к войне с Петром. Поэтому книга Вольтера о главном противнике Петра, разгромленном в России, могла иметь для Пушкина значение исторического источника там, где в «Истории Петра» на сцену должен был явиться Карл.

В книге Пушкина, как показывает ее подготовительный текст, Карл должен был быть представлен не только как исторический деятель, враг России и противник Петра. Фигура Карла служила в то же время Пушкину средством контрастной характеристики Петра. Уже в эпилоге «Полтавы» Карл является как «герой безумный»; Мазепа накануне Полтавского сражения говорит о нем:

Как полк вертеться он судьбу
Принудить хочет барабаном...

В «Историю Петра» поэт имел в виду включить эпизоды, рисующие Карла как отважного, жестокого и взбалмошного до безумия воина-авантюриста. Мы знаем, что Пушкин в своей «Истории» ничуть не скрывает отрицательных черт Петра. Но нигде, разумеется, поэт не говорит о нем в том уничтожающем тоне, какой сказывается в строках, посвященных Карлу. Пушкин пишет, например, рассказывая о неудачном для шведского короля исходе одного из сражений с русскими: «Карл был в бешенстве, он рвал на себе волоса и бил себя кулаками по щекам» (195). Несколько ниже Пушкин говорит: «Карл по своему обыкновению везде совался, чуть не попался в плен и имел под собою лошадь убиту» (196).

Для эпизодов «Истории Петра», которые должны были обрисовать поведение Карла в «странном,— по словам Пушкина,— Бендерском деле» и при осаде Стральзунда и рассказать о смер-

MEMOIRES

POLITIQUES,

AMUSANS

ET

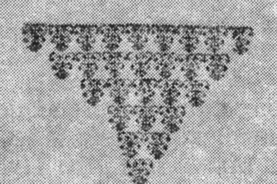
SATIRIQUES,

DE MESSIRE

J. N. D. B. C. de L.

Colonel du Regiment de Dragons de Casanski & Brigadier des Armées de Sa M. Czarienne.

TOME PREMIER.



A VERITOPOLIE,

Chez JEAN DISANT VRAI.

M. DCC. XVI.

«Записки Моро де Бразе», изданные в 1716 г. без имени автора (Пушкин перевел из них описание Прутского похода Петра I). *Титульный лист.*

ти короля, Пушкин имел в виду привлечь фактический материал, содержащийся в Вольтеровой «Истории Карла XII».

Когда Карл, едва спасшись после полтавского разгрома, бежал в Турцию, Бендерский «паша принял его с пушечной пальбою»,— читаем мы в «Истории Петра» (225).

«После своего поражения Карл отправил послов в Константинополь, и Порта повелела Бендерскому сераскиру условиться во всем с шведским королем; несколько пашей получили повеление идти в Бендеры. Верховный визирь Али-паша писал Карлу, что Порта с радостию приемлет предлог начать войну с Россиею.

Карл сыпал деньги, доставляемые ему Мазепой. (Вольтер говорит — визирем,— замечает здесь в скобках Пушкин, обнаруживая прекрасное знание «Истории Карла XII».) Агент его (Карла XII.— *И. Ф.*) Понятовский сильно за него действовал в Константинополе...»

«Петр,— пишет Пушкин,— требовал у Порты уничтожения причины к нарушению мира», «т. е. отпущения Карла XII, обещая ему свободный пропуск через Польшу...

Притом 2000 мешков шведских денег были Толстым выданы верховному визирю, что весьма подкрепило его дипломатические рассуждения...» (246).

«Но,— продолжает Пушкин под 1711 годом,— Карл не думал из Турции выезжать. Он в Бендерах строил дома для зимовья» (274), не теряя надежды вновь поднять турок на войну с Россией.

В «Истории Карла XII» Вольтер рассказывает о том яростном сопротивлении, какое оказал своим друзьям — туркам раздраженный король, когда он, «видя себя некоторым образом выгоняемым из земель султанских, решился не выезжать вовсе»[12]. Происшествие это, замечает Голиков, было «столь странно, что, как говорит о сем аббат Милот, если бы в действительности оного сомневаться было можно, то должно бы почесть оное за какое-нибудь приключение славного испанского рыцаря Дон-Кишота...»[13]. (Вольтер в одном из своих писем также назвал действия Карла XII после полтавского разгрома поведением Дон-Кихота.)

Касаясь этого исторического эпизода, Пушкин в «Истории Петра» пишет: «Здесь произошло странное Бендерское дело», и вслед за тем в скобках указывает: «Смотри Вольтера...» (313). Обратимся поэтому к «Истории Карла XII», которую Пушкин считал нужным использовать как источник при описании «странного Бендерского дела».

Сначала турки думали принудить Карла к выезду, и он был лишен ежедневно доставляемых съестных припасов и корма ло-

шадям. Но король велел перестрелять двадцать арабских лошадей, подаренных ему султаном, и со своими офицерами и тремястами шведских солдат решил готовиться к обороне против двадцати тысяч татар и шести тысяч турок. Он приказал,— читаем мы в «Истории Карла XII»,— вырыть окопы вокруг дома и, обратившись к своим секретарям и слугам — кондитерам, возчикам, поварам, обещал произвести в офицеры каждого, кто будет храбро сражаться вместе с ним.

Карл отбивался, защищая комнату за комнатой даже после того, как янычары ворвались в дом. Турецкая пуля оторвала ему край уха. Турки, «чтобы принудить короля сдаться», «велели бросить на кровлю, в двери и в окна стрелы, обернутые зажженною пенькой; в одну минуту дом объят был пламенем». «Двадцать янычар вдруг бросились» на Карла, и, пишет Вольтер, «он кидает на воздух шпагу свою, чтобы избавиться прискорбия отдать ее»[14].

Пушкин вспоминал об этом — еще до того, как приступил к своей «Истории Петра» — в эпилоге «Полтавы»:

Останки разоренной сени,
Три углубленные в земле
И мхом поросшие ступени
Гласят о шведском короле.
С них отражал герой безумный,
Один в толпе домашних слуг,
Турецкой рати приступ шумный,
И бросил шпагу под бунчук...

Рассказ Вольтера о жизни Карла в Варнице, близ Бендер, где король вынужден был находиться после полтавского разгрома, Пушкин собирался теперь дополнить и проверить русскими источниками: Пушкин ссылается, например, на письма Шереметева (см. «Историю Петра», 313). Но книги не были бы и здесь для Пушкина единственным источником исторических сведений. Мы знаем, что Пушкин побывал в Бендерах сам (задолго до того, как стал писать «Историю Петра») и в Варнице осматривал остатки старых укреплений. Липранди — спутник Пушкина в этой поездке — вспоминает разговор поэта со 135-летним казаком Искрой, который помнил еще Карла XII:

«Мы отправились на место бывшей Варницы, взяв с собой второй том Нортберга и Мотрея, где изображен план лагеря, окопов, фасады строений, находившихся в Варницком укреплении, и несколько изображений во весь рост Карла XII. Рассказ Искры о костюме этого короля поразительно был верен с изображением его в книгах. Не менее изумителен был рассказ его

о начертании окопов, ворот, ведущих в оные; и некоторые неровности в поле соответствовали местам, где находились бастионы и т. д.; но не это занимало Пушкина: он добивался от Искры своими расспросами узнать что-либо о Мазепе, а тот не только что не мог указать ему желаемую могилу или место, но и объявил, что такого и имени не слыхал. Пушкин не отставал, толкуя ему, что Мазепа был казачий генерал и православный, а не басурман, как шведы, все напрасно. Спрашивал, нет ли еще таких же стариков, как он, Искра; нет ли старинных церквей поблизости, и получил в ответ, что старее его нет никого, что церкви еще прежде были «спалены татарами» и т. п.»[15].

Впрочем, Искра был уже «добрым хлопцем», когда мать посылала его в Варницкий лагерь шведов с творогом, молоком, маслом и яйцами. «Он описывал короля (Карла XII), которого видел почти каждый раз, и впервые принял его даже и не за офицера, а за слугу, потому что он, выйдя из занимаемого им домика, каждое яйцо брал в руку, взвешивал его и смотрел через оное на солнце»[16].

Касаясь осады Стральзунда, Пушкин в «Истории Петра» указывает: «О взятии Стральзунда и о бегстве Карла в Швецию смотри Вольтера» (353).

На рассказ Вольтера об осаде Стральзунда Пушкин ссылался еще в примечаниях к «Полтаве», приводя ответ Карла секретарю, испуганному бомбой («Ах, ваше величество! бомба!..» и проч.). Вольтер в «Истории Карла XII» пишет действительно: «Однажды, как король диктовал письма в Швецию своему секретарю, бомба упала на дом, пробила кровлю и разорвалась подле самой королевской комнаты. Половина пола была раздроблена... перо выпало из рук секретаря. «Что такое? — спросил король спокойно. — Что ты не пишешь?» — «Ах, государь, бомба!» — едва только мог промолвить секретарь его. «Ну что ж, — прервал король, — какую связь имеет бомба с письмом, которое я диктую тебе? Продолжай»[17].

В своей «Истории» Пушкин счел нужным использовать «Историю Карла XII» для описания осады Стральзунда шире, как источник исторический. «Город Стральзунд, сделавшись в Европе славным осадою, которую там выдержал король шведский, — читаем мы в книге Вольтера, — есть самое крепкое место в Померании... Сухим путем достигнуть до него можно только по узкой плотине, защищаемой цитаделью и укреплениями, почитавшимися за неприступные. В нем было около девяти тысяч гарнизону и сверх того сам король шведский».

Карл XII сражался до последней возможности, «всякую ми-

нуту ожидая всеобщего приступа», и был «до самой полночи на малом равелине, вовсе разрушенном бомбами и ядрами; через день после этого главные офицеры заклинали его не оставаться в таком городе, который нельзя было уже защищать, но отступ сделался столько же опасен, как и самое место... 20 декабря 1715 сел он в шлюпку только с десятью человеками. Надобно было колоть лед, покрывавший море в пристани... Адмиралы неприятельские получили строгий приказ не выпускать Карла XII из Стральзунда и взять его живого или мертвого. По счастию они были под ветром и не могли настичь его. Но еще большей опасности подвергся он, проезжая в виду острова Рюгена... где датчане построили батарею о двенадцати пушках. Они стреляли в короля. Матросы работали и парусами и веслами, чтоб удалиться скорее; однако ядро убило двух человек подле Карла XII, другое раздробило мачту шлюпки. Среди сих опасностей король достиг до двух кораблей своих, разъезжавших по морю Балтийскому. На другой день Стральзунд сдался, гарнизон сделан военнопленным, и Карл XII пристал к Истеду в Скандинавии, а оттуда переехал в Карлскрону, совсем в другом положении, нежели как за пятнадцать лет перед сим выехал оттуда на корабле 120-ти пушечном, выехал давать законы Северу»[18].

Наконец, под 1718 годом Пушкин в своей «Истории Петра» снова указывает: «Смотри «Историю Карла XII» Вольтера»[19] (410). Это указание имело в виду будущий текст «Истории Петра», куда Пушкин думал, по-видимому, включить строки о смерти Карла XII.

Карл, пишет он, «не опасаясь Петра по причине зимы, пошел противу датчан в Норвегию, и в ноябре осадил Фридерихсгаль.

Там 30 ноября (11 декабря) вечером в траншее убит был картечью Карл XII на 37 году своей жизни (см[отри] «Histoire de Charles XII» Voltaire)» (410). Последуем указанию Пушкина и прочтем строки, посвященные Вольтером смерти шведского короля:

«11 декабря в день святого Андрея в девятом часу вечера Карл XII пошел осмотреть траншеи и, нашедши, что параллель не столько продолжена, как ему хотелось, казался очень недовольным. Г-н Мегрет[20], французский инженер, который вел осаду, уверял его, что город взят будет в восемь дней. «Увидим!» — сказал король и продолжал осматривать работы с инженером. Он остановился в одном месте, где траншея составляла угол с параллелью, стал на колени на внутреннем скате и, опершись локтями на парапет, несколько времени смотрел на работников, которые продолжали рыть траншеи при сиянии звезд...

Король почти до половины тела был открыт ударам пушеч-

ной батареи, построенной прямо против того угла, где он находился... В эту минуту Сикиер[21] и Мегрет увидели, что король упал на парапет с тяжким вздохом: подошли, и он был уже мертв. Тяжелое полуфунтовое ядро пришло ему в правый висок и сделало отверстие, в которое можно было вложить три пальца: голова его была опрокинута на парапет, левый глаз вдался внутрь, а правый совсем почти выскочил. Минута раны его была минутой смерти, однако он имел столько сил, что, умирая, так внезапно, по натуральному движению схватился рукою за эфес шпаги и оставался еще в таком положении... Сикиер тотчас побежал уведомить об этом графа Шверина. Они решились вместе скрывать от солдат смерть Карла XII до тех пор, пока уведомят принца Гессенского. Тело завернули в серый плащ, Сикиер надел свой парик и шляпу на короля, и в таком состоянии пронесли Карла XII под именем капитана Карлесберга мимо войска, которое, видя проносимого короля своего, совсем не думало, чтобы это был он... Так погиб на тридцать седьмом году Карл XII — король шведский...»

Опустим характеристику, данную здесь Карлу Вольтером, и приведем только следующий за нею портрет короля: «Карл XII имел красивый и благородный стан, прекрасный лоб, большие голубые глаза, исполненные кротости, очень хороший нос, но нижнюю часть лица неприятную, очень часто обезображиваемую смехом, выражавшимся только на губах; он не имел почти ни бороды, ни волос; говорил очень мало и часто отвечал одним смехом, к которому привык»[22].

Говоря о смерти Карла в своей «Истории», Пушкин заметил, что «Петр оплакал его кончину» (410). Голиков пишет об этом с простодушием, добавляя, что Петр, получив известие о смерти шведского короля, отирал платком слезы, которые потекли у него по лицу, и «жалостным голосом сказал: «Ах, брат Карл! как мне тебя жаль!»[23] Может быть, нелишним будет вспомнить поэтому, что Пушкин, рассказав — под предшествующим, 1717 годом — о провале авантюристических планов Карла, заметил: «Петр радуется исподтишка»: «Не правда ль моя, — пишет он Апраксину, — что я всегда за здоровье сего начинателя пил? никакою ценою не купишь, что сам сделал...» (373). О том же доносил французский консул в Петербурге вскоре после смерти Карла: недавно, писал он, один из любимцев царя спросил, зачем его величество пьет за здоровье своего врага, на что Петр «ответил, что тут его собственный интерес, так как покуда король жив, он постоянно будет ссориться со всеми»[24].

Вопреки этим полным сарказма словам, отношение Петра к Карлу XII в минуту получения известия о смерти короля было более сложным. В это время близились к концу начатые втайне на Аландском конгрессе мирные переговоры между Россией и Швецией. Война между ними должна была смениться миром и взаимной поддержкой во внешней политике, направление которой, как и указывал Пушкин, должно было с заключением Аландского договора во многом измениться: «Быть дружбе и союзу» между Россией и Швецией — гласили первые статьи «сего славного трактата» (402).

Внезапная смерть Карла противоречила в этот поворотный момент внешнеполитическим интересам Петра и не могла не огорчить его. В Швеции одержали верх противники мира. Герц, министр Карла XII, проводивший новую политику по отношению к России, был арестован в Стокгольме, «прежде нежели узнал о смерти короля», и казнен. «С ним рушились его замыслы», — пишет Пушкин в строках, идущих в «Истории Петра» сразу вслед за словами о том, что Петр оплакал кончину Карла XII (410—411).

Мы лучше поймем, чем успела стать «История Петра» в процессе работы над ней Пушкина, если уясним себе вопрос о том, какие стороны пушкинского труда остались неосуществленными или недоработанными.

Александр Тургенев — человек больших исторических знаний — отмечал, что в особенности хорошо знаком был Пушкин с эпохами бурь и переломов русской истории. Первым большим трудом Пушкина-историка недаром была «История Пугачева» (которую Николай I предписал переименовать в «Историю Пугачевского бунта», указав, что бунтовщик не может иметь истории).

Современник Пушкина Вяземский писал:

«Труд его не столько История Пугачевского бунта, сколько военная история этого бунта. Автор свел в одно стройное целое военные реляции, военные дневники и материалы. Из них составил он боевую картину свою. Но в историю события, но в глубь его он почти не вникнул, не хотел вникнуть или, может быть, что вероятнее, не мог вникнуть по внешним причинам, ограничившим действие его...»[25] Яснее сказать было почти невозможно: «по внешним причинам, ограничившим» Пушкина, то есть в силу цензурных условий николаевского времени, «История Пугачева» явилась в значительной степени военной историей восстания.

В «Истории Петра», которая должна была стать огромным, несравненно более широким, чем «История Пугачева», историческим полотном, Пушкин решал более обширные и сложные исторические и художественные задачи: Пушкин имел в виду изобразить эпоху Петра в целом, но в большей мере смог и успел изобразить в «Истории Петра» *военную* историю эпохи.

В «Очерке введения» к пушкинской «Истории Петра» мы читаем:

«*Введение* — Россия извне
Россия внутри
Подати
Торговля
Военная сила
Дворянство
Народ
Законы
Просвещение
Дух времени» (7).

Несомненно, все эти важнейшие стороны исторической эпохи должны были быть освещены Пушкиным не только при изображении кануна Петровской эпохи, но и при описании эпохи Петра.

Далеко продвинувшись в своей работе, Пушкин, однако, все больше убеждался, что напечатать создаваемую им «Историю Петра» в николаевской России не удастся.

Едва ли возможно представить себе, например, что Пушкин, автор «Истории Пугачева», говоря в «Истории Петра» о народных восстаниях, ограничился бы в окончательном тексте ее изложением фактов военной истории этих восстаний по источникам, где они представлены только как историческое препятствие делу Петра.

Но разработать и осветить историю народных восстаний Пушкин в своей книге о Петре не мог. Мы знаем, что даже о вышедшей в свет с разрешения Николая I «Истории Пугачева» личный враг Пушкина министр Уваров — автор известной впоследствии реакционной формулы «православие, самодержавие и народность» — «кричал», по словам поэта, «как о возмутительном» (то есть революционном) сочинении.

Не разработал Пушкин в своей книге и ряд других сторон Петровской эпохи. Сравнительно мало представлены на страницах его незавершенного труда сподвижники Петра, хотя им и отношению к ним Петра посвящен Пушкиным ряд замечательных строк. Среди последних есть записи, писанные заведомо не для

печати. Вот, например, как начинаются страницы, посвященные событиям 1723 года:

«Петр застал дела в беспорядке. Он предал суду, между прочих, князя Меншикова и Шафирова; последний обвинен и осужден на лишение чинов, имения и жизни.

Что было их преступление? Одна ли непослушность и высокомерие? Должно исследовать. А за то, что Шафиров при всем Сенате разругал по-матерну обер-прокурора Скорнякова-Писарева... кажется, на смерть осудить нельзя... Он был помилован уже на плахе и сослан в Сибирь со всем семейством.

У Меншикова отняли деревни, приписанные к городу Почепу, коим он владел уже 11 лет...

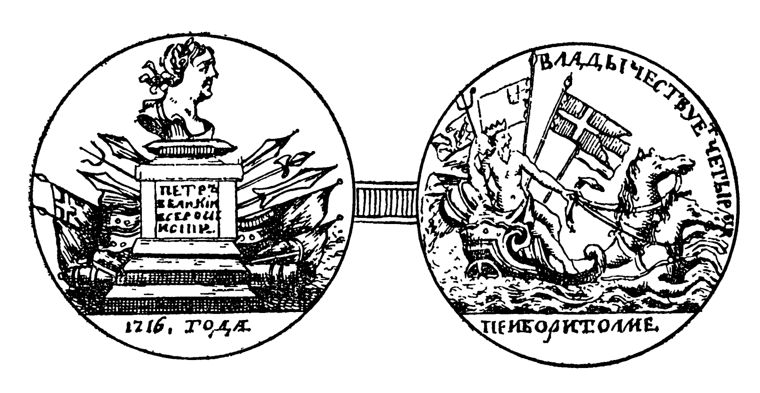
Шафирова Петр неоднократно увещевал и наказывал келейно, что случалось со всеми его сподвижниками, кроме Шереметева и, может быть, князя Якова Долгорукова» (439–440).

В пушкинской «Истории Петра», так же как и в поэзии Пушкина, сказалась «воинственная судьба» России. Когда мы читаем слова Пушкина: «Суровый был в *науке славы* ей дан учитель...» – мы вспоминаем суворовскую «Науку побеждать».

Вольтер в своей книге о Петре «просит извинения у читателя-философа», «если в описании сражений и взятия городов, похожих на другие сражения или осады, сочинитель вошел в некоторые подробности...»[26]. Чтоб избежать повторений, о взятии Петром Нарвы Вольтер рассказывает в трех строках; желая остроумно обойти трудность изображения осады, он говорит: «Сей город был укреплен тремя славными бастионами, по крайней мере по одним названиям; они назывались: «*Победа, Честь и Слава*». Петр I взял их с мечом в руке...»[27]

Пушкин не извинялся перед русским читателем за подробные описания сражений, и в его изображении они вовсе не кажутся похожими одно на другое. Недаром в статье, написанной в то время, когда он работал над «Историей Петра», Пушкин с таким сочувствием вспоминал об авторе старой книги, посвященной истории Украины: «Он любит говорить о подробностях войны и описывает битвы с удивительною точностию»[28].

Пушкин-историк изучал блестяще написанные реляции Суворова, который сказал как-то, что если б он не стал полководцем, то был бы писателем. А говоря об учителях Пушкина, которых он превзошел в своей военно-исторической прозе, нельзя не вспомнить о Денисе Давыдове, три славы которого – славу воина, славу поэта и славу «отличного прозаического писателя» – вспоминал Белинский, говоривший, что «как прозаик Давыдов



Медаль *«Владычествует четырьмя»*, выбитая в ознаменование соединения в 1716 г. четырех флотов — русского, датского, английского и голландского — под главным командованием Петра I

имеет полное право стоять наряду с лучшими прозаиками русской литературы»[29]. Недаром, видимо, посылая Денису Давыдову «Историю Пугачева», Пушкин в стихотворном послании назвал его своим отцом и командиром по трудной писательской службе[30].

Изображая «воинственную судьбу» России, Пушкин показывает в своей незавершенной книге историческое значение побед Петра.

Интерес к нему Европы, встревоженной созданием нового могущественного государства, был необычаен. Даниель Дефо, автор «Робинзона», написал «Беспристрастную историю жизни и деятельности Петра Алексеевича, нынешнего царя Московии», называя его еще «царем Московии». А во второй части своего прославленного романа, где Дефо описывает возвращение Робинзона на родину через Сибирь, Петр получает совет прекратить войну с «воинственными шведами» и направить свои силы на завоевание Востока. Современник Петра Джонатан Свифт (заставивший Гулливера высадиться на берегу страны великанов в год основания Петербурга) напечатал в 1711 году памфлет, в котором писал об опасностях, возникающих будто бы для Англии в результате побед Петра над Швецией и усиления России[31].

Даже через три десятилетия после смерти Петра Вольтер, понимавший, что России необходимо было приобрести выход к морю, писал тем не менее Шувалову: «Признаюсь, я не вижу в войне Петра I с Карлом XII иных побудительных причин, кроме удобного расположения театра военных действий, и я не по-

стигаю, почему он пожелал разбить шведов у Балтийского моря, когда его первоначальным намерением было укрепиться на Черном море»[32].

Пушкин ясно и верно понимал исторический смысл борьбы Петра за Балтику, он широко освещает эту борьбу в своей «Истории». На страницах ее мы видим Петра — строителя флота, создателя морской столицы России, победителя на суше и на море.

«Ни одна великая нация,— по словам Маркса,— не существовала и не могла существовать в таком удалении от всех морей, в каком пребывала вначале империя Петра Великого... Россия не могла оставить в руках шведов устье Невы, которое являлось естественным выходом для сбыта продукции»[33].

«Только в результате превращения Московии из чисто континентальной страны в приморское государство,— указывал Маркс,— московская политика могла выйти из своих традиционных границ»[34].

Государственные мысли историка (Пушкин сказал однажды, что они необходимы автору исторической трагедии) определяли создание исторической прозы, становление которой мы видим в не завершенной поэтом «Истории Петра».

Образ допетровской Москвы, Москвы детства и юности Петра, с ее стрелецкими бунтами и казнями, открывается нам на страницах незавершенной пушкинской книги. Действие переносится из Москвы в Голландию, где Петр с топором в руках работает на верфях, и в Англию. Первый безуспешный Азовский поход сменяется вторым, победоносным, и взятием Азова. С азовских берегов Петр устремляется к берегам Балтики. Города Польши и поля Украины, степи Буджака и волны Балтики, Париж и границы Персии — таково огромное пространство действия, представленное нам в намечающемся повествовании Пушкина.

Рукопись «История Петра» начинается рождением и картиной детства Петра и кончается его смертью. Историческая последовательность, сохраняемая Пушкиным на страницах его рукописи, не помешала поэту-историку наметить в ней план книги, где эпоха Петра открывалась бы читателю в смене исторических картин, образующих содержание предполагаемых глав его «Истории».

Содержание и драматическое движение первой, близкой к завершению главы пушкинской «Истории» определено борьбой за власть, которую вели против Петра бояре и правительница Софья. В этой главе изображены бунты стрельцов, троекратное бег-

ство Петра в Троицкий монастырь и его победа над мятежниками.

Пушкин пишет о детстве Петра:

«Рассказывают, будто бы на третьем году его возраста, когда в день имянин его, между прочими подарками, один купец подал ему детскую саблю, Петр так ей обрадовался, что, оставя все прочие подарки, с нею не хотел даже расставаться ни днем, ни ночью. К купцу же пошел на руки, поцеловал его в голову и сказал, что его не забудет. Царь пожаловал купца гостем, а Петра, при прочтении молитвы духовником, сам тою саблею опоясал. При сем случае были заведены *потешные*...» (19).

«Зотов по утрам обучал царевича грамоте и закону, а после обеда рассказывал ему российскую историю. Покои дворца были расписаны картинами, изображавшими главные черты из истории, главные европейские города, здания, корабли и проч.» (20).

Сказав об избрании на царство десятилетнего Петра, Пушкин пишет о возмущении стрельцов:

«Стрельцы, отпев в Знаменском монастыре молебен с водосвятием, берут чашу святой воды и образ божьей матери, предшествуемые попами, при колокольном звоне и барабанном бое, вторгаются в Кремль».

Назвав поименно убитых в тот день стрельцами бояр — сторонников малолетнего Петра и его матери — царицы Натальи Кирилловны, Пушкин замечает:

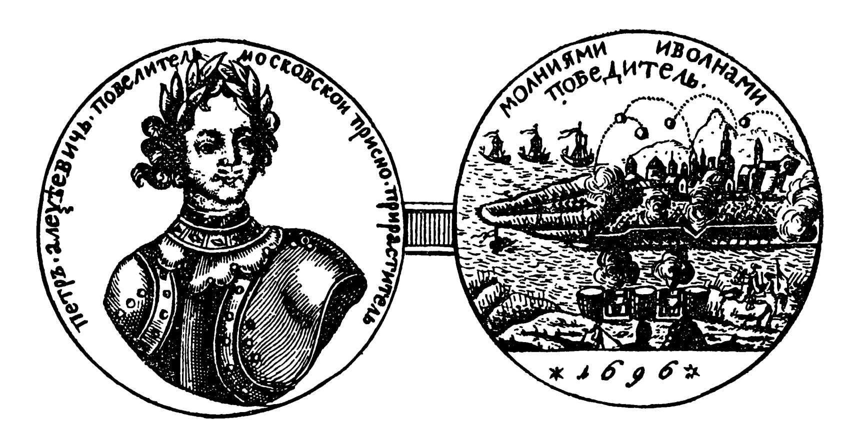
«Стрельцы, разбив Холопий приказ, разломали сундуки, разорвали крепости и провозгласили свободу господским людям. Но дворовые к ним не пристали» (23).

Далее мы читаем:

«Стрельцы вручили царевне Софии правление, потом возвели в соцарствие Петру брата его Иоанна» (24).

После нового возмущения стрельцов юный Петр удалился в село Преображенское и умножил число потешных. О роте потешных говорится: «Петр был в ней барабанщиком и за отличие произведен в сержанты. Так начался важный переворот, впоследствии им совершенный: истребление дворянства и введение чинов» (26). (Пушкин имеет в виду, как мы говорили уже, оттеснение родовитого дворянства.)

Выразительно сменяются под пером Пушкина сцены новых стрелецких мятежей. Говоря о бунте, связанном с именем Хованских, Пушкин пишет о том, как стрельцы «громко грозились пойти к Троице», где тогда находился Петр, и добавляет: «...в сие самое время, пишут летописцы, дана Петру отрава, от которой страдал он целую жизнь» (31). Узнав о казни Хованских, стрельцы «пришли в робость» и выдали зачинщиков бунта; они



Медаль *«На взятие Азова»*. 1696 г.

«сверх того отрядили из всех полков десятого на казнь. Выборные шли, двое неся плаху, а третий топор» (31).

В заключение главы Пушкин пишет о том, как, подавив новый бунт и свергнув «главную виновницу» мятежей правительницу Софью, «Петр выехал из монастыря и отправился в Москву. В селе Алексеевском встретили его все чины московские при бесчисленном множестве народа. Стрельцы от самого села до Москвы лежали по дороге *на* плахах, в коих воткнуты были топоры, и громко умоляли о помиловании. Петр въехал в Москву 10 сентября и прямо прибыл к собору. От заставы до самого собора стояло войско в ружье. Петр за спасение свое отслужил благодарственное моление. Перед царским домом встретил его Иоанн. Оба брата обнялись, и старший в доказательство своей невинности уступил меньшому все правление и до самой кончины своей (1696 г.) вел жизнь мирную и уединенную.

Отселе царствование Петра единовластное и самодержавное» (46–47).

Эта знаменательная сцена с заключающей ее итоговой фразой (выделенной Пушкиным в отдельный абзац) звучит как концовка главы.

В следующем дошедшем до нас разделе пушкинской рукописи действие переносится на берега Азовского моря. Страницы эти гораздо дальше от завершения, чем первая глава, но и по ним можно судить, как намечалось у Пушкина изображение первого Азовского похода – неудачного из-за отсутствия флота и измены начальника русской артиллерии голландца Якова Янсена (который «ночью, заколотя пушки, бежал в Азов») – и как

описание первого похода сменяется у Пушкина изображением второго, победного похода и взятия Азова. Описание торжества, ознаменовавшего взятие Азова, Пушкин кончает словами о том, что триумф этот «украшен» был выданным Петру после капитуляции Азова изменником Янсеном, «который ехал под виселицей, обвешанной кнутами» (53).

После сцены азовского триумфа Пушкин пишет: «В честь сего похода выбита медаль с изображением Петра и с надписью: *молниями и водами победитель»*[35] (53).

«Когда государственные чины пришли поздравлять государя с победою, — пишет далее Пушкин, — то он сказал им, что победу сию должно приписать флоту, им выстроенному, хотя и в малом числе. Он тут же объявил о намерении своем умножить его шестьюдесятью шестью новыми кораблями, расписал им математический размер» и т. д. «В три года, несмотря на общий ропот, — подчеркивает Пушкин, — флот был выстроен, снащен и вооружен...» (53—54).

Отъезд Петра за границу и его пребывание там должны были явиться содержанием следующего раздела «Истории Петра». Драматическое начало этих страниц определяется сопротивлением, которое вызвало в России небывалое намерение царя, и обидами, причиненными Петру и его посольству шведским губернатором в Риге.

«В сие время, — пишет Пушкин под 1696 годом, — Петр назначил 35 боярских и дворянских детей, которых и отослал в чужие края для изучения инженерству, корабельному искусству, архитектуре и другим наукам...

Отсылая молодых дворян за границу, Петр, кроме пользы государственной, имел и другую цель. Он хотел удержать залоги в верности отцов во время своего собственного отсутствия. Ибо сам государь намерен был оставить надолго Россию, дабы в чужих краях учиться всему, чего недоставало еще государству, погруженному в глубокое невежество.

Скоро намерение государя сделалось известно его подданным и произвело общий ужас и негодование... Обнаружился заговор, коего Петр едва не сделался жертвою» (55—56).

«Окольничий Алексей Соковнин, стольник Федор Пушкин и стрелецкий полковник Цыклер сговорились убить государя на пожаре...» — пишет Пушкин под 1697 годом (57). Заговор этот окончился неудачей: Петр узнал о готовившемся покушении. Заговорщики были казнены («четвертованием», говорит, в отличие от Голикова, Пушкин, обнаруживая знание истории заговора, за участие в котором казнен был один из предков поэта).

Рассказывая о пребывании Петра в Риге, Пушкин пишет:

«Однажды Петр поехал осматривать голландские корабли, с намерением нанять один из них для переезда, а как дорога шла около контрэскарпа, то расставленные на валу часовые закричали ему, чтоб он мимо крепости не ездил, и хотели в него стрелять. Им отвечали, чтоб они показали другую дорогу, другой дороги не было, и государя, наконец, пропустили. Губернатор жаловался, говоря, что люди русские, идучи мимо крепости, снимали с нее чертеж, и грозился, что в подобном случае впредь прикажет по них стрелять. В это время известили Петра, что губернатор намерен его задержать и что уже заказано никого из русских за реку не перевозить. Петр, оставя посольство, нанял за шестьдесят червонцев два малые бота и тайно выехал в опасное время оттепели в Курляндию...» (60).

Пушкин пишет о пребывании Петра в Голландии:

«Приехав, нарядился он со своею свитою в матросское платье и отправился в Саардам на ботике; не доезжая, увидел он в лодке рыбака, некогда бывшего корабельным плотником в Воронеже; Петр назвал его по имени и объявил, что намерен остановиться в его доме. Петр вышел на берег с веревкою в руках и не обратил на себя внимания. На другой день оделся он в рабочее платье, в красную байковую куртку и холстинные шаровары и смешался с прочими работниками. Рыбак, по приказанию Петра, никому не объявил о его настоящем имени; Петр знал уже по-голландски, так что никто не замечал или не хотел дать вид, будто бы его замечает. Петр упражнялся с утра до ночи в строении корабельном. Он купил буер и сделал на нем мачту (что было его изобретением), разъезжал из Амстердама в Саардам и обратно, правя сам рулем, между тем как дворяне его исправляли должность матросскую. Иногда ходил закупать припасы на обед и в отсутствии хозяйки сам готовил кушание. Он сделал себе кровать из своих рук и записался в цех плотников под именем Петра Михайлова. Корабельные мастера звали его Piter Bas[36], и сие название, напоминавшее ему деятельную, веселую и странную его молодость, сохранил он во всю жизнь» (62–63).

Под следующим, 1698 годом Пушкин пишет:

«В начале года Петр отправился в Англию на яхте и на трех английских военных кораблях...» (69).

О пребывании Петра в Англии мы читаем:

«Между тем он неусыпно учился морской архитектуре. Время провожал он, как и в Голландии. Король подарил ему 25-ти пушечную яхту и модель военного корабля и велел дать морское примерное сражение...»

«Потом, — пишет Пушкин о Петре, — ездил он в Гордервик

и видел там такие же морские эволюции. На возвратном пути претерпел он бурю. Петр, ободряя с ним бывших, говорил им: «слыхали ль вы, чтоб царь когда-либо утонул?» (69–70).

Рассказ о первом заграничном путешествии царя Пушкин заканчивает словами: «Петра ожидали в Италию, как вдруг получил он через посланного из Москвы гонца известие о новом стрелецком бунте, и государь поспешил возвратиться в Россию с Лефортом и с Головиным, поруча Возницыну присутствовать с цесарскими и венецианскими министрами на Карловицком конгрессе» (72).

Упомянув о том, что стрельцы, «стоявшие в Великих Луках и по границе литовской, свергнув начальников и избрав новых, пошли к Москве, надеясь возмутить и тамошних стрельцов», Пушкин пишет: «На дороге Петр узнал о разбитии их Шеиным и Гордоном. Но он продолжал свой путь, готовясь к ужасному предприятию...» (73).

Далее читаем: «Разбитие стрельцов происходило 18-го июня у Воскресенского монастыря. Мятежники, отслужив молебен и освятя воду, не внемля увещеваниям, пошли на войско, состоявшее из 2000 пехоты и 6000 конницы. Попы несли впереди иконы и кресты, ободряя мятежников. Генералы, думая их устрашить, повелели стрелять выше голов. Попы закричали, что сам бог не допускает оружию еретическому вредить православным, и стрельцы, сотворив крестное знамение, при барабанном бое и с распущенными знаменами, бросились вперед. Их встретили картечью, и они не устояли. 4000 положено на месте и в преследовании. Прочие бросили оружие и просили помилования» (73–74).

Прибыв в Москву, Петр «в доме Лефорта дал публичную аудиенцию австрийскому послу фон Квариенту» (74). Секретарем этого посольства был Корб (записки которого о казни стрельцов Пушкин, как мы знаем, читал с большим вниманием).

«Следствие началось. Мятежники, – пишет Пушкин, – признались, что имели намерение сжечь Москву, истребить немцев и возвести на престол царевну Софию до совершенного возраста царевича Алексея. Они думали также в помощники ей взять из заточения Голицына. О царе сказано было им, что он за границею умер. Заводчицею мятежа оказалась царевна, имевшая переписку с стрельцами посредством нищей старухи, которая носила письма, запеченные в хлебах. Царя положено было, на возвратном пути его, убить.

Начались казни..... Лефорт старался укротить рассвирепевшего царя...

Государь в то же время сослал и супругу свою Евдокию Федоровну в монастырь» (74).

Рассказав об усмирении нового бунта и о казни стрельцов, Пушкин переходит к событиям следующего, 1699 года. «Петр,— пишет он,— занялся внутренними преобразованиями» (76).

«Примером своим (и указами? — замечает Пушкин в скобках) уменьшил он число холопей. Он являлся на улице с одним или тремя денщиками, скачущими за ним» (76).

Мы читаем далее о заведении регулярного войска: «Рекрут набрано было до 32 032. Петр из оных составил 29 полков пехоты и конницы... Офицеры взяты из русских дворян, а отданы на обучение иностранцам. Войско одето было по немецкому образцу. Пехота имела мундиры зеленые с красными обшлагами, камзолами и штанами. А конница — синие с красными же, etc.

Петр, рассматривая роспись боярам и дворянам и видя многих неслужащих, повелел всех распределить по полкам, а других во флот, послав в Воронеж и в Азов для обучения морской службе. Петр обнародовал, чтоб никто не надеялся на свою породу, а доставал бы чины службою и собственным достоинством.

Шведский резидент Книпер-Крон,— замечает Пушкин,— в сильной ноте спрашивал о причинах заведения регулярного войска. Ему отвечали, что по уничтожении стрельцов нужно было завести новую пехоту» (76).

Заключительные строки, посвященные Пушкиным 1699 году, намечают, по-видимому, конец главы: «Повелено с наступающего года вести летосчисление с рождества Христова, а уже не с сотворения мира, а начало году считать с 1-го января 1700 года, а не с 1-го сентября...» (81).

Под 1700 годом мы читаем:

«Петр указом от 15 декабря 1699 года обнародовал во всем государстве новое начало году, приказав праздновать его торжественным молебствием, пушечной и ружейной пальбою, а в Москве для украшения улиц и домов повелел заготовить ельнику etc.

Накануне занял он московскую чернь, ропщущую на всякую новизну, уборкою улиц и домов. В полночь началось во всех церквах всенощное бдение, утром обедня с молебном при колокольном звоне. Между тем из разных частей города войско шло в Кремль с распущенными знаменами, барабанным боем и музыкою. Петр выстроил его на Ивановской площади и со всем своим двором слушал в Успенском соборе обедню, которую слу-

жил первенствующий митрополит рязанский Стефан. По окончании обедни митрополит говорил проповедь, в коей доказывал необходимость и пользу перемены в летосчислении... Петр поздравил всех с новым годом.

Потом государь угощал как духовных, так и светских знатных особ: придворные с женами и дочерьми были в немецком платье... Для народа перед дворцом и у трех триумфальных ворот, нарочно для торжества сооруженных, поставлены были столы и чаны с вином. Вечером весь город был освещен, сожжены были фейерверки при беспрерывной пушечной пальбе – и торжество заключилось во дворце балом и ужином» (85–86).

«Народ, однако, роптал,– пишет Пушкин.– Удивлялись, как мог государь переменить солнечное течение, и веруя, что бог сотворил землю в сентябре месяце, остались при первом своем летосчислении...» (86).

«Петр,– читаем мы далее,– послал в чужие края на казенный счет не только дворян, но и купеческих детей, предписав каждому являться к нему для принятия нужного наставления... Возвращающихся из чужих краев молодых людей сам он экзаменовал. Оказавшим успехи раздавал места, определял их в разные должности. Тех же, которые по тупости понятия или от лености ничему не выучились, отдавал он в распоряжение своему шуту Педриеллу (Pedrillo?), который определял их в конюхи, в истопники, несмотря на их породу» (86–87).

«Петр указал, чтоб женщины и девицы имели в обращении с мущинами полную свободу, ходили бы на свадьбы, пиршества и проч., не закрываясь. Он учредил при дворе и у бояр столы, балы, ассамблеи etc., повелел быть в Москве театральным представлениям, на коих и сам всегда присутствовал.

Жениху и невесте прежде брака повелено иметь свидания и запрещены браки по неволе...» (87).

Описав внутренние преобразования, совершенные Петром, Пушкин переходит к изображению внешнеполитических событий.

«Крымский хан старался всеми силами воспрепятствовать миру между Россией и Турцией. Он писал к султану, что Петр, ниспровергая древние обычаи и самую веру своего народа, утверждает все на немецкий образец, заводит новое многочисленное войско, строит флот и крепости на Днепре и на других реках, что ежели султан не заключит мира, то сей опасный нововводитель непременно погибнет от своих же подданных...» и т. д. (88).

«...Султан под влиянием Швеции готов уже был объявить войну. Однако же наш посланник Возницын, подкрепленный ан-

глийским и голландским (посланниками. — *И. Ф.*), успел заключить тридцатилетний мир, по коему Азов со старыми и новыми городками оставлен за Россиею. Петр торжественно праздновал заключение сего мира 18 августа» (88).

На другой же день он решил объявить войну Швеции.

Петр требовал (писал Пушкин ранее) удовлетворения за обиды, причиненные шведским губернатором в Риге русскому посольству, и возврата России города Нарвы либо Нейшанца (Канцы) с окрестной землею (место, где был построен впоследствии Петербург) (79). Пушкин в своей «Истории» неоднократно подчеркивает, что Петр желал «единственно иметь порт на Балтийском море» (155 и др.). На требования эти, предъявленные Петром в 1699 году, король — ответ которого был получен уже в 1700 году — «отвечал, что рижский губернатор был совершенно прав, а жалобы русского двора неосновательны. В требовании же пристани на Балтийском море отказано» (79—80).

«19-го августа Петр повелел шведскому резиденту Книпер-Крону через месяц выехать из Москвы, а кн. Хилкову объявить войну с объяснением причин оной и выехать в Россию. Объявив о том же во всех европейских странах через своих резидентов, Петр, однако, присовокуплял, что он готов утвердить мир», если шведский двор удовлетворит «праведные требования» его и его союзников (89).

«Карл вспыхнул, — читаем мы далее. — Кн. Хилков был задержан, все служители от него отлучены, серебряная посуда отдана на монетный двор, секретарь посольства и все русские служители арестованы. То же воспоследовало со всеми русскими купцами, с их приказчиками и работниками (несколько сот человек). Имения их конфискованы, а сами они, лишенные способов к пропитанию, были употреблены в тяжкие работы. Все почти умерли в темницах и в нищете. В объявлении о войне Карл называл царя вероломным неприятелем etc.

Петр, — пишет Пушкин, — был столь же озлоблен; и когда английский и голландский министры вздумали было от войны его удерживать, то он, в ярости выхватив шпагу (см. Катифорос)[37], клялся не вложить оной в ножны, пока не отомстит Карлу за себя и за союзников. Если же их державы вздумают ему препятствовать, то он клялся пресечь с ними всякое сообщение...» (89).

Начало Северной войны и описание Нарвского сражения должны были составить содержание следующих страниц книги Пушкина.

«23 сентября, — пишет он, — Петр со своею гвардией прибыл под Нарву и повелел делать апроши и батареи...

...Нарву бомбардировали. Несколько раз она загоралась. Надеялись на скорую сдачу города. Но у нас оказался недостаток в ядрах и в порохе. По причине дурной дороги подвозы остановились. Открылась измена. Бомбардирский капитан Гуморт, родом швед, бывший в одной роте первым капитаном с государем, ушел к неприятелю. Петр, огорченный сим случаем, всех шведских офицеров отослал внутрь России, наградив их чинами, а сам 18 ноября наскоро отправился в Новгород, дабы торопить подвоз военных снарядов и припасов, в коих оказывалась уже нужда. Главным под Нарвой оставил он герцога фон Кроа, а под ним генерала комиссара князя Якова Федоровича Долгорукова...

...Между фон Кроа и Долгоруким произошло несогласие. Осажденные, будучи хорошо обо всем извещены через изменника Гуморта, послали гонца к Карлу, уверяя его в несомненной победе и умоляя его ускорить своим прибытием» (90—91).

«Карл прибыл 18 (?) ноября с 18000 (?) отборного войска и тотчас напал на наших при сильных снеге и ветре, дующем нашим в лицо...» — пишет Пушкин, отмечая вопросительными знаками необходимость проверить день прибытия Карла и численность его армии[38]. Вслед за тем Пушкин указывает: «Все описание Нарвского сражения в Голикове ошибочно» (91). Указание это ясно свидетельствует об осведомленности Пушкина и критическом отношении его к сведениям, сообщаемым Голиковым в «Деяниях Петра Великого». Опустим здесь этот отвергаемый Пушкиным материал и посмотрим, на что считает он нужным обратить внимание в истории Нарвской битвы.

Рассказав об измене Гуморта (Гуммерта), Пушкин говорит о последовавшей сдаче в плен главнокомандующего русскими войсками герцога де Кроа. Он и вместе с ним другие иностранные генералы и офицеры «при первом нападении шведов, выехав из укреплений, сдались полковнику графу Штейнбоку. Феофан и Щербатов,— замечает Пушкин,— называют это изменою» (92).

Русское войско, несмотря на стойкое сопротивление петровской гвардии, было разгромлено. Однако Карл, подчеркивает Пушкин, вынужден был утвердить следующие условия перемирия:

«1) Всем русским генералам, офицерам и войску с шестью полевыми пушками свободно отступить.

2) С обеих сторон обменять пленных и похоронить тела.

3) Всю тяжелую артиллерию и всю остальную полевую оставить шведам, все же прочее, багаж полковой и офицерский etc., свободно с войском отвести...

Наши генералы хотели слышать подтверждение договора из уст самого короля: Карл на то согласился. Условия повторены были в его присутствии, и в соблюдении договора король дал руку свою князю Долгорукому» (93).

До сих пор изложение Пушкина носит строгий, деловой характер, но вслушайтесь в интонацию его рассказа о том, как сдержал Карл XII свое слово:

«Гвардия и вся дивизия Головина с военной казною, с оружием, с распущенными знаменами и барабанным боем перешли через мост, остальные последовали за ними сквозь шведское войско. Тогда шведы на них напали, обезоружили, отняли знамена – и потом отпустили за реку. Обоз был ограблен, даже некоторые солдаты были ими раздеты. Наши хотели противиться. Произошло смятение. Множество русских было убито и потоплено. Выговоренные пушки и амуниция были захвачены. Все генералы, многие офицеры и гражданские чиновники под различными предлогами удержаны в плену. Их обобрали, заперли в Нарве в холодном доме и, целый день продержав их без пищи, послали в Ревель, а потом и в Стокгольм, где вели их в триумфе по улицам до тюрем, им определенных.

Петр протестовал...» (93–94).

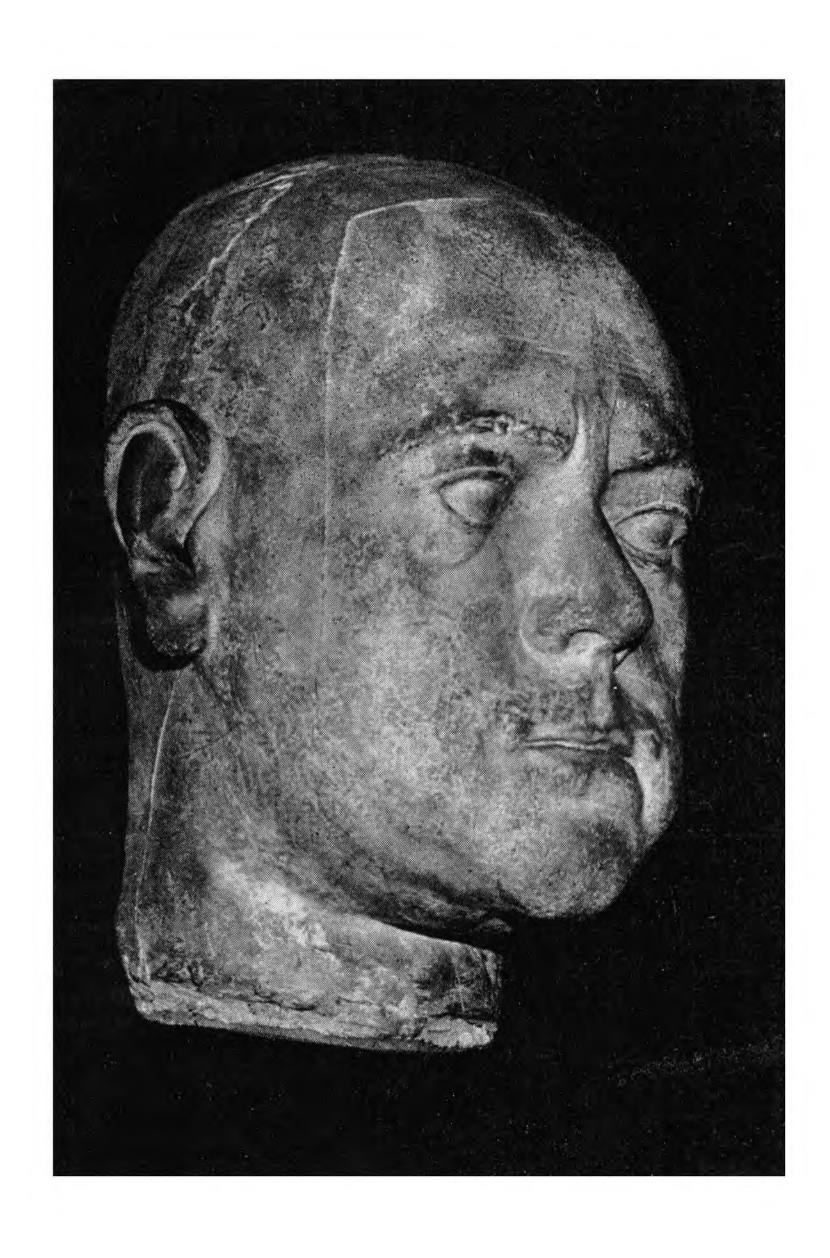
Строки, посвященные Пушкиным деятельности Петра после нарвского разгрома, заставляют вспомнить слова Маркса: «Нарва была первым серьезным поражением поднимающейся нации, умевшей даже поражения превращать в орудия победы»[39].

В пушкинской «Истории Петра» мы читаем: «Петр, получив известие о поражении, в то время как он спешил под Нарву с 12000 войска с амунициею и с военными снарядами, не упал духом и сказал только: «Шведы, наконец, научат и нас, как их побеждать» (95).

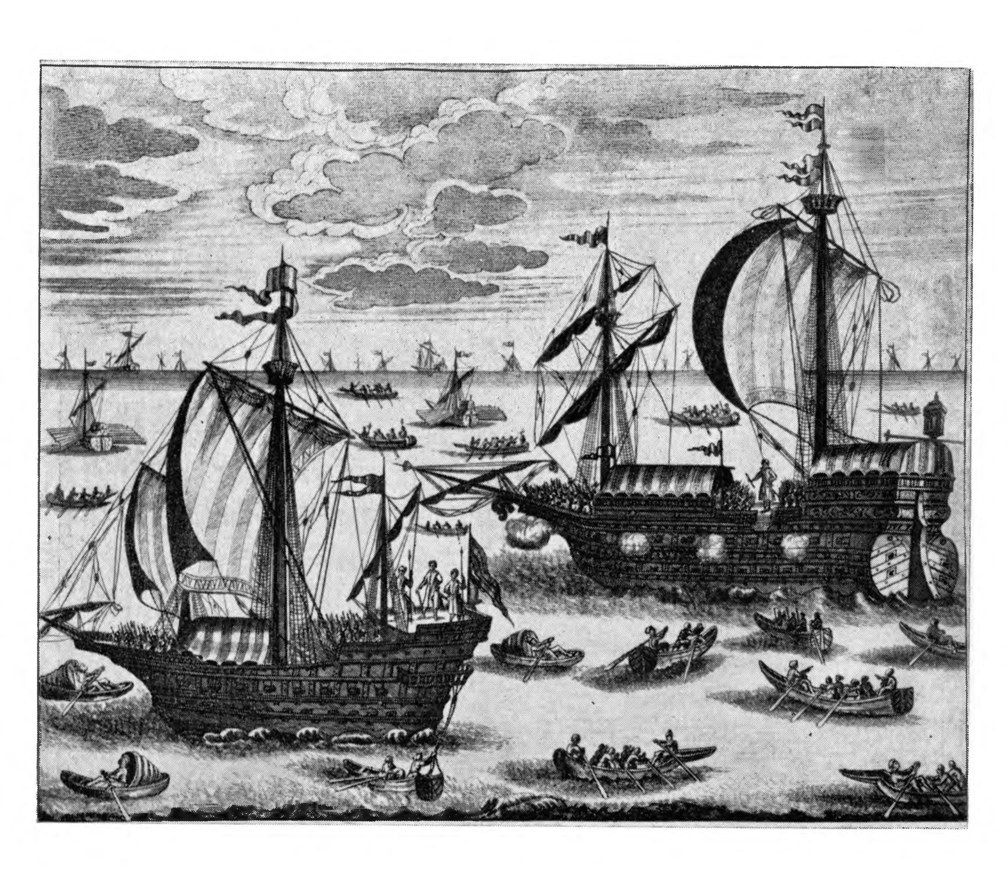
«5 декабря уже писал он строгое письмо Шереметеву, повелевая ему идти на неприятеля... «Болота замерзли,– писал Петр,– людей довольно; отговариваться нечем, разве болезнию, полученной меж беглецами – из коих майор** на смерть осужден» (95).

Пушкин пишет далее о том, что Петр «наградил свою гвардию, не положившую ружья даже по лишению своих начальников...», повелел в Новгороде «беспрерывно обучать новые полки», приказал перелить в пушки часть монастырских и городских колоколов, а на Волге, в глубоком тылу, готовить новые драгунские полки.

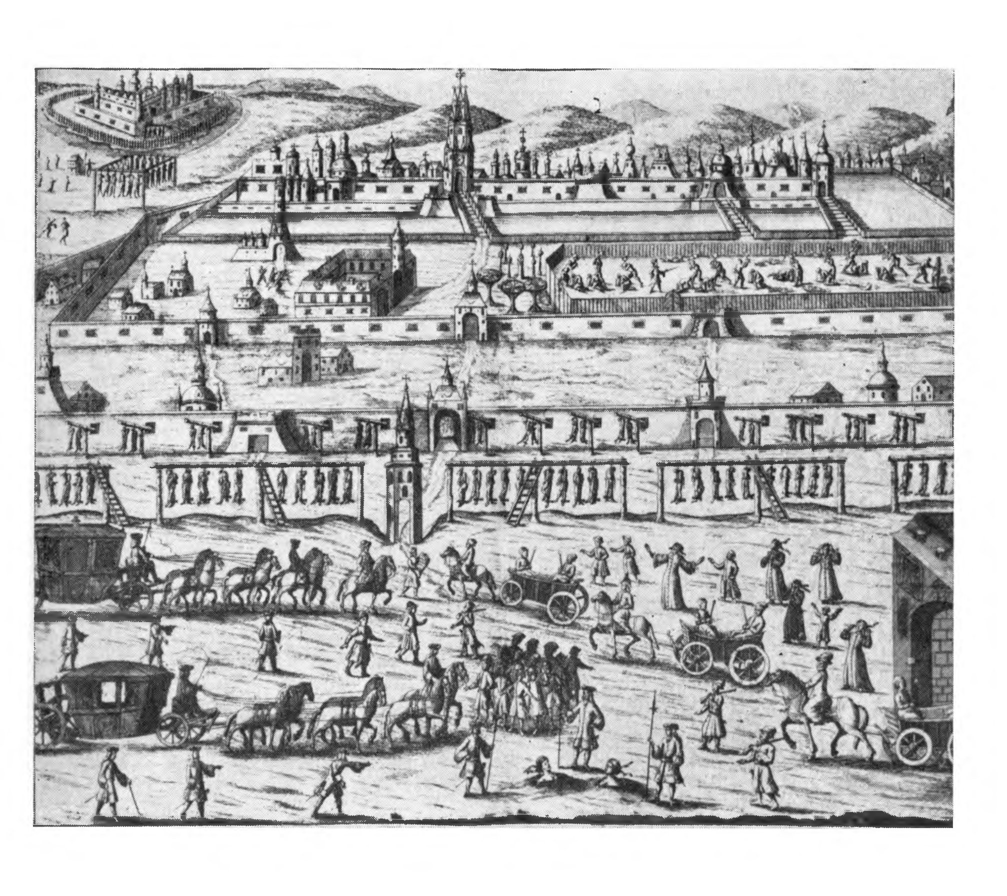
В связи с изменой под Нарвою иностранных офицеров, служивших в армии Петра, Пушкин пишет в последних строках, посвященных 1700 году: «Все полковники, вновь назначенные,



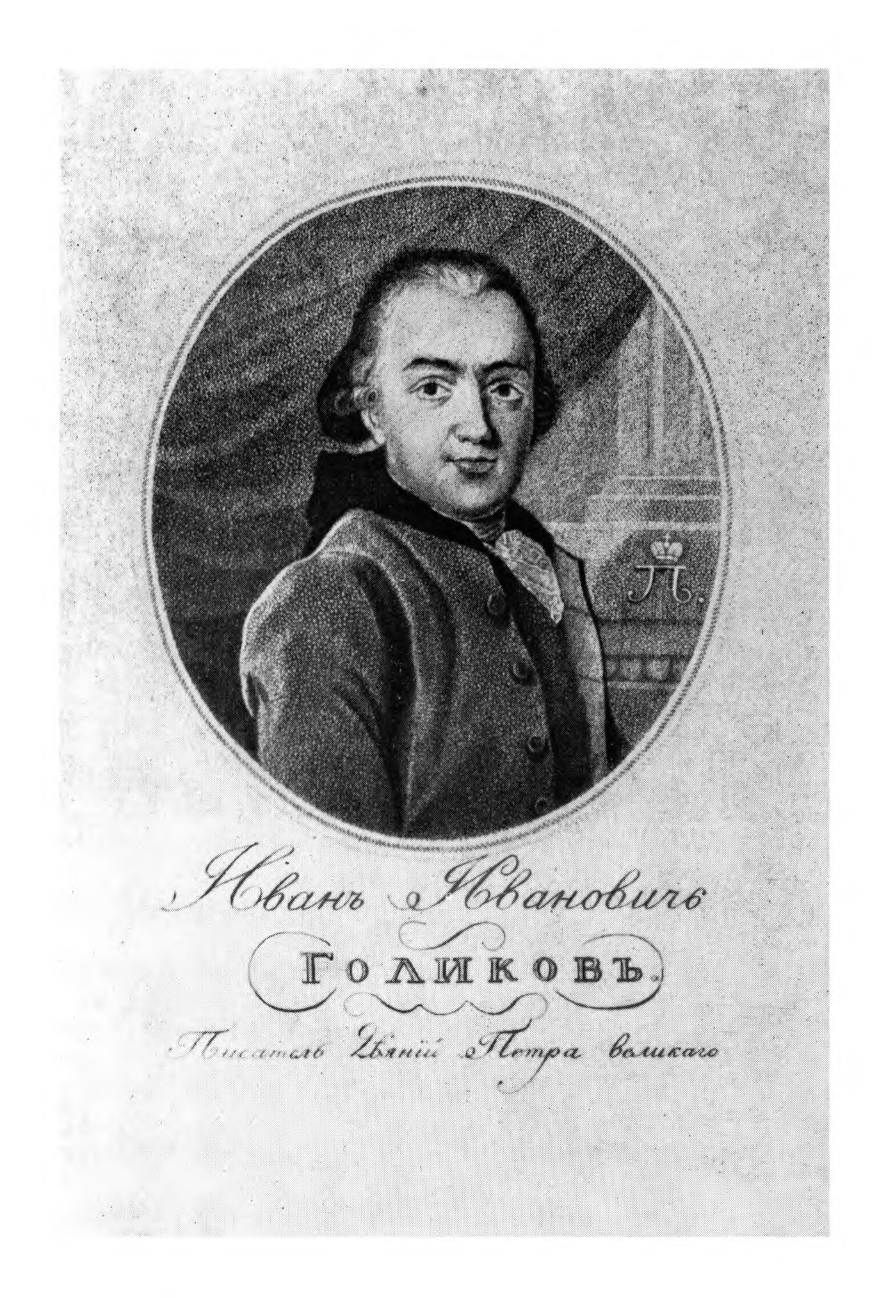
Прижизненная маска Петра I. (Снята К. Б. Растрелли в 1719 г.)



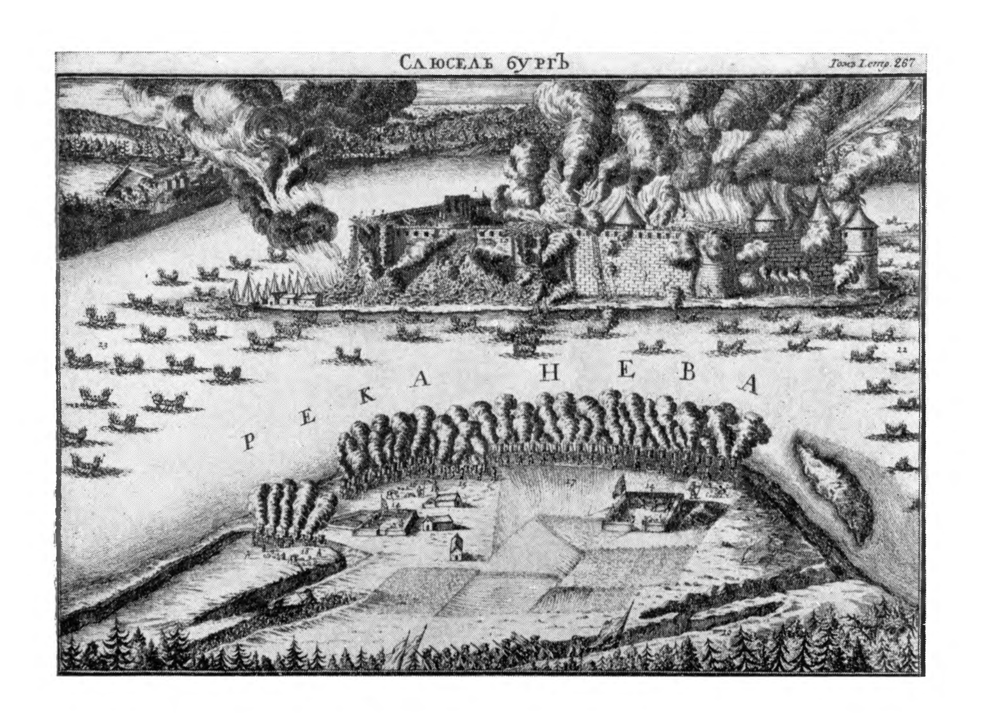
Корабли Азовского флота. 1696 г. *Гравюра из книги Корба «Дневник путешествия в Московское государство». Вена, 1700 г.*



Казнь стрельцов. Октябрь 1698 г. *Гравюра из книги Корба «Дневник путешествия в Московское государство». Вена, 1700 г. Фрагмент.*



Гравюра И. Розанова.



Взятие Нотебурга (Шлиссельбурга) в 1702 г.
Гравюра А. Шхонебека. 1703 г.



ЖИТIЕ
ПЕТРА ВЕЛИКАГО
IМПЕРАТОРА
И
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССIЙСКАГО,
ОТЦА ОТЕЧЕСТВА,

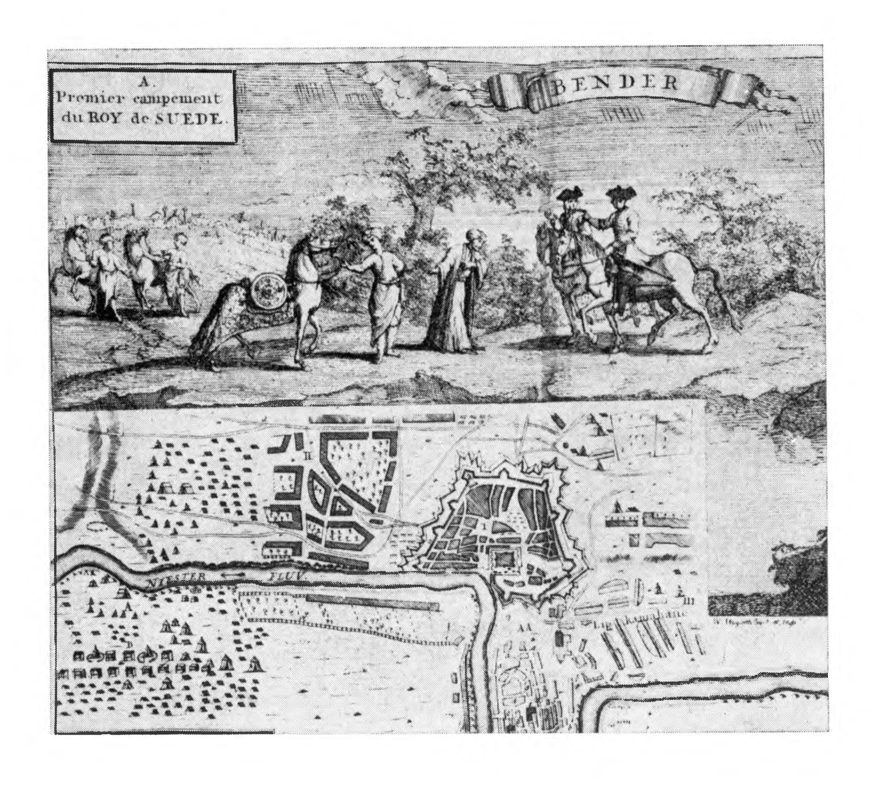
Собранное изъ разныхъ Книгъ, во Францiи и Голландiи изданныхъ, и напечатанное въ Венецiи, Медiоланѣ и Неаполѣ на дiалектѣ Iталiанскомъ, а потомъ и на Греческомъ:

съ коего
на Россiйской языкъ перевелъ
СТАТСКIЙ СОВѢТНИКЪ СТЕФАНЪ ПИСАРЕВЪ.



ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ
при Iмператорской Академiи Наукъ
1772 года.

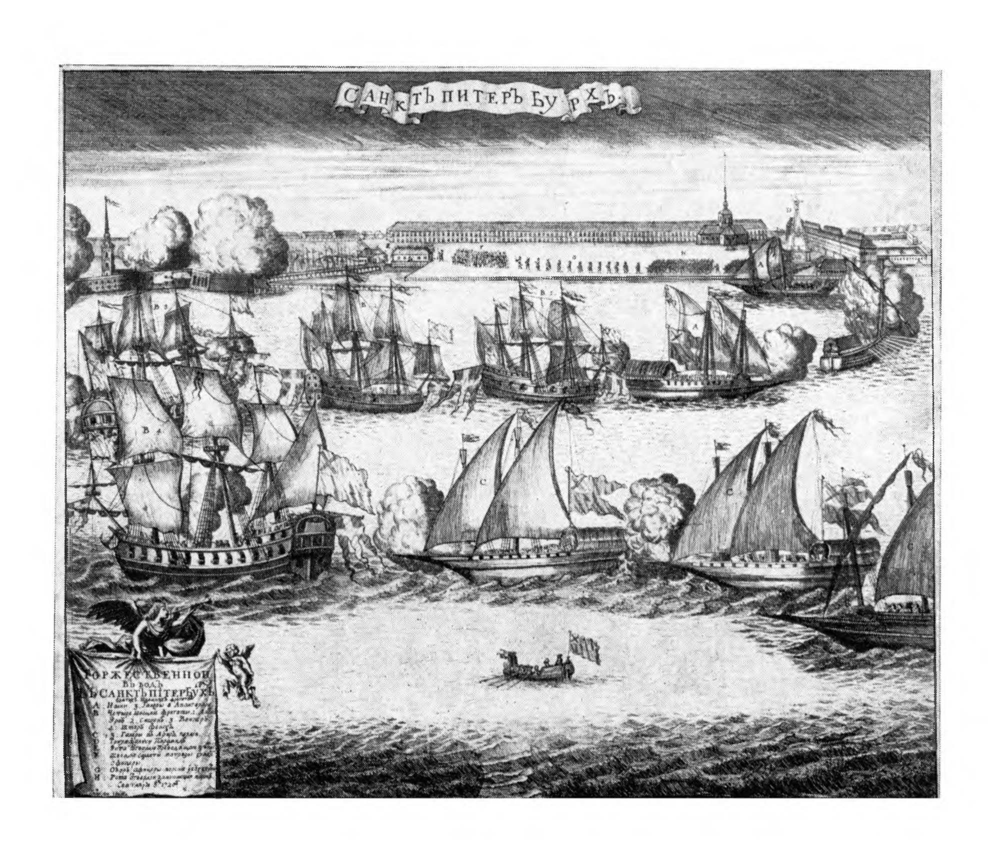
«Житие Петра Великого». *Фронтиспис и титульный лист русского издания книги Антонио Катифоро в переводе С. Писарева. СПб., 1772 г., сохранившейся в библиотеке Пушкина.*



Встреча Карла XII в Бендерах. Внизу план королевского лагеря близ Бендер. ***Гравюра из «Путешествия» де ла Мотрэ, изданного в 1727 г., которую Пушкин рассматривал, находясь в 1824 г. в Бендерах и Варнице. Фрагмент.***



Екатерина I.
Гравюра Дюпена с портрета работы Натье. 1717 г.



Ввод в Петербург взятых при Гренгаме шведских фрегатов.
Гравюра А. Зубова. 1723 г.



Восковое изображение Петра I.
Гравюра из книги О. Беляева «Кабинет Петра Великого». СПб., 1800, сохранившейся в библиотеке Пушкина.



Автопортреты Пушкина. ***1820 г., 1826 г.***

Страница черновика записки «О народном воспитании» (ноябрь 1826 г.), где Пушкин ссылается на свои будто бы целиком сожженные ранее «Записки». См. пометы Пушкина: вверху страницы (начало первой строки): «Александр — из Записок» и в середине страницы (строка 18-я): «Патриархальное вос[питание] из записок».



П. А. Вяземский (вверху), ниже слева — Пестель, вправо — Трубецкой и Рылеев; внизу повторяется профиль В. Ф. Вяземской.
Рисунки Пушкина. 1826 г.



Страница с остатками черновика отрывка «№ 1», входившего в состав «Записок» Пушкина. Внизу страницы — уцелевшие строки этого черновика, у левого края ее сохранились корешки листов, вырванных Пушкиным из тетради. Вверху страницы, в первом ряду профилей, Пушкин нарисовал Н. С. Алексеева (которому посвятил «Гавриилиаду»).



«Эскизы разных лиц, замечательных по 14 декабря 1825 года». На этом листе Пушкин в 1826 г. изобразил себя среди профилей декабристов: С. И. Муравьева-Апостола, Рылеева (см. правый край листа), С. И. Трубецкого (вправо — над головой Пушкина), Н. Н. Раевского (влево от нее), И. И. Пущина (в середине листа) и других.



Автопортрет. 1829 г.

были уже русские, кроме двух новгородских полков» (95–96).

Страницы, посвященные поражению под Нарвой, сменяются у Пушкина изображением – под 1702 годом – осады и взятия Нотебурга – древнего Орешка.

«Сентября 26 государь прибыл под Ноттенбург и в ожидании войска приказал делать шанцы.

27 прибыло Ладожским озером и остальное войско на 50 судах. На пути оно прогнало к Выборгу шведские суда. Лагерь, приуготовленный Петром, был занят. Суда повелено через лес на $^1/_2$ мили перетащить в Неву (что 27 и исполнено).

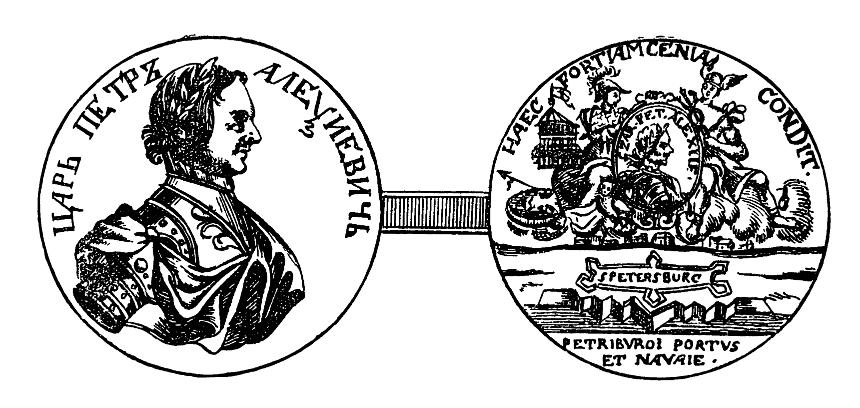
1 октября, – читаем далее, – Петр с 1000 гвардии на судах переправился на остров. Шведы, дав залп, оставили шанец, который без потери был нашими занят. Крепость осаждена со всех сторон. Прежде бомбардирования Петр предложил коменданту сдаться на честных условиях. Комендант просил четыре дня сроку и дозволения дать знать о том нарвскому обер-коменданту. Вместо ответа загремели наши пушки и полетели в город бомбы. Осажденные послали барабанщика... к Шереметеву с письмом от *комендантши* и всех офицерских жен, просящих о позволении выйти из крепости» (107–108). Эпизод этот привлек внимание Пушкина.

«Барабанщик, – пишет он, – приведен был на батарею к бомбардирскому капитану между крепостью и нашими апрошами. Петр отправил его с письменным ответом, в коем сказывал, что «не может допустить его до фельдмаршала, ибо он верно не захочет опечалить супругов разлукою. Ежели же благоволят они выехать, то пускай с собою выводят и мужьев».

«Из крепости, – замечает здесь Пушкин, – целый тот день стреляли по батарее Петра» (108).

«Наконец, крепость после отчаянного супротивления, приведенная в крайность (в стене сделаны были три пролома, и наши были уже почти на стенах), сдалась 11 октября. Петр позволил всему гарнизону выйти с воинскими почестями и со всем имуществом, на что дал им три дня, дозволя и караулу их остаться в крепости» (108).

Получив на другой день известие о том, «что генерал Крониорт идет на помочь Ноттенбургу», «Петр явился в проломе, объявил о том генерал-майору Чамберсу, повелев немедленно шведские караулы по городу сменить... Чамберс и Петр пошли по стенам для смены караула, первый направо, другой налево и сами расставили караулы. Потом комендант и гарнизон (шведский. – *И. Ф.*) вышли из крепости сквозь пролом с распущенными знаменами, барабанным боем, с пулями во рту и с четырьмя



Медаль *«На заложение Санкт-Петербурга».*
1703 г.

железными пушками. Им даны суда, и они отпущены к Канцам (Нейшанц)» (109).

«Петр явился в проломе...» В описании Пушкина передан воинский ритм, и мы, кажется, видим развод караула на крепостной стене и церемониальный выход из крепости капитулировавшего шведского гарнизона.

Медаль, выбитая в честь возвращения старой русской крепости, изображала портрет Петра, а на другой стороне, записывает Пушкин, «город бомбардированный с надписью — *Был у неприятеля 90 лет*» (111). После победы, пишет он, Петр назвал взятый город Шлиссельбургом (ключ-городом), видя в нем «ключ, коим отопрутся и другие лифляндские города» (109).

Следующий за взятием Шлиссельбурга — 1703 год явился годом основания Петербурга. Строки, посвященные Пушкиным рассказу об этом важнейшем историческом деле Петра (115), могли бы явиться в книге Пушкина началом новой главы:

«Посреди самого пылу войны Петр Великий думал об основании гавани, которая открыла бы ход торговле с северо-западною Европою и сообщение с образованностию. Карл XII был на высоте своей славы; удержать завоеванные места, по мнению всей Европы, казалось невозможно. Но Петр Великий положил исполнить великое намерение и на острове, находящемся близ моря, на Неве, 16 мая заложил крепость С.-Петербург» (*«одной рукою заложив крепость, а другой ее защищая...»* — говорит в скобках Пушкин, ссылаясь на Голикова).

Мы читаем дальше о прибытии в Петербург первых голландских кораблей:

«Петр всегда посещал корабельщиков на их судах. Они угощали его водкой, сыром и сухарями. Он обходился с ними дружески. Они являлись при его дворе, угощаемы были за его столом...» (До сих пор Пушкин остается как будто близок к источнику.) «Их уважали и, – добавляет Пушкин, – вероятно, не любили» (117). Как меняют все дело эти слова Пушкина!

Осада и взятие Нарвы Петром – исторический ответ на нарвский разгром, ознаменовавший начало Северной войны, – изображаются Пушкиным вслед за основанием Петербурга. Через четыре года после поражения под Нарвой «Петр, отпраздновав победу (то есть взятие Дерпта. – *И. Ф.*), – на шведских фрегатах со шведскими знаменами и штандартами – Чудским озером возвратился под Нарву».

«Артиллерия была привезена. Петр в воинском совете положил сделать пролом с Ивангородской стороны в бастионе, именуемом *Виктория*. В тот же час построены батареи и *кетели*».

Далее мы читаем: «30 июля, после молебствия, началась канонада в тот бастион и бомбардирование города. Произошли пожары; лаборатория с треском была взорвана. В девять дней сделан был в бастионе широкий пролом. С другой стороны бастион *Гонор* был обрушен и засыпал собою ров...

...В сей крайности Петр предложил через дерптского коменданта Шките о сдаче города на условие...

...Ответ Горна, пришедший на другой день, был гордый и обидный отказ. Петр повелел его прочесть перед войском. Озлобленные солдаты требовали, чтоб их вели на приступ. Военный совет определил быть приступу.

8 августа *приступные* лестницы тайно принесены в апроши. Все гренадеры посланы туда с повелением при начале приступа метать гранаты на бастионы. Против Виктории сделана новая батарея. – 9-го армия вся выступила из лагеря к апрошам. В ров с лестницами, по повелению Петра, посланы солдаты, бывшие в бегах и заслужившие казнь. Им приказано ставить их к обрушенному бастиону, по данному знаку лестницы были поставлены, и солдаты под начальством генерал-поручика Шенбека и генерал-майора Чамберса и Шарфа полезли со всех сторон на стены. Осажденные открыли огонь, взорвали подкоп и осыпали русских бочками, бревнами и каменьями. Русские не хладели, и в три четверти часа со всех сторон взошли на стены и погнали шведов до самого *старого города*, куда Горн скрылся вместе с ними. Он запер ворота и в знак сдачи повелел ударить в барабаны. Но рассвирепевшие солдаты ничего не слышали. Горн сам кулаками бил в барабан. Солдаты наши лезли на стену и кололи шведских барабанщиков. Другие устремились за бегущими до

самых Ивангородских ворот и менее нежели в два часа овладели всеми около него укреплениями. В Нарве поднялся грабеж. Солдаты били по улицам всех, кто им ни попадался, не слушая начальников, повелевающих пощаду. Петр кинулся между ими с обнаженной шпагою и заколол двух ослушников. Потом, сев на коня, обскакал нарвские улицы, грозно повелевая прекратить убийства и грабеж, расставил повсюду караулы (особенно по церквам и лучшим домам) и прибыл к ратуше, наполненной трепещущими гражданами. Петр, между ими увидев и Горна, в жару своем дал ему пощечину и сказал с гневом: «Не ты ли всему виноват? Не имея никакой надежды на помочь, никакого средства к спасению города, не мог ты давно уже выставить белого флага?» Потом, показывая шпагу, обагренную кровью, «смотри, — продолжал он, — это кровь не шведская, а русская. Я своих заколол, чтоб удержать бешенство, до которого ты довел моих солдат своим упрямством» (122—124).

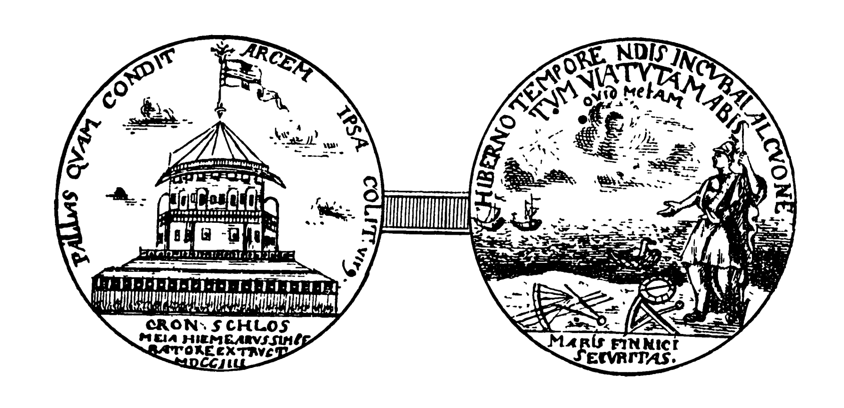
Рассказ о событиях 1704 года заканчивается описанием триумфального въезда Петра в Москву, последовавшего за нарвской победой. Взятый в плен комендант Нарвы проведен был по улицам Москвы. Пушкин пишет об этом, называя число пленных, именуя трофеи: «Ведены были генерал-майор Горн и 159 офицеров, несено 40 знамен и 14 морских флагов, везено 80 пушек... Знатнейшие люди всех сословий поздравляли государя. Народ смотрел с изумлением и любопытством на пленных шведов, на их оружие, влекомое с презрением, на торжествующих своих соотечественников и начинал мириться с нововведениями» (129).

Мы вправе предполагать, что это описание должно было стать заключением одной из намечавшихся глав «Истории Петра».

Исторический канун Полтавы составляет содержание следующих разделов пушкинской рукописи. Это время было для Петра критическим. Говоря о событиях 1707 года, Пушкин пишет:

«Порта[40] вошла тогда в сношение с Карлом, возмущаемая польским послом. Кубанские народы также шевелились. Карл хвалился явно, что придет в Москву и возмутит русских, уже готовых к бунту» (181).

Описание событий 1707 года Пушкин заканчивает знаменательными строками, которые мы уже приводили. Шведы, как помнит читатель, надеялись не только победить Петра и свергнуть его с престола, но и «выгнать» русский народ «со света», — даже не силой оружия, а «плетьми». Заканчивающий эти строки исторический ответ Петра на угрозы Карла XII: «Брат мой Карл хочет быть Александром» (то есть Александром Македонским),



Медаль *«На построение Кроншлота»*. 1703 г.

обозначил бы собой, вероятно, в композиции пушкинской книги канун Полтавы.

Петр заранее готовился встретить шведов. Он, пишет Пушкин на первой же странице «Истории Петра», посвященной событиям 1707 года, «дает указ, чтоб от границ на 200 верст поперек и в длину от Пскова, через Смоленск, до Черкасских городов – хлеба на виду ни у кого не было, а зарывать его в ямах или скрывать в лесах». И далее: «Петр определил в Польше генерального сражения не давать; если же обойтиться без него будет невозможно, то сразиться при своих границах. В Польше же стараться только о вреде неприятелю партизанскою войною» (179).

Весной 1707 года, пишет Пушкин, «Петр послал бомбардирского капитана Корчмина с повелением укрепить Кремль и Китай» (то есть Китай-город) (181).

«10-го сентября, – читаем мы в «Истории Петра» под 1708 годом, – Петр получил известие, что Карл перешел через Сожу и устремился к Украйне. В то же время узнали, что и Левенгаупт поспешно от Риги идет на соединение с Карлом». В воинском совете, пишет Пушкин, решено было: «...Шереметеву вслед за королем идти в Украйну; самому же Петру с гвардией и с несколькими кавалерийскими полками идти как можно поспешнее противу Левенгаупта, ибо главным делом было воспрепятствовать соединению» (Левенгаупт шел к королю с артиллерией и боевыми припасами). «Гвардия посажена была на лошадей».

«Наконец 27 сентября Петр увидел Левенгаупта, стоящего у деревни *Долгие Мхи* за рекою...» «Ночью Петр переправился

и нагнал его о полудни под Лесным, стоящего за болотами в месте неприступном» (195–196).

Описав ход сражения и рассказав о разгроме шведов, Пушкин замечает: «Победу под Лесным Петр называл потом матерью полтавской победы, последовавшей через 9 месяцев» (199).

«Мазепа,— читаем мы далее,— утешал шведского короля и обнадеживал его победою... Дабы отвратить от себя подозрение и между тем и для заготовления для шведов запасов,— он обнародовал универсалы, в коих увещевал жителей зарывать хлеб, деньги и имущество; в церквах повелел молиться о избавлении Малороссии от нашествия врагов православия. Эта излишняя хитрость повредила ему. Карл усумнился в искренности предателя, и народ, устрашенный и взволнованный, возненавидел шведов и остался тверд в своем подданстве.

Карл в недоумении остановился лагерем на берегу Десны и оставался без действия».

«Петр,— пишет Пушкин,— имел подозрение на старого гетмана... Мазепа хитрил и медлил...

...Он в укрепленном Батурине оставил своих единомышленников... а сам отправился к Десне. Перешед оную, он выстроил свое войско в виду приближавшихся шведов, и, когда все ожидали сражения, он вдруг, обратясь к малороссиянам, произнес сильную речь, в которой открыл настоящее свое намерение. Малороссияне, не приуготовленные ни к чему, испугались и один за другим обратились в бег. Осталось при гетмане около 2000 наемных его сердюков, с коими он и явился к шведскому королю» (199–200).

После этого Петр известил Апраксина «о измене Мазепы, 21 год верного и при гробе ставшего предателем». Князю Долгорукому на Дон Петр пишет: «Слава богу, что в замысле его и пяти человек нет». «...Многие из сообщников Мазепы оставили его...» — читаем мы в «Истории Петра». «Города прислали к Петру своих депутатов; мужики приносили русскому начальству письма Мазепы; даже нападали на шведов etc.» (201–202).

«Зима была жестока. Шведы терпели великую нужду,— чему,— замечает Пушкин,— виновен был и Мазепа, свезший весь провиант в укрепленные места, попавшие в руки русских». Говоря о занятии русскими Ромны, Пушкин добавляет: «Сие было в декабре, в жестокие морозы, когда и птицы мерзли в воздухе» (203).

Петр «не думал, чтоб зима прошла без главного сражения» («а сия игра в божиих руках»,— приводит Пушкин его слова).

«...Узнав из перехваченных писем, что Карл и Мазепа звали Станислава[41], Петр сказал: «Желал бы я, чтоб и он подоспел, тогда бы угостили мы трех королей» (204).

Наконец под 1709 годом в «Истории Петра» мы читаем:

«Петр получил известие, что Полтава осаждена, что Карл несколько раз уже приступал к городу и в сильной блокаде его держит, и 31 мая по почте поехал в армию.

Мазепа уверял Карла, что взятие Полтавы привлечет к нему Малороссию. В ней заготовлены были магазейны (в коих шведы нуждались). Взятие Полтавы, – говорит Пушкин, – открывало королю сообщение с поляками, казаками и татарами и дорогу в Москву. Карл не сомневался в своем счастии, в кое он всегда верил...»[42] (213–214).

«Нам необходимо было усилить Полтавский гарнизон», – замечает Пушкин, рассказывая далее о том, как 7 мая русские с боем ввели в осажденную шведами Полтаву вспомогательный отряд. Осада города, однако, длилась весь май, она продолжалась в июне; наконец «осажденные письмами, бросаемыми в пустых бомбах, дали знать, что у них недостаток в порохе и что неприятель уже вкопался сквозь вал и в полисад.

Петр собрал совет 16-го июня. В нем положено, перешед реку, дать генеральное сражение, как единственный способ освободить город» (216).

Указав, как Петр расположил свои силы, готовясь к сражению, Пушкин пишет:

«25-го Карл, осматривая сам наш лагерь, ранен был в ногу etc.». Что скрывается под этим «etc.», объясняет нам одно из примечаний Пушкина к «Полтаве»: «Ночью Карл, сам осматривая наш лагерь, наехал на казаков, сидевших у огня. Поскакал прямо к ним и одного из них застрелил из собственных рук. Казаки дали по нем три выстрела и жестоко ранили его в ногу».

«26-го Петр осматривал положение мест, располагая план сражения. Но Карл его предупредил» (216).

«27 июня до восхождения солнечного неприятель тронулся с намерением атаковать нашу конницу...» – пишет Пушкин в «Истории Петра», намечая вслед за тем на основе «собранных из достоверных источников» «Деяний Петра Великого» ход Полтавского сражения.

В стихах «Полтавы» бой изображен был Пушкиным поэтически-обобщенно, и один из современников, недовольный поэмой, простодушно критиковал описание Полтавского боя – за недостаток точности.

«Военный человек, – писал он, – скажет на это: если кавалерия своя и неприятельская рубятся между собой, то ядра не мо-

гут между ними прыгать и разить потому, что в толпу неприятеля, смешанного с своими, стрелять не станут. Ядра могут шипеть в крови, когда раскалены, но раскаленными ядрами в полевых сражениях не стреляют. Скрежету в битвах поныне не слыхивали, а прочее все благополучно и нового ничего нет, о чем донесть честь имею»[43]. Этому критику «Полтавы» нравились, видимо, описания сражений, о которых еще в сатире пушкинских времен было сказано: «В стихах реляция!..»

Правда, в черновиках «Полтавы» среди стихов, посвященных Полтавскому бою, можно прочесть:

Сраженья общего предтечи
Повсюду частные бои...

Однако эти слишком точные определения, вернее термины, уместные в реляции или в специальном, военно-историческом описании, но выпадавшие из поэтического строя поэмы, Пушкин оставил в черновой рукописи «Полтавы».

В «Истории Петра» ход Полтавского боя еще только намечен Пушкиным, но намечен, в отличие от поэмы, конкретно, и мы читаем: «Главная шведская армия пробивалась сквозь редуты, наша конница сбивала неприятельскую (взяв 14 штандартов и знамен). Неприятель беспрестанно подкреплял свою конницу, а нам сие делать было невозможно; предводитель оной, храбрый Рен, ранен был в бок. Петр повелел Боуру (заступившему Рена) отступить справа от нашего ретраншемента, с наблюдением, чтоб гора была у него во фланге, а не назади (дабы неприятель не мог утеснить ее под гору). Боур стал отступать, а неприятель его преследовать. Тогда шведы очутились под огнем нашего укрепления и приняты были пушками во фланг. Они отступили на пушечный выстрел и выстроились в боевом порядке» (217).

Сохраненные в нашей памяти только гениальными стихами поэта имена разбитых шведских генералов («Уходит Розен сквозь теснины, // Сдается пылкий Шлиппенбах») появляются пред нами вновь на страницах «Истории Петра», где читаем: «Неприятель был порублен. Генерал-майор Шлиппенбах сдался, а генерал-майор Розен отступил к полтавским апрошам» (218).

Сказав о том, как Петр «вывел из укрепления свою армию и выстроил ее», Пушкин продолжает: «Петр объехал со своими генералами всю армию, поощряя солдат и офицеров, и повел их на неприятеля. Карл выступил ему навстречу: в 9-м часу войска вступили в бой. Дело не продолжалось и двух часов — шведы побежали» (218–219).

В «Истории Петра» Пушкин приводит точные, сухие цифры,



Медаль *«На Полтавскую баталию»*. 1709 г.

перечисляя потери шведов, трофеи и пленных. Он пишет: «На месте сражения сочтено до 9234 убитыми. Голиков погибшими полагает 20 000, на три мили поля усеяны были трупами». О шведах же, оставшихся в живых, сказано: «Левенгаупт с остальными бежал, бросая багаж и коля своих раненых...»

«Карл, упавший с качалки, был заблаговременно вынесен и увезен к Днепру. Он соединился с войском своим под Переволочною; тут оставил он его и бежал в турецкие границы с несколькими сот драбантов и с генералами Лангерскроном и Шпаром» (219). Это был тот самый Шпар (Спарре), который был заранее уже назначен Карлом «московским губернатором».

Вскоре «Карл прислал Мардофельда в Полтаву...». «Карл,— читаем мы в «Истории Петра»,— присылал его с предложением о мире на тех условиях, кои (ранее, до Полтавского боя.— *И. Ф.*) предлагал Петр. Ему отвечали, что уже поздно...» (221).

Сказав о том, что ставленник Карла на польском престоле Лещинский и Крассов бежали после полтавского разгрома в Померанию, Пушкин пишет: «Сначала они рассеивали ложные слухи о Полтавской битве; наконец Лещинский в Померании отказался от короны». И добавляет: «Польские вельможи отовсюду съезжались к Петру с поздравлениями...» (224).

«23 сентября,— читаем мы далее,— Петр прибыл в Варшаву...» (225).

«26-го... встретил его Август» — прежний союзник Петра, вступивший после ряда своих поражений в соглашение с Кар-

лом, но теперь снова объявленный Петром законным королем Польши. Король при встрече с царем смутился и изменился в голосе и в лице. Петр, поздравляя его, сказал ему, что прошедшего поминать не должно, что он знает, что за необходимость заставила короля поступить вопреки собственной пользы; но между тем, – замечает Пушкин, – Петр имел на себе ту самую шпагу, которую Август подарил Карлу XII» (226).

А изображая далее свидание Петра с Фридрихом, королем прусским, Пушкин приводит свидетельство современника-мемуариста, рассказывающего, что «Петр подарил Фридерику шпагу, которую носил он под Полтавою, и, несмотря на то, что она была тяжела, длинна и неловка, король все время носил ее на себе» (228).

Рассказ о двух этих шпагах выразительно характеризует отношения между Петром,победителем и королями, искавшими теперь союза с ним.

Сразу же после полтавской победы, говорится в «Истории Петра», Петр «объявляет Колычеву за тайну о будущей морской кампании...» (222–223).

Завоевание Прибалтики, взятие Выборга и Риги сменяется в «Истории Петра» описанием Турецкой кампании, неудачного Прутского похода Петра.

Пушкин отвергает рассказы о том, что находившаяся в лагере Петра при Пруте Екатерина отослала, будто бы «тайно от Петра», «деньги и алмазы в подарок визирю...», чтобы купить этой ценой мир и избавить Петра и его армию от угрожающего разгрома. «Все это вздор», – замечает Пушкин (269).

Рассказав о том, как Карл прискакал из Бендер «о дву конь» к визирю, когда мирный трактат «был уже разменен», Пушкин пишет: «Визирь встретил его за лагерем как будто нечаянно. Карл грозно выговаривал ему, как смел он без его ведома кончить войну, начатую за него; турок отвечал, что войну вел он и кончил для пользы султана. Карл требовал от него войска, обещая русских разбить и теперь. Визирь отвечал: «Ты уже их испытал, и мы их знаем. Коли хочешь, нападай на них со своими людьми, а мы заключенного мира не нарушим». Карл, – пишет Пушкин, – разорвал шпорою платье хладнокровного турки, поскакал к крымскому хану, а оттуда в Бендеры...» (270).

Неудача Прутского похода не смогла помешать укреплению России на Балтике.

Изображение Гангутского боя – «морской Полтавы» – должно было составить содержание одного из важных эпизодов «Истории Петра», в которой Пушкин отдал так много внимания превращению России в великую морскую державу.

Страницы, которые должны были быть посвящены сражению при Гангуте, только намечены Пушкиным. Под 1714 годом мы читаем:

«16 июля, осматривая новоприбывший из Голландии корабль, Петр получил от Апраксина известие, что шведский флот у Ангута, а что адмиралу пройти туда невозможно. Апраксин требовал от господина шаутбенахта[44] или диверсии, или его прибытия во флот...

...20-го числа прибыл Петр в Твереминд к Апраксину; на другой день осмотрел неприятеля...

...Твереминдская гавань имеет узкий выход. Вывести из оной флот в глазах неприятеля было опасно, к тому же неприятель мог оный и запереть. Петр положил до 80 легких галер перетащить через перешеек и воспользоваться диверсией» (334).

«...27 июля весь наш галерный флот выступил, дабы пробиться сквозь шведский (на коем было до 1127 пушек). Он прошел благополучно под страшным огнем; одна только галера села на мели и взята. Апраксин соединился с Змаевичем и послал к командиру шведской эскадры... чтоб он сдался. Получа отказ, Петр с генералом Вейдом напал на эскадру; бой продолжался от третьего до пятого часа, эскадра была взята, командир оной шаутбенахт Эрншильд был взят в шлюпке, на которой хотел уйти...» (335).

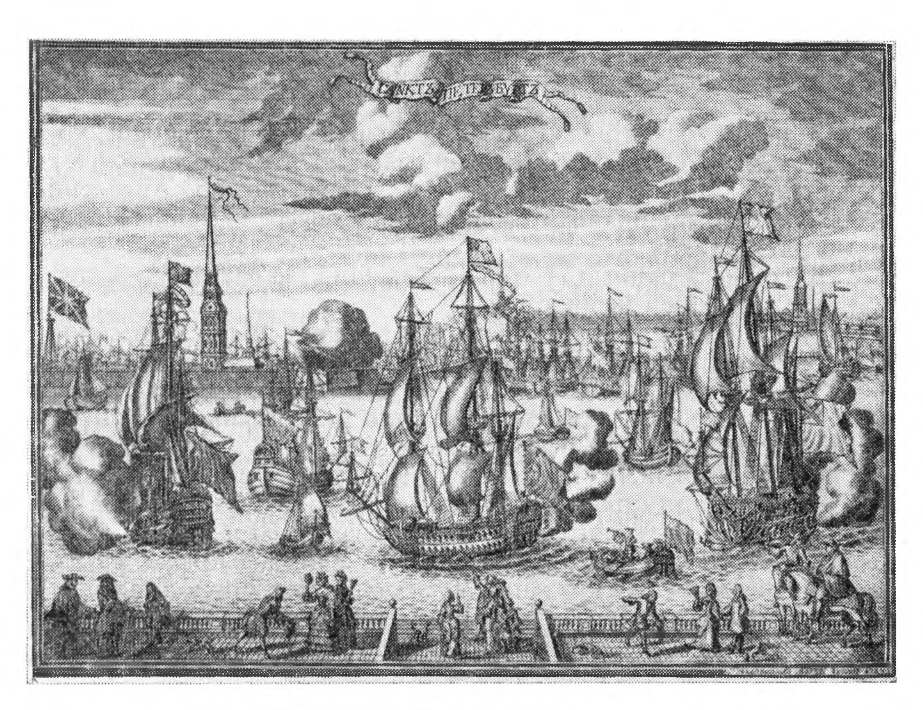
Пушкин пишет: «Сия победа и завоевание Аланда привели в ужас Швецию...» (336).

«...Петр торжествовал морскую победу свою, как Полтавскую» (337).

После громких побед, одержанных на суше и на море, когда дело Петра казалось уже обеспеченным прочно, возникает процесс царевича Алексея, который должен был явиться содержанием чрезвычайно важной главы пушкинской книги о Петре. Страницы, посвященные истории царевича и суду над ним, раскрывают перед нами творческую работу Пушкина-историка. На страницах этих проступают куски прозы, которые вошли бы, по-видимому, в окончательный текст «Истории Петра» без изменений или почти без изменений. Но многое записано здесь Пушкиным только для себя, – тем интереснее в ряде случаев эти записи, опубликование которых в пушкинские времена было немыслимо.

Уже в первой, вступительной тетради пушкинской «Истории Петра» мы читаем:

«Царевич Алексей Петрович родился [в] 1690 году, февраля 29. До 1699 года находился он при матери своей, царице Евдокии Федоровне, когда была она заключена в Суздальский мо-



Петербург. Вид на Петропавловскую крепость.
Гравюра А. Зубова. 1727 г.

настырь. Суеверные мамы и приставники ожесточили его противу отца, а духовные особы при обучении его православию вкореняли в нем ненависть к нововведениям. При чтении священных книг останавливали его при некоторых текстах, выводя разные из оных политические заключения etc. Петр до самого того времени не имел времени им заняться. По истреблении же стрельцов и заключении царицы, обратил он на него свое внимание и приставил к нему двух господ Нарышкиных, ошибочно полагая их к себе приверженными. В 1701 году Петр назначил Меншикова обер-гофмейстером к царевичу, а гофмейстером министра своего статского и военного советника фон Гизена (или Гуйссена). Сей Гизен написал «Историю Петра 1-го», но не кончил оной. Петр дал ему письменную инструкцию (от 3 апреля 1703 года), чему должен он обучать царевича; между тем ожесточенный отрок выучился только притворствовать. Потом Петр произвел его сержантом гвардии, брал его с собою в походы; в разных сражениях, при взятии Ноттенбурга (Шлиссельбурга),

Копорья, Ямбурга и Нарвы, царевич находился при нем, но в безопасности. Он сопровождал отца во время его путешествий в Польшу, в Архангельск etc. Петр употреблял его и в государственные дела, а перед турецким походом поручил ему и главное правление» (15–16).

Говоря под 1718 годом в «Истории Петра» о деле царевича Алексея, Пушкин подчеркивает вначале, что Петр *«уважал его ум»* и «несколько раз давал ему важные поручения, в 1708 при Долгоруком посылал на бунтующий Дон, в 1711 – в Польшу» (385). Сообщая далее, что Петр «женил его на принцессе Волфенбительской» (386), Пушкин замечает: «Она, кажется, изменила мужу с молодым Левенвольдом. Царевич ее разлюбил и взял себе в наложницы чухонку...» (там же). «Чухонке» этой – Ефросинии – суждена была, как известно, плачевная роль в судьбе царевича Алексея.

Не становясь как историк на сторону Алексея, Пушкин стремился выяснить действительную картину связанных с процессом и смертью царевича событий, многие из которых представлялись современникам поэта таинственными и долго еще оставались неизвестными.

В «Истории Петра» под 1718 годом мы читаем:

«Царевич был обожаем народом, который видел в нем будущего восстановителя старины. Оппозиция вся (даже сам князь Яков Долгорукий) была на его стороне. Духовенство, гонимое протестантом царем, обращало на него все свои надежды. Петр ненавидел сына, как препятствие настоящее и будущего разрушителя его создания» (385–386).

Пушкин, как видим, подчеркивает, что ненависть Петра к сыну возникла не сразу – и по причинам государственным, а не личным.

Мы читаем далее о том, как бежавший за границу царевич «привезен был в Москву в конце января Толстым и Румянцевым.

3 февраля велено было гвардейским полкам и двум ротам гренадер занять все городские ворота. Знатные особы, – пишет Пушкин, – собрались *в столовой Кремлевского* дворца. Туда прибыл и Петр. Царевич без шпаги был приведен и, пав к ногам отца, подал ему повинное письмо, в коем просил помилования» (386).

Петр принял письмо и объявил сыну прощение, но, читаем мы в «Истории Петра», «приказал ему объявить о всех обстоятельствах побега и о всех лицах, совстовавших ему сию меру или ведавших об оной. Буде же утаит, то прощение будет не в прощение» (386).

После этого царевич объявлен был «от наследства престола отрешенным», и знатные особы, духовенство и народ присягнули в Успенском соборе новому наследнику — малолетнему Петру Петровичу (сыну Екатерины).

В тот же день обнародован манифест, указывает Пушкин, называя том и страницы голиковских «Деяний», где напечатан манифест («Деяния Петра Великого», т. VI. М., 1788, с. 3), и отмечая тем самым необходимость использовать этот замечательный документ в окончательном тексте «Истории».

В манифесте Петр не только лишил своего «перворожденного сына» престола, но и в сознании своей правоты обнародовал всю историю царевича, не желавшего «...следовать нашей воле и обучаться тому, что наследнику государства пристойно...».

Манифест Петра говорил о распре Алексея с отцом и побеге его за границу, где, отдавшись под покровительство австрийского императора, царевич просил не только скрыть его от отца, но чтоб цесарь ему «оборону свою против нас и вооруженною рукою дал».

«4-го, — пишет Пушкин, — начался суд.

Петр предложил несчастному следующие запросы, угрожая уже лишением живота:

1) Притворно намереваясь постричься, с кем стал советоваться и кто про то ведал?

2) Во время болезни царя не было ли *слов для забежания* к царевичу, в случае кончины государя?

3) Давно ли стал думать о побеге и с кем? — с кем и для чего писал *обманное* письмо? Не писал ли еще кому?..

6) Какое письмо писал из Неаполя и кто из цесарцев принуждал его оное написать?» (Ранее Пушкин указывает, что царевич «объявил о двух своих письмах, писанных им из Неаполя будто бы по наущению Карла VI, — одно Сенату, другое архиереям».)

В заключение Петр предлагал царевичу «объявить сие и все, что есть на совести, или впредь не *пенять*» (387).

Вслед за тем Пушкин приводит ответы царевича на вопросы Петра, рассказывает о московском следствии, во время которого Алексей содержался в Преображенском, и пишет о том, что «начался розыск» над сообщниками царевича.

«Дворецкий И. Афанасьев показал, что царевич гневался на графа Головкина и его сына Александра да на князя Трубецкого за то, что навязали они ему *жену чертовку*, грозясь посадить их на кол и проч.

Федор Еварлаков донес на неохоту, с которой царевич ездил в поход.

Царевич оправдывался тем, что был пьян, когда то говорил — в прочем во всем признался» (389).

О любовнице Алексея — Ефросинии — Пушкин пишет: «Девка царевича не была еще привезена» (389).

Далее мы читаем:

«В сие время другое дело озлобило Петра: первая супруга его, Евдокия, постриженная в Суздальском Покровском монастыре, привезена была в Москву... Оба следственные дела спутались одно с другим. Бывшая царица уличена была в ношении мирского платья, в угрозах именем своего сына, в связи с Глебовым; царевна Мария Алексеевна в злоумышлении на государя; епископ Досифей в лживых пророчествах, в потворстве распутной жизни царицы и проч.

15 марта казнены Досифей, Глебов, Кикин казначей и Вяземский...

...Царица высечена и отвезена в Новую Ладогу» (390).

«...Государственные дела шли между тем своим порядком» (там же).

«Дело царевича, казалось, кончено. Вдруг оно возобновилось...» — пишет Пушкин, сопровождая свои строки выразительным многоточием. «Петр велел знатнейшим военным, статским и духовным особам собраться в Петербург (к июню)» (397). Петр с самого начала объявил сыну, что если тот не признается во всех своих винах, «то прощение будет не в прощение». Теперь, когда дело царевича было, «казалось, кончено», неожиданно выяснилось, что он утаил во время московского следствия некоторые обстоятельства и документы, имевшие большую важность в глазах Петра.

После окончания московского следствия «дьяки представили черновые письма царевича к сенаторам и архиереям», писанные из Неаполя (398). Между тем царевич утверждал, что письма эти он писал прямо набело.

«В мае, — сообщает Пушкин, — прибыл обоз царевича, а с ним и Афросиния», скрывавшаяся во время побега царевича вместе с ним за границей (397). «Изветы ее... были тяжки, царевич отпирался. Пытка развязала ему язык; он показал на себя новые вины» (398).

Пушкин проявляет таким образом осведомленность о самых тайных обстоятельствах возобновившегося следствия. «Царевич, — продолжает он, — более и более на себя наговаривал, устрашенный сильным отцом и изнеможенный истязаниями» (398).

Алексей и духовник его, протопоп Яков, признались, что царевич желал смерти отцу. Но особенно тревожила Петра воз-

можная связь царевича и его сторонников с оппозиционными вельможами и духовенством и надежды Алексея, связанные с недовольством находившихся в Мекленбурге гвардейских полков.

Касаясь подготовки судебного приговора над царевичем, Пушкин замечает: «Гражданские чины, порознь, объявили единогласно и беспрекословно царевича достойным смертной казни. Духовенство, как бабушка, сказало надвое» (399).

«24 июня, – читаем мы далее, – Толстой объявил в *канцелярии* Сената новые показания царевича и духовника его (расстриги) Якова» (399).

Упомянув о данных, как мы знаем, под пыткой показаниях царевича от 19 и 24 июня 1718 года, которые Толстой объявил 24 июня Сенату, Пушкин поясняет: «Он представил и своеручные вопросы Петра с ответами Алексея своеручными же (сначала – твердою рукою писанными, а потом после кнута – дрожащею) *(от 22 июня)* [45].

И тогда же приговор подписан.

25-го (июня. – *И. Ф.*) прочтено определение и приговор царевичу в Сенате.

26-го царевич умер отравленный.

28-го тело его перенесено из крепости в Троицкий собор.

30-го погребен в крепости в присутствии Петра.

Есть предание, – пишет Пушкин, – в день смерти царевича торжествующий Меншиков увез Петра в Ораниенбаум и там возобновил оргии страшного 1698 года» (399).

Рассказав о смерти царевича, Пушкин замечает: «Петр между тем не прерывал обыкновенных своих занятий» (399).

Мы видим, как важны государственные заботы Петра: экспедиция Бековича в Среднюю Азию, строительство флота и Петербурга, мирные переговоры со Швецией («Петр прибыл к Аланду с флотом 2 августа, – пишет Пушкин, – дабы ускорить ход переговоров» – 401) – вот важнейшие из числа этих дел.

Пушкин не скрывает жестокости Петра, но показывает, что судьба Алексея определена была не ею. В отличие от Вольтера, рисующего мелодраматическую сцену запоздалого примирения Петра с виновным сыном и оправдывающего Петра в своей книге о нем рассуждениями и примерами из римской истории, Пушкин не только говорит о государственной необходимости, вызвавшей процесс и смерть царевича Алексея, но, как великий писатель-реалист, конкретно показывает историческое значение дел Петра, ход которых могла бы остановить реакционная оппозиция, видевшая в царевиче свою надежду.

Содержанием важной главы «Истории» должен был явиться Персидский поход Петра (1722 г.), которому Пушкин посвятил

замечательные страницы. Мы приводили уже из них строки, представляющие собой образец исторической прозы Пушкина, посвященной Востоку. Глава эта в целом далеко не обработана и не завершена, но в подготовительном тексте Пушкина сказывается глубокое постижение Востока, и мы узнаем автора «Подражаний Корану» и «Путешествия в Арзрум», как в строках «Истории Петра», посвященных войне с Карлом и измене Мазепы, узнаем автора «Полтавы».

Пушкин пишет, например, о том, как «Рящинский» (то есть рештский) визирь старался задержать шахского посла Измаил-бека, чтобы воспрепятствовать заключению выгодного для России мира. Русский консул Аврамов и Шипов помешали визирю.

Мы читаем: «Рящинский визирь помышлял сделаться самовластным и независимым. Он боялся сношений Тахмаса с Петром и всячески задерживал Измаил-бека, надеясь заставить шаха переменить мысли свои. Аврамов это проник, и Шипов предложил послу перебраться на судно и ехать в Астрахань.

Визирь ожидал уже от шаха повеления послу остаться. Аврамов поехал навстречу курьера, дождался его и задержал, сколько нужно было времени. А Соймонов между тем выпроводил посла под предлогом счастливого положения звезд; и Измаил поехал в начале января 1723 года, и визирь получил указ шаха уже поздно» (437).

«...Петр,— пишет Пушкин,— 27 июля прибыл в Петербург, куда прибыл и посланник шаха Измаил-бек... 10-го августа...

...12-го заключен с Персиею трактат.

Дагестан, Ширван, Гилань, Мезандеран и Астрабат уступлены России... 14-го сентября дана послу отпускная аудиенция — и тогда же Петр получил известие о взятии Баку» (445—446).

Завоевывая побережье Каспийского моря, Петр искал торгового пути в Индию. В последние дни жизни Петр, пишет Пушкин, назначил капитана Беринга «для открытия пути в Восточную Индию через Ледовитый океан» (460).

Смертью Петра заканчивается пушкинская «История» (в том виде, как она дошла до нас). Описание ее предварено у Пушкина рассказом о том, как, спасая тонущий бот, «Петр выскочил и шел по пояс в воде, своими руками помогая тащить судно», отчего возобновилась его старая болезнь (457).

Описание смерти Петра было опубликовано более ста лет назад Анненковым, принявшим его за программу будущего исторического рассказа, в то время как оно относится к числу замечательных, хотя не во всем доработанных еще страниц пушкинской прозы.

Пушкин изображает предсмертные страдания Петра, изба-

вляя этим себя, в отличие от Голикова, от необходимости доказывать, что Петр не был отравлен Екатериной; мы видим, что смерть его наступила от давней болезни.

Как выразительно изображает Пушкин умирающего Петра, уже лишенного речи, недавно еще мощного, а теперь бессильного выразить свою волю! Петр, который самовластно отменил древний порядок престолонаследия и должен был сам избрать и назначить наследника, умирает без завещания, не в силах будучи даже произнести имя своего преемника и оставляя государство на произвол борющихся между собой за власть дворцовых партий.

«Он велел призвать к себе цесаревну Анну, дабы ей продиктовать. Она вошла, но он уже не мог ничего говорить» (462). В первый раз эта фраза Пушкина звучит как сообщение, важное для смысла повествования. Во второй раз, едва измененная, та же фраза передает трагизм совершающейся смерти Петра: *«Он уже не сказал ничего»*. Интонация этих слов звучит теперь с новой силой.

Когда же безмолвному, но не впавшему еще в беспамятство Петру предложили в последний раз причаститься, «Петр,— пишет Пушкин,— *в знак согласия приподнял руку*».

Вот страницы, посвященные Пушкиным смерти Петра:

«16-го января Петр начал чувствовать предсмертные муки. Он кричал от рези.

Он близ своей спальни повелел поставить церковь походную.

22-го исповедывался и причастился.

Все петербургские врачи собрались у государя. Они молчали; но все видели отчаянное состояние Петра. Он уже не имел силы кричать и только стонал, испуская мочу.

При нем дежурили 3 или 4 сенатора.

25-го сошлись во дворец весь Сенат, весь генералитет, члены всех коллегий, все гвардейские и морские офицеры, весь Синод и знатное духовенство.

Церкви были отворены: в них молились за здравие умирающего государя. Народ толпился перед дворцом.

Екатерина то рыдала, то вздыхала, то падала в обморок, она не отходила от постели Петра и не шла спать, как только по его приказанию.

Петр царевен не пустил к себе. Кажется, при смерти помирился он с виновною супругою.

26-го утром Петр... повелел освободить всех преступников, сосланных на каторгу (кроме двух первых пунктов[46] и убийц), *для здравия государя.*

Тогда же дан им указ о рыбе и клее (казенные товары).



Медаль *«На погребение Петра Великого»*. 1725 г.

К вечеру ему стало хуже. Его миропомазали.

27-го дан указ о прощении не явившимся дворянам на смотр. Осужденных на смерть по Артикулу по делам Военной коллегии (кроме etc.) простить, дабы молили они о здравии государевом.

Тогда-то Петр потребовал бумаги и перо и начертал несколько слов неявственных, из коих разобрать было можно только сии: «отдайте все»... Перо выпало из рук его. Он велел призвать к себе цесаревну Анну, дабы ей продиктовать. Она вошла. Но он уже не мог ничего говорить.

Архиереи псковский и тверской и архимандрит Чудова монастыря стали его увещевать. Петр оживился, показал знак, чтобы они его приподняли, и, возведши руки и очи вверх, произнес засохлым языком и невнятным голосом: *«сие едино жажду мою утоляет; сие едино услаждает меня...»*

...Присутствующие начали с ним прощаться. Он приветствовал всех тихим взором. Потом произнес с усилием: *«после...»* Все вышли, повинуясь в последний раз его воле.

Он уже не сказал ничего. 15 часов мучился он, стонал, беспрестанно дергая правую свою руку, левая была уже в параличе. Увещевающий от него не отходил, Петр слушал его и несколько раз силился перекреститься.

Троицкий архимандрит предложил ему еще раз причаститься. Петр в знак согласия приподнял руку. Его причастили опять. Петр казался в памяти до четвертого часа ночи. Тогда начал он охладевать и не показывал уже признаков жизни. Тверской архиерей на ухо ему продолжал свои увещевания и молитвы об отходящих. Петр перестал стонать, дыхание остановилось — в 6 часов утра 28 января Петр умер на руках Екатерины.

Екатерина провозглашена императрицей (велением Меншикова, помощию Феофана и тайного советника Макарова).

В тот же день обнародован манифест.

Полкам в Петербурге роздано жалование. Генерал-майор Дмитриев-Мамонов послан в Москву к сенатору графу Матвееву.

2 февраля напечатана присяга и разослана по всему государству.

Труп государя вскрыли и бальзамировали. Сняли с него гипсовую маску.

Тело положено в меньшую залу. 30 января народ допущен к его руке.

4 марта скончалась 6-летняя царевна Наталья Петровна. Гроб ее поставлен в той же зале.

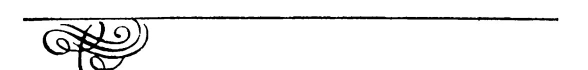
8 марта возвещено народу погребение. Через два дня оное совершилось...» (460–463).

Так кончается рукопись незавершенной «Истории Петра».

Современники признавали «Историю Петра» важнейшим трудом Пушкина в последние годы его жизни. Он успел в эти годы подготовить черновую конструкцию своей будущей книги, собрав, изучив и предварительно обработав поистине огромный исторический материал. Общие контуры его великой книги были уже ясны: в ней различимы пушкинская обрисовка эпохи и создаваемый им новый образ Петра. Написанный Пушкиным подготовительный текст давал ему возможность быстро, «в год или в течение полугода», закончить книгу. Пушкин, по всей видимости, предполагал перенести в окончательный текст своей «Истории» содержавшиеся уже в подготовительном тексте ее готовые – или почти готовые – страницы; в то же время он думал развернуть с большой быстротой содержавшиеся в том же подготовительном тексте рабочие программы, – во многом определявшие содержание его будущей книги, – композиционно перегруппировать и восполнить подготовленный им материал и превратить таким образом весь свой текст в законченный исторический рассказ. Выполнить эту задачу Пушкин надеялся за короткий срок потому, что программы его были подкреплены глубоко изученным им и творчески переработанным историческим материалом, освещающим эпоху Петра, и с достаточной ясностью намечали содержание и построение многих разделов его незавершенной «Истории».

Надежды Пушкина не сбылись, смерть оборвала его работу, и великий труд остался незавершенным.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ



СОЖЖЕННЫЕ «ЗАПИСКИ» ПУШКИНА

Автобиографические записки Пушкина представляют собой важнейшее не дошедшее до нас произведение поэта. О судьбе их Пушкин писал: «В 1821 году начал я свою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь сии записки»[1].

Это было, по-видимому, большое произведение. Пушкин указывает, что своей «Биографией» он «занимался» «несколько лет сряду». Вместе с нею поэт уничтожил и свои «Ежедневные записки», служившие ему материалом для «Биографии». Вспоминая об уничтожении всего этого труда в целом, Пушкин пишет, что он «принужден был сжечь свои *тетради*» (во множественном числе)[2]. Наконец, за три месяца до сожжения своей «Биографии» Пушкин сообщал одному из друзей, что переписывает ее набело[3]. Таким образом, большой труд этот, по крайней мере в части, написанной Пушкиным к концу 1825 года, был накануне восстания 14 декабря близок уже к завершению.

С уничтожением этих «Записок» «русская литература понесла невознаградимую утрату»[4], — писал первый биограф Пушкина Анненков, сознававший масштаб и значение утраченного пушкинского труда.

А между тем в посвященной изучению Пушкина литературе вопрос о судьбе «Записок» поэта не был изучен: исследований о них, несмотря на обширность этой литературы, мы не встречали.

В подробном «Путеводителе по Пушкину» нет поэтому о них даже заметки; и если мы поищем в нем сведений на слово «Ав-



Автопортрет. *1829 г.*

тобиография» или «Записки», то найдем только заметку о записках Моро де Бразе (потому что Пушкин переводил их) и заметку о записках парижского палача Сансона (потому что Пушкин возмущался возможностью появления их в печати). Но в справочном издании по Пушкину мы не найдем статьи, посвященной «Запискам» самого Пушкина. Их не изучали, поскольку принято было считать, что от «Записок» поэта ничего — или почти ничего — не сохранилось и их следует относить к числу погибших литературных памятников.

Уверенность в совершенной невозможности изучения судьбы «Записок» Пушкина была так велика, что обоснованности ее никто не счел нужным даже проверить. Но достаточно ли обоснована подобная уверенность? Не последовал ли отказ от изучения судьбы «Записок» без достаточного критического выяснения вопроса о том, использованы ли или, наоборот, действительно исключены все возможности подобного изучения?

Разгром восстания 14 декабря 1825 года привел к уничтожению (и сокрытию) ряда памятников декабристской литературы, подобно тому как всего лишь тринадцатью годами ранее вражеское нашествие и пожар Москвы уничтожили в 1812 году единственную рукопись «Слова о полку Игореве» и — по счастью также небезвозвратно — древнейший русский летописный свод — Троицкую летопись. Текст последней, несмотря на гибель рукописи, погиб не целиком: он дошел до нас в многочисленных выдержках, приведенных Карамзиным в первых пяти томах его «Истории», написанных до московского пожара 1812 года (Пушкин в одной из своих статей упомянул о том, что Карамзин ссылался «на сгоревший Троицкий список»[5]). А почти век спустя найдена была Симеоновская летопись, текст которой совпадает на значительном протяжении с текстом погибшего Троицкого свода[6]. И это дало возможность восстановить в наше время содержание, а во многих случаях даже подлинный текст сгоревшей Троицкой летописи[7].

Даже несомненная гибель рукописи, как видим, не всегда означает, что произведение целиком погибло в огне вместе с рукописью. Но блестяще оправдавшие себя методы изучения и частичного восстановления утраченных памятников[8] применялись, как сказано, по отношению к литературным памятникам древности. Не следует ли поставить вопрос о возможности применения

сходных (если не тождественных) методов при изучении погибших памятников новой литературы? И, поскольку речь идет сейчас о политически запретных записках Пушкина, начать с вопроса о том, были ли «Записки» сожжены Пушкиным действительно целиком?

Утверждение Пушкина о том, что он сжег свои «Записки», носит, казалось бы, безоговорочный характер. Но известно, что утверждение автора о сожжении рукописи не всегда является достаточным доказательством действительной гибели ее.

Лев Толстой, например, записал в дневнике (в мае 1897 года): «Вырезал, сжег то, что написано было сгоряча». Но уничтоженные, казалось бы, страницы толстовского дневника уцелели, так как Буланже, которому Толстой передал их с просьбой сжечь по прочтении, сохранил их. В другом подобном же случае подлинная запись, сделанная Толстым в дневнике 12 января 1897 года, была, по просьбе Толстого, уничтожена Чертковым; но последний, прежде чем уничтожить подлинник, сфотографировал его, и потому текст этой (действительно сожженной) страницы из дневника Толстого также дошел до нас[9].

Страницы дневника, которые Толстой считал сожженными, уцелели случайно, вопреки его воле. Когда мы говорим о возможности сохранения отрывков, входивших в состав сожженных «Записок» Пушкина, вопрос следует ставить не о случайном, а о сознательном сохранении Пушкиным подобных отрывков, поскольку мы знаем, что таким именно образом поступил Пушкин, сжигая X главу «Онегина». Сделав в октябре 1830 года запись о сожжении ее[10], Пушкин одновременно зашифровал запретные строки этой главы с целью сохранить их для будущего. И этот шифрованный листок, как мы знаем, уцелел, хотя только век спустя был расшифрован исследователями.

Поскольку перед нами, когда мы говорим о «Записках» Пушкина, стоит вопрос о судьбе запретного литературного произведения, нужно рассмотреть его в свете всего, что нам известно о судьбе скрытых и уцелевших памятников декабристской литературы.

Вспомним, что «Русская Правда» Пестеля и «Конституция» Никиты Муравьева, вопреки утверждениям декабристов, заявлявших на следствии, что рукописи эти «истреблены», были втайне сохранены ими[11]. «Русскую Правду» декабристы скрыли, закопав в землю (невдалеке от села Кирнасовка) и распустив слухи об ее уничтожении; рукопись ее была обнаружена во время следствия, выкопана из земли и доставлена Николаю I. Издана

же «Русская Правда» впервые была только после революции 1905 года.

«Конституция» Никиты Муравьева, переписанная рукой Рылеева, сохранена была друзьями декабристов в запертом портфеле и возвращена П. А. Вяземским И. И. Пущину, когда тот три десятилетия спустя вернулся из Сибири. Между тем автор «Конституции» Никита Муравьев не только показал на следствии, что сжег свою рукопись, но, кроме того, на прямой вопрос: «Не осталось ли у кого-либо списка оной?» – ответил: «Я не полагаю, чтобы осталась у кого-либо копия Конституции, писанной мною» [12].

Таким образом, важнейшие памятники декабристской литературы уцелели: декабристы скрыли их в надежде сохранить для будущего рукописи произведений, политическое и историческое значение которых они хорошо сознавали. Сходным образом поступил (что особенно важно для нас) сам Пушкин с десятой главой «Онегина». Естественно поэтому предположить, что он мог сохранить каким-нибудь образом и отрывки своих сожженных в 1825 году «Записок». Предположение это, если учесть все сказанное выше, не может не казаться правдоподобным; но одного этого, разумеется, недостаточно – необходимо установить, произошло ли все в действительности так, как мы считаем возможным предполагать, проводя аналогию между судьбой сожженной десятой главы «Онегина» и судьбой сожженных «Записок» поэта.

До сих пор не было твердо установлено даже, когда именно и каким образом сжег Пушкин свои «Записки». Некоторые исследователи упоминают как о чем-то само собой разумеющемся, что Пушкин сжег их тотчас по получении известия о разгроме восстания 14 декабря.

В комментариях к десятитомному академическому изданию сочинений Пушкина уничтожение «Записок» отнесено, однако, уже не к концу 1825 года, а к 1826 году [13]. А в одной из более поздних работ говорится – на основании рассказа П. В. Нащокина, – что «при неожиданном появлении в Михайловском в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года фельдъегеря, приехавшего за поэтом, Пушкин, не ожидавший для себя ничего доброго, поспешно бросил в огонь часть своих рукописей, в частности свои автобиографические записки» [14]. То есть сожжение «Записок» отнесено не к моменту получения Пушкиным известия о разгроме восстания 14 декабря и даже не к началу 1826 года, а к последним минутам пребывания поэта в Михайловском.

Когда же сжег Пушкин в действительности свои «Записки»? И верно ли, что от них «случайно сохранился только один листок (точнее – обрывок листка.– *И. Ф.*) с датой 19 ноября 1824 года»[15] и фрагмент, посвященный поэтом выходу в свет «Истории» Карамзина?[16]

«Записки» свои Пушкин сжег (как сам он указывает в предисловии к новым «Запискам», которые начал через несколько лет) после получения известия о разгроме восстания 14 декабря «в конце 1825 г. при открытии несчастного заговора»[17]. О восстании 14 декабря поэт узнал на третий или четвертый день и с этого дня ожидал ареста. «Все-таки я от жандарма еще не ушел»,– писал он месяц спустя (20 января 1826 года)[18]. Трудно поэтому даже понять, что заставляет некоторых исследователей некритически принимать рассказ Нащокина, по которому Пушкин, зная о возможности обыска и ареста, а также о том, что «Записки» его, оказавшись в руках властей, могли бы «замешать многих и, может быть, умножить число жертв», медлил больше восьми месяцев, для того чтобы сжечь наконец свои «Записки» в самый момент приезда за ним фельдъегеря. Эта версия опровергается и тем, что 14 августа 1826 года, то есть за полмесяца до того, как за ним наконец приехали, Пушкин сообщал Вяземскому: «Из моих записок сохранил я только несколько листов»[19]. Какие именно листы имел при этом в виду Пушкин, постараемся выяснить далее.

О том, что Пушкин имел время заранеé подготовиться к приезду «жандарма», свидетельствует даже внешний вид его сохранившихся черновых тетрадей. В числе немногочисленных замечаний, касающихся «Записок» поэта, можно отыскать в литературе – и отметить как верное – указание Н. Лернера: «В черновых тетрадях Пушкина встречается немало вырванных страниц; в числе их, вероятно, были черновики тех воспоминаний, которые Пушкин переписывал набело в 1825 г.; сжегши беловую рукопись и боясь тщательного обыска, он не пожалел и черновых листов»[20].

Следовательно, Пушкин, сжигая свои «Записки», уничтожал их с разбором. Всякий, кто видел черновые тетради поэта, знает, что он вырывал из них листы не подряд, а сохранял, где можно, не только целые страницы, но и части страниц, вырывая из них отдельные полосы, на которых находились те именно строки, какие он хотел уничтожить.

Точно так же, то есть не целиком, мог он поэтому уничтожить (и действительно уничтожил) свою «Биографию», поскольку вовсе не был поставлен в необходимость бросить ее в огонь внезапно, в момент появления в Михайловском фельдъегеря.

Начало новых «Записок» Пушкина
(«Несколько раз принимался я за ежедневные записки...»)
Первая страница рукописи (начало 1830-х годов),
где Пушкин сообщает, что он сжег после 14 декабря
1825 г. свою «Биографию».

Вспомним о случаях, подобных рассматриваемому нами (например, об обстоятельствах ареста Якушкина и Грибоедова), и возможность сохранения Пушкиным отдельных страниц при сожжении «Записок» перестанет казаться нам всего только маловероятной счастливой случайностью.

Якушкин ожидал ареста в Москве. Московский полицмейстер явился за ним 10 января 1826 года, то есть почти через месяц после разгрома восстания. «Он требовал от меня моих бумаг,— говорит в своих «Записках» Якушкин.— Я объявил ему, что у меня никаких бумаг нет, а что если бы и были такие, которые могли быть для него любопытны, то я бы имел время их сжечь»[21].

Однако Якушкин не сжег их, хотя действительно «имел время их сжечь». Бумаги, находившиеся в его смоленском имении, доставлены были раньше, чем там произведен был обыск, в подмосковную, принадлежавшую матери его жены, «которая, зная их опасную важность, хранила их под полом своего кабинета, чтобы передать их отцу, когда он вернется из ссылки»,— рассказывает сын декабриста Е. И. Якушкин. И только «незадолго до смерти, боясь, что бумаги эти попадут кому-нибудь в руки, она сожгла их»[22]. Таким образом, бумаги Якушкина, вопреки сделанному им при аресте заявлению, были спрятаны.

Приказ об аресте Грибоедова был 22 января 1826 года доставлен в крепость Грозную, где остановился на походе Ермолов с сопровождавшими его лицами, в числе которых находился Грибоедов. «Генерал разорвал конверт,— говорит очевидец,— бумага заключала в себе несколько строк; но когда он читал», адъютант его «поймал на глаз фамилию Грибоедова. Алексей Петрович [Ермолов], пробежавший быстро бумагу, положил [ее] в боковой карман сюртука и застегнулся...»[23]

«По воле государя императора,— писал военный министр Ермолову,— покорнейше прошу ваше высокопревосходительство приказать немедленно взять под арест служащего при вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами, употребив осторожность, чтобы он не имел времени к истреблению их, и прислать как оные, так и его самого под благонадежным присмотром в Петербург прямо к его императорскому величеству»[24].

На следующий же день Ермолов секретно донес об исполнении высочайшего повеления. «Он взят таким образом,— сообщал он о Грибоедове,— что не мог истребить находящихся у него бумаг, но таковых при нем не найдено, кроме весьма немногих,

кои при сем препровождаются. Если же бы впоследствии могли быть отысканы оные, я все таковые доставлю»[25].

В действительности же знавший о замыслах декабристов Ермолов, «желая спасти себя,— спас Грибоедова». Он, узнав о готовящемся аресте Грибоедова, «предварил его за два часа». Об этом рассказывал позднее сам Пушкин Александру Тургеневу, записавшему рассказ поэта в своем дневнике[26]. «Ермолов,— сообщает в своих записках Денис Давыдов,— желая спасти Грибоедова, дал ему время и возможность уничтожить многое, что могло более или менее подвергнуть его беде. Грибоедов, предупрежденный обо всем адъютантом Ермолова Талызиным, сжег все бумаги подозрительного содержания. Спустя несколько часов послан был в его квартиру подполковник Мищенко для произведения обыска и арестования Грибоедова, но он, исполняя второе, нашел лишь груду золы, свидетельствующую о том, что Грибоедов принял все необходимые для своего спасения меры»[27].

«Алексаша», то есть Александр Грибов, камердинер Грибоедова, и слуга (или денщик) Н. В. Шимановского, одного из адъютантов Ермолова, успели разобрать чемоданы Грибоедова и «не более как в полчаса времени все сожгли», а «чемоданы поставили на прежнее место»[28], в одном из них при аресте Грибоедова найдена была рукопись «Горя от ума». На вопрос же, нет ли еще каких бумаг, Грибоедов отвечал, что больше бумаг у него нет[29].

За Пушкиным фельдъегерь послан был только восемь месяцев спустя после восстания, когда следствие по делу декабристов было закончено и приговор над ними приведен в исполнение. Фельдъегерь этот, посланный с предписанием сопровождать поэта «не в виде арестанта» в Москву, задержан был губернатором в Пскове. И потому в Михайловское за Пушкиным вообще не приезжал.

«Я не отправляю к вам фельдъегеря, который остается здесь до прибытия вашего,— писал Пушкину 3 сентября 1826 года псковский губернатор барон фон Адеркас.— Прошу вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне». Это письмо губернатора послано было Пушкину в Михайловское с нарочным вместе с копией присланного по высочайшему повелению предписания, в котором гврилось: «...г. Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного штаба его величества»[30].

Но нарочный, посланный в Михайловское с этим предписанием и письмом губернатора, Пушкина не застал; сохранились

сведения о том, что поэт находился в этот день у соседей в Тригорском и задержался там до позднего вечера.

«Погода стояла прекрасная,– вспоминала одна из младших дочерей владелицы Тригорского – М. И. Осипова.– Мы долго гуляли, Пушкин был особенно весел. Часу в одиннадцатом сестры и я проводили Пушкина по дороге в Михайловское. Вдруг рано на рассвете является к нам Арина Родионовна... Из расспроса ее оказалось, что вчера вечером, незадолго до прихода Александра Сергеевича в Михайловское, прискакал какой-то – не то офицер, не то солдат (впоследствии оказалось – фельдъегерь,– ошибочно поясняет записавший приводимый рассказ М. И. Семевский.– *И. Ф.*)[31]. Он объявил Пушкину повеление немедленно ехать с ним в Москву. Пушкин успел взять только деньги, накинуть шинель, и через полчаса его уже не было.

«Что ж, взял этот офицер какие-нибудь бумаги с собой?..» – «Нет, родные, никаких бумаг не взял,– отвечала на расспросы старая няня Пушкина.– И ничего в доме не ворошил. После только я сама кое-что поуничтожила».– «Что такое?» – «Да сыр этот проклятый, что Александр Сергеич кушать любил, а я-то терпеть его не могу, и дух-то от него, от сыра-то этого немецкого – такой скверный»[32].

Рассказ М. И. Осиповой о памятных для всей семьи друзей поэта событиях, совершившихся в Михайловском 3–4 сентября 1826 года, как и запомнившийся ей простодушный рассказ няни, в слезах прибежавшей на рассвете в Тригорское, по-видимому, верно передает обстоятельства отъезда Пушкина из Михайловского.

По словам же Нащокина, когда «нарочный прискакал к Пушкину», поэт будто бы находился в Михайловском и «в то время сидел перед печкою, подбрасывал дров, грелся. Ему сказывают о приезде фельдъегеря. Встревоженный этим и никак не ожидавший чего-либо благоприятного, он тотчас схватил свои бумаги и бросил в печь: тут погибли его «Записки»... и некоторые стихотворные пиесы»[33].

Но в момент приезда нарочного Пушкина в Михайловском не было. И он уже по одному этому не мог, услышав о приезде фельдъегеря, «тотчас схватить свои бумаги и бросить их в печь». Рассказ няни, свидетельницы всего происшедшего в ночь с 3 на 4 сентября в Михайловском, подтверждается – и в этом его отличие от рассказа Нащокина – содержанием дошедших до нас официальных документов, привезенных нарочным в Михайловское.

Обыск в Михайловском произведен не был, так как нарочный не был уполномочен на производство его. Поэтому он, как верно

рассказывала няня, «никаких бумаг не взял и ничего в доме не ворошил» («посланный, — подчеркивает Анненков, — ничего не осматривал в деревне, ничего не ворошил, нигде не рылся»[34]). Уничтожен был тогда — и то после отъезда Пушкина — только не любимый няней «немецкий», лимбургский сыр.

Мы видели, как поступили в ожидании ареста со своими бумагами Якущкин и Грибоедов (последний несмотря даже на то, что был предупрежден о приезде фельдъегеря всего за несколько часов до ареста). Пушкин, по получении известия о разгроме восстания, располагал в Михайловском временем, вполне достаточным для того, чтобы разобрать свои «Записки» и сохранить из них хотя бы некоторые отрывки. Возможностью этой Пушкин и воспользовался. Перед нами случай вовсе не исключительный, а закономерный; следовало только (для того чтобы это стало нам ясно) изучить его, поставив в исторически соответствующий ему ряд случаев, то есть поступков и событий, последовавших за разгромом восстания 14 декабря.

Четырнадцатого августа 1826 года Пушкин писал Вяземскому: «Из моих записок сохранил я только несколько листов и перешлю их тебе, только для тебя»[35]. Слова эти прямо свидетельствуют о том, что Пушкин сохранил какие-то листы своих «Записок». Но что же это за листы? Говорит ли Пушкин в письме к Вяземскому только об отрывке, посвященном Карамзину и его «Истории», как полагают некоторые исследователи? И является ли этот отрывок действительно единственным сохраненным поэтом?

Листы, посвященные Карамзину, бесспорно являются уцелевшим отрывком сожженных «Записок» Пушкина. Единственным же он является разве в том смысле, что его только Пушкин счел возможным прямо признать сохраненным отрывком их[36]. На то, что перед нами сохраненный отрывок последних, Пушкин и указал в письме к Вяземскому. А затем, исключив из этого отрывка места, которые не могли быть пропущены николаевской цензурой, напечатал его в «Северных цветах на 1828 год», включив в «Отрывки из писем, мысли и замечания» с пояснением: «Извлечено из неизданных записок»[37].

Сжигая «Записки», Пушкин сохранил, как постараемся показать, и отрывки политически опасного содержания, сохранил, но умолчал об этом. Где же могут скрываться в таком случае эти отрывки?

Спрятать рукопись или отдельные части ее можно, конечно, по-разному, и не только зашифровав содержание рукописи (как зашифрована была Пушкиным десятая глава «Онегина») или зарыв ее в землю, как зарыта была «Русская Правда». Никита Му-

равьев, например, скрыл — и притом успешно — свои запретные записки иначе. До нас дошло свидетельство декабриста Якушкина о том, что «Никита Михайлович Муравьев задумал еще в Петровском заводе составить подробные записки о Тайном обществе, и чтобы они не попались в руки правительства, он писал их в форме отдельных заметок на полях книг. Библиотека Никиты Муравьева досталась его брату Александру, который собрал из книг заметки брата и назвал их «Mon journal» (то есть «Мои записки». — *И. Ф.*)[38].

Как видим, Никита Муравьев скрыл свои записки, разобщив их с этой целью на отдельные заметки. Сходным образом мог поступить Пушкин и с сохраненными отрывками своих сожженных «Записок». Где же можно искать указаний на судьбу этих сохраненных отрывков? Искать их следует прежде всего, конечно, в рукописном наследстве Пушкина.

Как же можно искать их в бумагах поэта, спросит читатель, если рукописи Пушкина давно изучены и никаких относящихся к его «Запискам» шифрованных текстов (подобных, например, листку, на котором поэт зашифровал строки десятой главы «Онегина») в его бумагах не обнаружено? Обнаружить подобные указания до сих пор в самом деле не удалось. Следует ли, однако, из этого, что их в рукописях Пушкина действительно нет?

Вспомним, что листок с зашифрованными строками десятой, запретной главы «Онегина» скрывался много десятилетий именно среди бумаг Пушкина и содержащиеся в нем строки оставались нераскрытыми, несмотря на простейший характер примененного поэтом шифра (Пушкин прибегнул к перестановке стихотворных строк, чтоб нарушить их смысловую последовательность). Содержание зашифрованных Пушкиным стихов оставалось на протяжении десятилетий нераскрытым, хотя листок с этими стихами побывал в руках жандармов, чрезвычайно интересовавшихся бумагами Пушкина и поставивших даже на этом листке свой регистрационный номер. Не было раскрыто содержание его и исследователями Пушкина вплоть до 1910 года, когда листок этот был наконец расшифрован П. О. Морозовым.

История этого пушкинского листка показывает нам, что неизвестные, точнее — нераскрытые, строки Пушкина оказалось возможным обнаружить даже в составе, казалось бы, давно изученного рукописного наследства поэта. Что касается указаний на судьбу «Записок» Пушкина, то такие указания следует искать прежде всего в новой для нас, недостаточно изученной еще, хотя и опубликованной, части его рукописного наследства.

Изучение подготовительного текста «Истории Петра» позволило обнаружить в этом обширном черновом труде Пушкина

оставшиеся незамеченными страницы исторической прозы. Такого рода страницы Пушкина представляют, как мы видели, большой исторический и литературный интерес. Но даже встречающиеся в черновиках различных произведений поэта тексты, лишенные самостоятельного литературного значения и притом кратчайшие по размеру (иногда в одно-два слова), могут иметь для нас в некоторых случаях весьма важное значение. Сказанное можно прямо отнести к изучению вопроса о сожженных «Записках» Пушкина.

К числу недостаточно изученных пушкинских текстов относятся черновики записки «О народном воспитании», написанной поэтом в ноябре 1826 года. А между тем в черновиках этой адресованной Николаю I записки Пушкин *трижды* ссылается на свои, будто бы полностью уничтоженные годом раньше, «Записки»[39], ссылается и неожиданным образом использует сохраненный им отрывок не дошедших до нас «Записок».

Анализ черновиков записки «О народном воспитании», в которых сохранились эти пушкинские ссылки, позволяет определить содержание чрезвычайно интересного отрывка, сохраненного каким-то образом Пушкиным при сожжении своих «Записок». Отрывок этот, как показывают слова самого Пушкина, ясно читающиеся в черновике записки «О народном воспитании», касался истории царствования Александра I и вопроса о развитии в России «революционных идей». Отрывок, о котором мы говорим, мог быть сохранен Пушкиным, поскольку речь шла в нем не о декабристах, а о декабризме. И потому эти страницы «Записок» (в отличие от уничтоженных Пушкиным) не могли бы «умножить число жертв», оставаясь опасными по всему содержанию лишь для самого поэта.

Сохранение Пушкиным этого отрывка, о котором мы имеем теперь возможность судить только по черновикам записки «О народном воспитании», показывает, что прежние «Записки» поэта были сожжены им после 14 декабря (как мы и предполагали) не целиком. Мы видим вместе с тем, что Пушкин не только сохранил некоторые отрывки сожженных «Записок», но и старался использовать их в своих новых произведениях. И даже включал их туда – иногда самым неожиданным для нас образом.

Это заставляет задуматься над вопросом о том, является ли случай, открывающийся нам при изучении черновиков записки «О народном воспитании», единственным в творческой практике Пушкина. Или перед нами только один из ряда подобных же, но неизученных и потому еще не понятых нами случаев?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть под интересующим нас углом зрения литературное на-

следство Пушкина в целом. Задача эта является сложной, но, поскольку есть основания думать, что выполнение подобной работы может дать нам представление о важнейшем утраченном произведении Пушкина, сложность задачи не должна вести к отказу от ее выполнения.

Прежде чем искать какие-либо политически опасные для Пушкина — и тем не менее сохраненные им — отрывки «Записок», следует подумать о том, что в последних должен был содержаться, наряду с запретными страницами, ряд страниц, которые могли бы быть опубликованы поэтом. Дошедшая до нас программа возобновления сожженных «Записок», составленная Пушкиным в начале 30-х годов, и написанное им тогда же начало новых Автобиографических записок показывают, что в состав пушкинской Автобиографии входили, например, портреты предков поэта и портреты современников, не подпадавшие под цензурный запрет (в отличие от воспоминаний Пушкина о его встречах с декабристами). Достаточно вспомнить о незабываемой для Пушкина встрече с Державиным, чтобы убедиться в том, что Пушкин не только должен был воссоздать этот важнейший эпизод в своей «Биографии», но и не имел никакой нужды скрывать многие входившие в ее состав страницы.

В состав уничтоженной поэтом политически запретной части «Онегина» входила, кроме «декабристской» десятой главы романа, как мы знаем, еще одна политически запретная глава (по первоначальному счету — восьмая). Пушкин сам признавался печатно, что он «выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России»[40]. Но только недавно нам стало известно, что за причины («важные для него, а не для публики»[41], — как глухо указал в печати сам поэт) заставили его уничтожить эту главу романа.

В 1940 году обнаружено было не оставляющее никаких сомнений в достоверности сообщенных в нем сведений письмо одного из друзей Пушкина, поэта Катенина, из которого мы узнали, что глава, посвященная путешествию Онегина по России, была уничтожена Пушкиным потому, что она заключала в себе смелое описание аракчеевских военных поселений.

Но, уничтожая эту главу «Онегина», Пушкин сохранил из нее те строфы, которые не представляли опасности и могли даже быть напечатаны при жизни поэта. Сохранив эти строфы, Пушкин затем напечатал их в приложении к своему роману в качестве «Отрывков из «Путешествия Онегина». Сходным образом мог он поступить, разумеется, и тогда, когда писал свои Автобиографические записки, политически опасные в целом, но не содержавшие ничего запретного в отдельных своих частях.

Нет поэтому ничего невозможного в том, что Пушкин еще до сожжения «Записок», то есть еще до того, как разгром восстания 14 декабря поставил его в необходимость уничтожить их, мог готовить к печати (или даже печатать) отдельные, цензурные по содержанию, отрывки своих незаконченных «Записок». Так оно, постараемся показать, и было в действительности.

Где же можно искать такого рода сохраненные Пушкиным страницы «Записок»? Да всюду, то есть почти во всех томах собрания сочинений Пушкина, потому что он, как увидим, печатал отрывки своих «Записок», не указывая на действительное происхождение их и приобщая их (например, в качестве приложения) к другим своим произведениям, или же печатал их под временными обозначениями, уводящими читателя от понимания того, что страницы эти входили первоначально в состав Автобиографии поэта.

Нам едва ли пришло бы в голову, например, искать уцелевшие отрывки «Записок» поэта в тех томах его сочинений, где печатаются стихотворения и поэмы Пушкина. Но искать их там, оказывается, нужно. Говорит нам об этом письмо самого Пушкина.

Давая указания о подготовке к печати собрания своих стихотворений, Пушкин 27 марта 1825 года писал брату: «Не напечатать ли в конце *Воспоминания в Царском Селе* с Noto'й (то есть с примечанием. – *И. Ф.*), что они писаны мною 14-ти лет – и с выпискою из моих Записок (об Державине), ась?»[42]

Отказавшись от намерения напечатать в подготавливаемом сборнике это юношеское стихотворение, Пушкин не смог поэтому поместить в качестве приложения к нему и «выписки» из своих «Записок» («об Державине»). Но мыслью о возможности печатать отрывки из своих «Записок» в виде приложений к своим стихотворениям Пушкин воспользовался.

Если бы отрывок из «Записок» поэта, посвященный Державину, был – как первоначально предполагал Пушкин – напечатан в качестве приложения к его юношескому стихотворению, он, конечно, сильно выделялся бы среди примечаний, которыми поэт сопровождал свои стихотворные произведения. Выделялся бы не просто по размеру – Пушкин давал иногда в качестве примечаний или приложений довольно большие выдержки из сочинений других писателей, – нет, отрывок из «Записок» поэта, посвященный Державину, выделялся бы среди такого рода примечаний и качественно, являясь, в отличие от них, законченным, полным, хотя и по-пушкински сжатым, рассказом, представляющим самостоятельный – и притом выдающийся – литературный интерес. О таком именно характере этого рассказа мы можем судить не

только потому, что нам известен написанный в тот же период Пушкиным отрывок его «Записок», относящийся к Карамзину, но и потому, что отрывок, который посвящен был Державину в сожженных «Записках» Пушкина, дошел до нас в более поздней редакции. На листках, датируемых 30-ми годами, Пушкин восстановил этот важный эпизод в соответствии с составленной им в эти годы программой возобновления своих сожженных «Записок».

Еще раньше, чем у Пушкина явилась мысль о возможности напечатать в качестве приложения к «Воспоминаниям в Царском Селе» отрывок из своих «Записок», посвященный Державину, поэт напечатал другой отрывок этих же «Записок», приобщив его под видом «примечания» к первой главе «Евгения Онегина», вышедшей в свет в феврале 1825 года.

Среди примечаний, которыми Пушкин сопроводил первое издание первой главы «Онегина», резко выделяется вполне законченный рассказ поэта о его прадеде Абраме Петровиче Ганнибале. Напомним прежде всего читателю этот рассказ.

«Автор, со стороны матери, происхождения африканского. Его прадед Абрам Петрович Аннибал на 8 году своего возраста был похищен с берегов Африки и привезен в Константинополь. Российский посланник, выручив его, послал в подарок Петру Великому, который крестил его в Вильне. Вслед за ним брат его приезжал сперва в Константинополь, а потом и в Петербург, предлагая за него выкуп; но Петр I не согласился возвратить своего крестника. До глубокой старости Аннибал помнил еще Африку, роскошную жизнь отца, 19 братьев, из коих он был меньшой; помнил, как их водили к отцу, с руками, связанными за спину, между тем как он один был свободен и плавал под фонтанами отеческого дома; помнил также любимую сестру свою *Лагань*, плывшую издали за кораблем, на котором он удалялся.

18-ти лет от роду Аннибал послан был царем во Францию, где и начал свою службу в армии регента; он возвратился в Россию с разрубленной головой и с чином французского лейтенанта. С тех пор находился он неотлучно при особе императора. В царствование Анны Аннибал, личный враг Бирона, послан был в Сибирь под благовидным предлогом. Наскуча безлюдством и жестокостию климата, он самовольно возвратился в Петербург и явился к своему другу Миниху. Миних изумился и советовал ему скрыться немедленно. Аннибал удалился в свои поместья, где и жил во все время царствования Анны, считаясь в службе и в Сибири. Елисавета, вступив на престол, осыпала его своими милостями. А. П. Аннибал умер уже в царствование Екатерины, уволенный от важных занятий службы с чином генерал-аншефа, на 92 году от рождения.

Сын его генерал-лейтенант И. А. Аннибал принадлежит бесспорно к числу отличнейших людей екатерининского века (ум. в 1800 году).

В России, где память замечательных людей скоро исчезает по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственным преданиям. Мы со временем надеемся издать полную его биографию»[43].

Показать, что страницы эти — хотя Пушкин напечатал их без ссылки на свои «Записки» — являются отрывком из них, не так трудно, поскольку, приступив в 30-е годы к возобновлению своих сожженных «Записок», поэт повторил в начале новой Автобиографии свой рассказ об Абраме Петровиче Ганнибале (с некоторыми только, главным образом стилистическими, отличиями).

Все это подтверждает, что рассказ об Абраме Петровиче Ганнибале не только должен был входить, но и входил в состав сожженных «Записок» Пушкина и что Пушкин еще до того, как он вынужден был сжечь свои «Записки», напечатал содержавшийся в них рассказ о своем знаменитом прадеде, использовав в качестве предлога возможность включить этот отрывок своих «Записок» в первое издание первой главы «Онегина» под видом «примечания».

После этого нас не удивит, что страницы «Записок», посвященные воспоминаниям о Крыме и написанные в конце 1824 года (то есть месяцем позже, чем страницы «Записок», посвященные Абраму Петровичу Ганнибалу), Пушкин напечатал также в качестве приложения (к поэме «Бахчисарайский фонтан»), не указывая и на этот раз, что отрывок представляет собой в действительности страницы его «Записок».

Для того чтобы убедиться в том, что перед нами и в данном случае отрывок «Записок» поэта, достаточно, собственно говоря, внимательно прочесть его. Пушкин поместил этот отрывок в приложении к своей крымской поэме, и это, пожалуй, даже облегчает нам возможность распознать, что перед нами страницы крымской главы его «Записок», поскольку мы убедились в том, что «примечания» или «приложения» к стихам являлись, по мысли Пушкина, пристанищем для тех страниц его «Записок», которые он стремился провести, так или иначе, в печать.

Но если бы Пушкин и не напечатал отрывок из крымской главы своих «Записок» в качестве приложения к своей крымской поэме[44] и он появился бы в печати только под видом «Отрывка из письма к Д.» (под таким заголовком отрывок этот был впервые напечатан Пушкиным в «Северных цветах на 1826 год»),

это также не помешало бы нам понять действительный характер рассматриваемого отрывка.

Пушкин сам помог нам обнаружить отрывок из его «Записок», напечатанный им под видом примечания к «Онегину», высказав в письме к брату мысль о возможности печатать отрывки из «Записок» в качестве приложения к собственным стихам. Поэт сам подсказывает нам также мысль о возможности обнаружить отрывки «Записок» среди страниц, напечатанных под видом его писем. Совет писать Автобиографические записки «в виде писем» Пушкин высказал в письме к Нащокину. «Что твои мемории? — писал он ему 2 декабря 1832 года.— Надеюсь, что ты их не бросишь. Пиши их в виде писем ко мне. Это будет и мне приятнее, да и тебе легче. Незаметным образом вырастет том, а там поглядишь — и другой»[45]. Нащокин последовал совету Пушкина, и в бумагах поэта сохранилось «письмо», представляющее собой отредактированное Пушкиным начало автобиографических записок Нащокина[46].

Мемуары (или «Записки») в эпистолярной форме писал не только Нащокин — по совету Пушкина. В виде писем, обращенных к вымышленному приятелю, написаны были, например, знаменитые «Записки» Болотова. До нас дошли автобиографические письма декабриста Батенькова («Вот вам моя чуть не биография»[47],— говорит он в начале их). В эпистолярной форме написана, если говорить о временах, более близких нам, часть воспоминаний И. Е. Репина[48].

Мысль о возможности писать Автобиографические записки «в виде писем» (точнее — под видом писем) Пушкин не только высказал, но и осуществил. Под видом письма он и напечатал впервые в «Северных цветах» отрывок из своих «Записок», посвященный воспоминаниям о Крыме. В заключительном абзаце этого «письма» (который был позднее исключен Пушкиным при перепечатке отрывка в качестве приложения к «Бахчисарайскому фонтану») поэт прямо указал, что «письмо» его представляет собой воспоминания о прошлом. «Растолкуй мне теперь,— писал он,— почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую?.. Или воспоминание — самая сильная способность души нашей?»[49]

Автобиографическое «письмо» это рассказывает о важном в жизни Пушкина времени. Обозначения, даваемые Пушкиным отрывку, менялись; существо отрывка от этого, конечно, не изменялось: перед нами явно автобиографическая проза поэта. То, что отрывок этот является напечатанным под видом письма произведением (а не личным письмом Пушкина к Дельвигу), в наше время не вызывает сомнений. Но не установлено было, каким

именно произведением, точнее говоря – частью какого произведения являются эти страницы Пушкина.

В Большом академическом издании сочинений поэта страницы этого «письма» напечатаны не только в томе переписки, но и в томе художественной прозы Пушкина, где отрывок помещен в разделе «Путешествия»[50]. Но если о «Письмах русского путешественника» Карамзина Вяземский заметил, что «они не только *Письма Путешественника*, но настоящие мемуары, исповедь человека, картина эпохи»[51], то есть если «Письма» Карамзина Вяземский считал по существу мемуарами, то пушкинский «Отрывок из письма к Д.», в отличие от карамзинских «Писем», является отрывком из мемуаров (точнее из «Записок» поэта) и по существу и по форме. Об этих страницах Пушкина нельзя сказать даже, что они написаны в форме письма, – в них нет признаков этой формы. Риторическое обращение к предполагаемому адресату, с которого начинались первоначально эти автобиографические страницы Пушкина, не могло превратить их в письмо, как не становится письмом глава романа, даже если автор начинает свое повествование обращением к «любезному читателю».

Все это настолько явно, что один из исследователей писем Пушкина чуть было не догадался, что «Отрывок из письма к Д.» представляет собой отрывок из «Записок» поэта; он заметил: «Это письмо по форме своей – путевой очерк или глава из записок»[52]. Но, несмотря на чуткость к форме, проявленную в этом замечании, исследователь не сделал, к сожалению, единственно правильного вывода о том, что «Отрывок из письма к Д.» действительно, а не только по своей форме, является отрывком из «Записок» Пушкина. Под видом письма этот отрывок напечатан был поэтом лишь в силу необходимости мотивировать внешним образом появление в печати страниц, относящихся к его Автобиографическим запискам.

Таким образом, некоторые отрывки «Записок» Пушкина сохранились потому, что поэт подготовил к печати отдельные извлечения из них еще до того, как принужден был сжечь свой труд: напечатал он до сожжения «Записок» отрывок о Ганнибале, хотел напечатать отрывок, посвященный встрече с Державиным, и напечатал в 1826 году отрывок из крымской главы «Записок», назвав его «Отрывком из письма к Д.».

Некоторые же запретные страницы «Записок», как увидим, сохранены были Пушкиным при сожжении рукописи.

После сожжения «Записок» Пушкин возобновил работу над созданием своей Автобиографии, и потому, кроме отрывков, уцелевших от сожженных «Записок» Пушкина, до нас дошли, как

постараемся показать, и отдельные отрывки новых Автобиографических записок поэта.

Неопознанными эти отрывки остаются главным образом вследствие глубокой, но необоснованной уверенности в том, что работа Пушкина над новыми «Записками» пресеклась в самом начале, и потому от них, так же как и от первых сожженных «Записок» его, ничего или почти ничего не могло дойти до нас.

В собрании сочинений Пушкина печатается до сих пор под названием «записей» или «заметок» целый ряд отрывков, вышедших из-под пера великого поэта. Их печатают в самых различных отделах сочинений Пушкина под заглавиями, данными редакторами, так как самим Пушкиным отрывки эти никогда озаглавлены не были. И эти условные заголовки мешают в ряде случаев понять и действительный характер и значение скрывающихся под ними страниц Пушкина. Речь идет не о том, насколько удачно сформулированы те или иные редакторские заглавия, а о вопросе более важном, потому что под видом «записей» или «заметок» печатаются выдающиеся по своему художественному значению страницы пушкинской прозы.

Простота и свобода, с которой написаны такого рода пушкинские страницы и которые часто принимают за простоту первоначальной записи или заметки, являются в действительности результатом творческого труда поэта. О них можно сказать то же, что сказал Мериме по поводу стихов Пушкина: «Простота, иногда некоторый внешний беспорядок являются у него лишь расчетом утонченного мастерства» [53].

Непринужденность рассказа – в особенности когда дело касалось записок современников – сам Пушкин отмечал как важное достоинство. «Читатели, – писал он о «Записках» Дуровой, – оценили без сомнения прелесть этого искреннего и небрежного рассказа, столь далекого от авторских притязаний, и простоту, с которой пылкая героиня описывает самые необыкновенные происшествия» [54]. «Должно заметить, – пишет Пушкин в другом месте об авторе старой «Истории Руссов», – что чем ближе подходит он к настоящему времени, тем искреннее, небрежнее и сильнее становится его рассказ» [55]. Такую небрежность – выражение искренности, силы и свободы рассказа – Пушкин, как видим, высоко ценил.

Достоинства тех отрывков пушкинской прозы, которые мы должны будем рассмотреть и которые печатаются до сих пор под видом записей и заметок, не являются только выражением свойственного Пушкину артистизма, в силу которого любая написанная им заметка носит отпечаток изящества.



И. Н. Инзов — наместник Бессарабской области. *Рисунок Пушкина. 1821 г.*

В том, что многие из этих страниц являются страницами пушкинской прозы (а не записями или заметками), можно убедиться не только путем более внимательного чтения, — это можно и доказать. В них налицо все признаки художественности, проявляющейся в прозе Пушкина не менее явно, чем в его стихах. До нас дошли черновики этих пушкинских отрывков; рукописи поэта показывают, как настойчиво работал он над этими страницами своей прозы; варианты к превосходному отрывку, который печатается под видом «Заметки о холере», занимают, например, в рукописи Пушкина не меньше места, чем окончательный текст этого отрывка [56]. Рукописи позволяют нам в данном случае понять не только наличие, но и характер художественной задачи, решаемой Пушкиным в процессе его творческой работы.

Печатая разобщенные отрывки гениальной пушкинской прозы под видом записей или заметок, редактор не только мешает читателю понять, что представляет собой в действительности каждый из этих пушкинских отрывков, — он уводит нас вместе с тем от вопроса о возможной связи каждого такого отрывка с другими вышедшими из-под пера Пушкина отрывками, поскольку записью или заметкой мы называем часто тексты изолированные, созданные писателем в силу того или иного случая и не связанные друг с другом общим замыслом.

Даже те два отрывка, которые помещают иногда в разделе автобиографической прозы Пушкина (отрывок о холере и отрывок, посвященный Державину), печатаются там обыкновенно под видом записей или заметок, то есть их, вопреки очевидности, не относят к «Запискам».

Опознать уцелевшие отрывки «Записок» мешает не только ложная мысль о том, что эти страницы Пушкина дойти до нас не могли. Помимо условных названий, уводящих от понимания природы этих отрывков и не отвечающих действительной сущности и форме их, опознать их мешает невыясненность профиля и содержания погибших «Записок» Пушкина.

Изучая этот труд, мы увидим прежде всего Пушкина-портретиста, запечатлевшего на страницах своих «Записок» образы современников. Рассказ поэта о своем времени и о себе не сводился при этом к рассказу о встречах с «лицами историческими». «Записки» Пушкина должны были отражать пережитые им исторические и литературные события, которые являлись важнейшими событиями в жизни поэта. Недаром, составляя программу возобновления сожженных «Записок», Пушкин написал на середине страницы «1812» и обвел эту памятную дату особой чертой.

В состав «Записок» входили страницы, воссоздающие историю поколения, к которому принадлежал поэт, отражавшие былое и думы Пушкина. В них входили страницы, обосновывавшие его политическое мировоззрение, которые мы вправе называть страницами высокой художественно-политической прозы Пушкина. Великий поэт создавал книгу, которой можно было бы дать название «Пушкин и его время». Между тем об этом как-то забывают, и это мешает понять, что целый ряд отрывков, в которых Пушкин пишет не о себе или не о себе одном, относились тем не менее к его Автобиографическим запискам.

Отрывки, о которых мы говорим, сами по себе известны,— они известны, поскольку содержатся в составе дошедшего до нас пушкинского текста. Но так как они разобщены, не опознаны в своем действительном качестве и потому не изучены, уцелевшие страницы «Записок» поэта не привлекли до сих пор заслуженного внимания со стороны исследователей и читателей Пушкина.

Страницы «Записок» Пушкина печатаются не только под видом приложений к стихам поэта; они печатаются вперемежку с историческими анекдотами, записанными Пушкиным; печатаются в томе критики, если речь идет в этих отрывках о судьбе произведений Пушкина, печатаются даже в разделе исторической прозы поэта.

Но отрывки «Записок» Пушкина, попавшие в силу тех или иных обстоятельств на места, для них не предназначенные и нередко малоподходящие, выделяются на своих новых местах. Это помогает нам обнаружить их и понять происхождение и характер подобных отрывков. Достаточно взглянуть на эти разобщенные отрывки и задуматься над возможной связью их друг с другом, и мы увидим стилевое единство их, определяемое не только общностью происхождения этих отрывков, но и художественной манерой, характерной для «Записок» поэта и во многом отличающейся от манеры Пушкина-беллетриста.

К «Запискам» Пушкина, как видно из предисловия к начатой им новой Автобиографии, относились прежде всего созданные



поэтом портреты современников; задумавшись над тем, что эти портреты относятся к кругу его работ над Автобиографическими записками, мы убеждаемся в необходимости поставить и изучить тему Пушкин-портретист. Существуют интересные исследования, посвященные рисункам поэта [57]. Но работ, изучающих Пушкина как писателя-портретиста, до сих пор нет [58]. Таким образом, тема боковая, хотя и представляющая бесспорный интерес (рисунки поэта), изучена, в то время как тема первоочередная для исследователей творчества писателя — не поставлена. Между тем изучение литературных портретов, созданных Пушкиным, раскрывает перед нами гениальные реалистическое мастерство и особенности Пушкина-портретиста.

Художественное единство пушкинской прозы, созданной в процессе работы над Автобиографическими записками, обнаруживается со всей очевидностью, если мы соберем разобщенные отрывки этой прозы и посмотрим на них как на уцелевшие части погибшего и незавершенного, но все же дошедшего до нас во фрагментах великого произведения Пушкина. Вместе с тем изучение этих недостаточно оцененных страниц пушкинской прозы приближает нас к пониманию замысла и общего содержания утраченных «Записок» поэта.

«Биографию» свою Пушкин начал писать (как он сам отметил, рассказывая о судьбе своих сожженных записок) в 1821 году. «Ежедневные записки», послужившие материалом для этой «Биографии», он вел уже в лицее, и часть этих лицейских запи-

Декабрист Лунин (предлагал убить императора Александра I). Над профилем его Пушкин изобразил кинжал — эмблему цареубийства. *Рисунок Пушкина. 1819 г. (сохраненный Пушкиным остаток уничтоженного листа).*

сок дошла до нас вместе с небольшим, но чрезвычайно важным отрывком «ежедневных записок» Пушкина, относящихся к 1821 году.

Касаясь того периода жизни и творчества Пушкина, к которому относится работа его над «Записками», первый биограф поэта указывал, что «тайная деятельность мысли и творчества у Пушкина носит совершенно другой характер, чем та, которую он открыл публике и которую мы знаем по его сочинениям от эпохи 1821–1824 гг. Под лучезарными произведениями его поэтического гения, отданными свету, текла, не прерываясь всю жизнь, другая, потаенная струя творчества общественного, политического, исповеднического и задушевного характера...» [59]. Едва ли к какому-либо другому произведению Пушкина могут быть отнесены эти строки Анненкова с бо́льшим основанием, чем к Автобиографическим запискам поэта. Именно в «Записках», перестав быть только «потаенной струей» творчества, пробивающейся наружу в виде отдельных, втайне записываемых мыслей и заметок, широко и полно отразилось в эти годы «общественное, политическое» и «исповедническое» творчество Пушкина. Сочетание этих начал характеризует действительно «Записки» поэта.

Работе над Автобиографией предшествовала работа Пушкина над «ежедневными записками» и автобиографическими письмами, которая и привела его к мысли написать свою «Биографию».

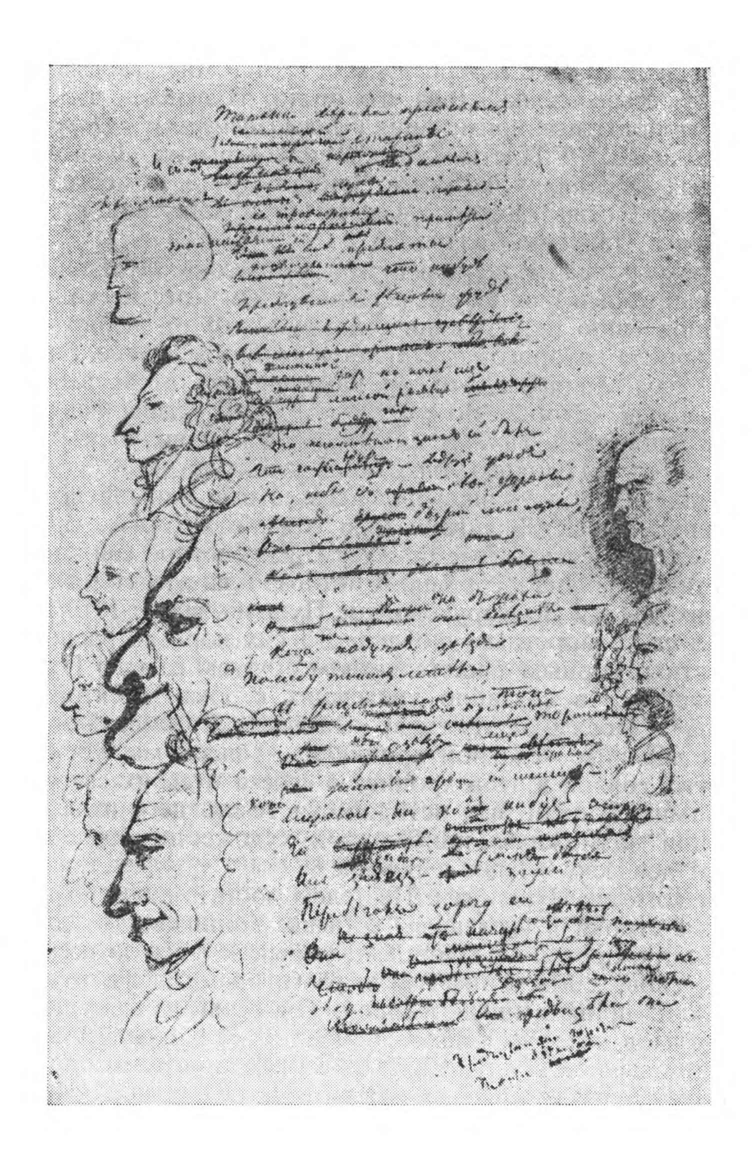
Нача́в работать над ней в 1821 году, Пушкин, по собственным его словам, «несколько лет сряду занимался ею» [60]. Труд его далеко продвинулся в период михайловской ссылки, где он в течение года (с осени 1824 года по конец 1825 года) работал над своими «Записками».

«Знаешь мои занятия? – сообщал он брату в ноябре 1824 года,– до обеда пишу «Записки» («обедаю поздно» [61], – добавлял он при этом). Вскоре Пушкин снова писал брату: «Образ жизни моей все тот же, стихов не пишу, продолжаю свои «Записки» [62]. Два месяца спустя поэт опять извещал его: «Стихов новых нет – пишу «Записки» [63]. И, наконец, в сентябре 1825 года сообщал Катенину: «Стихи покамест я бросил и пишу свои mémoires (мемуары. – *И. Ф.*), то есть,– пояснял он шутливо,– переписываю набело скучную, сбивчивую черновую тетрадь» [64]. Работа над Автобиографическими записками к этому времени продвинулась настолько, что Пушкин переписывал их уже набело.

Друзья Пушкина – писатели, с которыми он состоял в переписке,– интересовались ходом этой работы. «Что твои записки?» [65] – спрашивал Пушкина Рылеев в письме 25 марта 1825 года. «Сестра твоя сказывала,– писал Пушкину Вяземский 31 июля 1826 года, вскоре после смерти Карамзина,– что ты хотел прислать мне извлечения из записок своих относительно до-



Профили декабристов в рукописи «Евгения Онегина». Январь, 1826 г. Пушкин дважды нарисовал на левом поле этого листа И. И. Пущина (второй и третий профиль – сверху вниз). Между верхним и нижним профилями Пущина Пушкин изобразил себя и затем заштриховал свой профиль. В правом нижнем углу страницы – профили Кюхельбекера и Рылеева.



Страница черновой рукописи «Евгения Онегина». В январе 1826 г. Пушкин нарисовал на ней себя в костюме времен французской революции (левое поле страницы, второй профиль сверху). Ниже — Мирабо (большой профиль), левее его — Рылеев (меньший профиль). Большой профиль Вольтера — в левом нижнем углу страницы.

Карамзина. Жду их с нетерпением»[66]. «Лев мне сказывал,— писал поэту, ссылаясь на слова его брата, Плетнев,— что у тебя есть прелюбопытные примечания к *Воспоминаниям в Царском селе*. Пришли их...»[67] Плетнев имел в виду отрывок «Записок», посвященных Державину, который Пушкин думал поместить в собрании своих стихотворений в качестве приложения к «Воспоминаниям в Царском Селе».

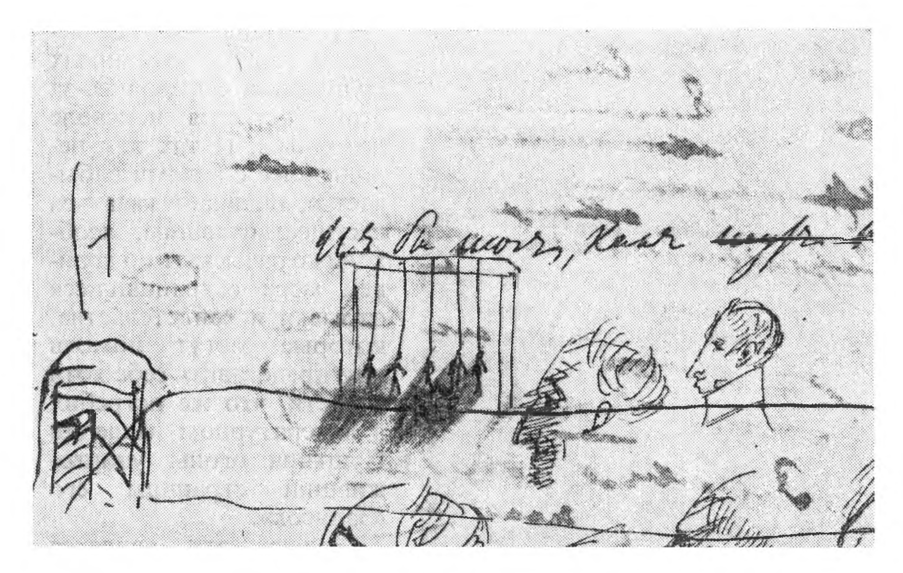
Но друзья так и не дождались «Записок» Пушкина: поэт вскоре принужден был их сжечь. Приступив через несколько лет к возобновлению их, Пушкин указывал, что он избирает себя «лицом, около которого» постарается «собрать другие, более достойные замечания», и что он намерен при этом воссоздать образы людей, которые, по его словам, ныне «сделались историческими лицами»[68]. Такими лицами, как ясно видно из предшествующих слов Пушкина, он считал декабристов.

Не так давно опубликованы неизвестные раньше показания Горсткина, данные 28 января 1826 года, в которых, как верно указывает М. Нечкина, мы получаем достоверное свидетельство об участии Пушкина в собраниях «Союза благоденствия», происходивших у Ильи Долгорукова, где Пушкин зимой 1819/1820 года читал свои запретные «ноэли». До сих пор мы располагали только стихотворным свидетельством об этом самого Пушкина, сохранившимся в случайно уцелевших строках десятой главы «Онегина». Прослушав эту главу «Онегина», Вяземский назвал ее в своем дневнике «славной хроникой». Теперь мы убеждаемся в том, что, говоря в этой хронике о себе и о своих связях с декабристами, Пушкин был исторически точен, не считая в этом отношении возможным прибегать к художественному вымыслу — или домыслу — даже в романе[69].

О знакомстве Пушкина с Пестелем достаточно ясно говорят известные строки в уцелевшем отрывке кишиневского дневника поэта: «Утро провел я с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова... Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...»[70] (запись от 9 апреля 1821 года).

В составленной Пушкиным в 30-е годы программе возобновления сожженных «Записок» мы читаем: «Орлов»... «Каменка» (Каменка, как известно, являлась важнейшим центром декабристов). В Кишиневе, который значится в той же программе возобновления «Записок», поэт тесно общался с «первым декабристом» Владимиром Раевским, Михаилом Орловым и другими членами Тайного общества.

В своих черновых тетрадях Пушкин рисовал себя среди профилей декабристов, рисовал вождей движения — Пестеля и Рыле-

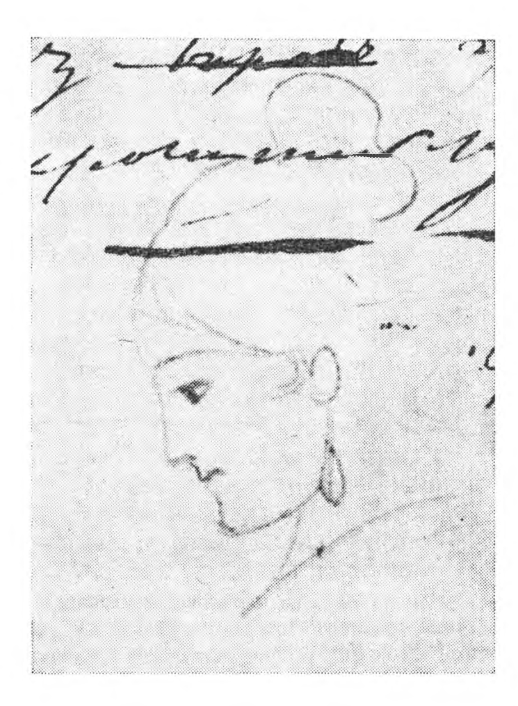


Казнь декабристов. На этом листе Пушкин дважды нарисовал виселицу с пятью казненными декабристами и написал: «*И я бы мог...*»
Рисунок Пушкина. 1826 г. Фрагмент.

ева и своих ближайших друзей – Пущина и Кюхельбекера, рисовал Лунина, Михаила Орлова и других декабристов. Но признание, сделанное Пушкиным в начале 30-х годов в предисловии к возобновляемым «Запискам», позволяет нам утверждать с несомненностью (а не только гипотетически), что великий поэт изобразил декабристов не в одних зарисовках, сохранившихся на полях его рабочих тетрадей, и не только в быстрых строфах десятой главы «Онегина». В сожженных Автобиографических записках, то есть в первом же своем написанном в прозе большом произведении, Пушкин создал портреты революционеров своего времени, о которых писал, по собственным словам, «с откровенностию дружбы или короткого знакомства».

В те же годы, когда Грибоедов создавал «Горе от ума», и еще до того, как Некрасов создал поэмы, посвященные памяти декабристов, Пушкин запечатлел в своих Автобиографических записках революционеров своего времени, лучших людей из дворян, как назвал век спустя декабристов Владимир Ильич Ленин.

Созданные Пушкиным портреты декабристов не дошли до нас. Это одна из великих утрат, понесенных русской литературой в борьбе с самодержавием. Портреты эти обречены были самодержавием на гибель, как обречены были на гибель сами декаб-



А. П. Керн. *Рисунок Пушкина. 1829 г.*

ристы. Наше представление о галерее созданных Пушкиным образов из-за этого остается поневоле неполным. И так как недошедшее с годами забывается, начинает казаться несуществовавшим, необходимо разыскать по крайней мере сохранившиеся отрывки и свидетельства, которые могут помочь нам представить себе хоть отчасти, что же истребил в литературном наследии Пушкина огонь, уничтоживший страницы его «Записок».

Задача эта является осуществимой, конечно, только до известной степени. Но мы видели, что Пушкин сжег свои «Записки» не целиком, и, как ни значительно было место, занимаемое в них портретами декабристов, содержание «Записок» великого поэта не сводилось к этим, не дошедшим до нас, портретам.

Поэт использовал материал, содержавшийся в его погибших «Записках», и для других своих замыслов. По словам Анненкова, он собирался в «Русском Пеламе» «провести под покровом романа собственные свои воспоминания» и «воскресить под предлогом описания жизненной обстановки» героя «собственные свои записки, некогда им истребленные» [71]. (Пушкин не только пытался, но — чего не знал Анненков — и воскресил из них многое в своем романе в стихах, то есть в написанной им — и затем также сожженной — запретной части «Онегина».)

От «Записок» Пушкина до нас дошли, по счастью, не только фрагменты. Сохранились, как мы уже говорили, составленные поэтом в начале 30-х годов программы возобновления «Записок», проливающие до известной степени свет и на содержание его погибших «Записок».

Поневоле вытесненные из «Записок» поэта страницы находили себе место в других произведениях Пушкина; поэт воскрешал

многое из своих «Записок» не только «под покровом «романа»; до нас дошли предназначавшиеся первоначально для Автобиографических записок Пушкина, но включенные им по необходимости в другие произведения портреты современников, при работе над которыми поэт не прибегал к художественному вымыслу.

Все это, в особенности изучение сохранившихся отрывков «Записок» и программ Пушкина, позволяет нам составить известное представление о не дошедшем до нас автобиографическом труде поэта и даже уяснить себе место, которое занимали или должны были занять в нем дошедшие до нас отрывки, представляющие собой разобщенные части незавершенного, но единого по замыслу произведения.

ЗАПИСКИ О КОРОТКОМ ВРЕМЕНИ

«Биография» была первым большим прозаическим произведением поэта.

«С прозой – беда! Хочу попробовать этот первый опыт», – сказал Пушкин в 1824 году о своих не дошедших до нас повестях из молдавской старины [1]. Создаваемая им в те же годы автобиографическая проза удовлетворяла Пушкина, по-видимому, в гораздо большей степени, чем его первые повести.

Говоря о пути, которым Пушкин шел к созданию своей прозы, вспоминают часто о письмах Пушкина, не без основания называя работу поэта над ними лабораторией его прозы. О погибших же Автобиографических записках Пушкина при этом забывают, и забывают, как увидим, напрасно.

«Лета к суровой прозе клонят», – сказал Пушкин в шестой главе своего «Онегина». Поэт, вероятно, имел в виду здесь прежде всего свою Автобиографию: в черновике – к словам «Лета к суровой прозе клонят» и следующим за ними – есть вариант, который говорит, что «лета» «гонят» не «рифму» только, но и «вымысел» [2]. Вариант этот дает понять, что «лета» клонят поэта не просто к прозе (в отличие от стихов), а к «суровой» прозе – без «вымысла». Такой прозой и были незадолго перед тем созданные «Записки» поэта. Гибель этого произведения заставляет исследователей забывать не только о самих «Записках», но и о важном значении их для формирования прозы Пушкина. Между тем мы вправе сказать, что путь, которым Пушкин шел к созданию своей прозы, вел его прежде всего от писем и «ежедневных записок» к большой автобиографической прозе, то есть к созданию «Записок».

Письма Пушкина отражали действительность непосредственно, художественность не связана была для него в этом жанре с художественным вымыслом. Подобного рода произведением, только произведением большой формы, являлись «Записки» поэта. И потому вопрос о связи их с эпистолярной прозой Пушкина приобретает для нас не только формальное значение. С путями становления пушкинской прозы, о которых мы говорим, связан характер не только автобиографической, но и всей последующей повествовательной прозы Пушкина – «поэта действительности» (как он сам впоследствии определил себя). Большой интерес поэтому представляет уяснение вопроса о том, как пришел двадцатидвухлетний Пушкин к мысли о создании своей «Биографии».

Письма служили Пушкину прежде всего важнейшим материалом для нее. В 1833 году, то есть как раз в то время, когда Пушкин работал над возобновлением своих сожженных в 1825 году «Записок», Плетнев жаловался Жуковскому, что Пушкин «ничего не делает, как только утром перебирает в гадком сундуке своем старые к себе письма» [3]. А говоря о так называемом «Дневнике», который Пушкин вел в середине 30-х годов, один из исследователей «Дневника» поэта с некоторым удивлением заметил, что если сравнить последний «с материалами пушкинских писем к жене и друзьям за то же время», то мы увидим, что письма эти и являются, «собственно, подлинным дневником» Пушкина [4].

Николай Николаевич Раевский-старший, посылая жене письмо, содержащее описание путешествия Раевских на юг (куда Пушкин отправился вместе с ними), называет это свое пространное письмо «родом журнала» [5]. Дневником (или журналом, как тогда говорили) называют свои письма Вяземский и Боратынский [6].

Но письма были для Пушкина не только материалом, который он мог – и должен был – использовать, работая над своей «Биографией». Существуют, как мы говорили уже, не только письма-дневник, существуют письма-воспоминания, то есть мемуары, написанные в эпистолярной форме.

Необходимо при этом учесть, что письма-воспоминания могут писаться не только много лет спустя после событий. «Я перевариваю воспоминания, – писал Пушкин Дельвигу 23 марта 1821 года (в тот год, когда он начал свою «Биографию»), – и надеюсь набрать вскоре новые; чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости, как не воспоминаниями» [7]. Намекая в том же письме на свое намерение принять участие в начавшемся восстании греков против турецкого владычества («скоро оставляю благословенную Бессарабию, – есть страны благословеннее.

Праздный мир не самое лучшее состояние жизни»[8]), Пушкин думал, «набирая» новые воспоминания, вскоре же ввести их в начатую им Автобиографию.

Но еще до того, как начать ее, Пушкин написал два письма, резко выделяющиеся среди других его писем,— мы говорим об известном письме Пушкина к брату, где описывается пребывание поэта на Кавказе и в Крыму[9], и о письме, написанном им в марте 1821 года, в котором изображено начало греческого восстания. Эти письма поэта можно было бы назвать, в отличие от других его писем, относящихся к тому же периоду, «записками о коротком времени», как назвал позднее свои «Письма из Франции и Италии» Герцен. «Они составляют необходимую часть моих «Записок»,— писал он в «Былом и думах», поясняя: «что же, вообще, письма, как не *записки* о коротком времени»[10].

Письмо Пушкина к брату, о котором мы говорим, рассчитано было, как отмечалось уже в литературе, на читателей и — добавим — на распространение в списках. «Вот копия с письма его к меньшему брату его, после кавказского путешествия»,— писал Александр Тургенев (сам автор предназначавшихся для распространения в публике писем), пересылая Сергею Тургеневу копию пушкинского письма[11].

Недостаточно, однако, в данном случае указать на то, что письмо Пушкина к брату является написанным в эпистолярной форме произведением, предназначавшимся для распространения и призванным ознакомить не одних только родственников Пушкина с путевыми впечатлениями поэта. Относить это письмо к числу «писем-путешествий» едва ли правильно: оно представляет собой несомненно один из первых законченных образцов высокой автобиографической прозы Пушкина.

Страницы Пушкина, о которых мы говорим, охватывают период пребывания его на Кавказе и в Крыму ретроспективно. В них нет текущих, ежедневных или недельных подробностей, свойственных обычно письму. События в нем взяты в масштабе биографии поэта. И это настолько сближает рассматриваемое письмо с «Записками», что оно во многом предвосхищает страницы, которые должны были войти в Автобиографические записки поэта. Перед нами как бы ранний вариант кавказской (и частью крымской) главы «Записок» Пушкина — вариант, написанный еще до того, как он начал писать свою «Биографию».

«Начинаю с яиц Леды,— писал Пушкин в этом письме.— Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку, по моему обыкновенью...» Рассказав о встрече с Раевскими, которые пригласили его отправиться вместе с ними для леченья на Кавказ, Пушкин далее пи-



Автопортрет. *1821 г.*

шет: «Я лег в коляску больной: через неделю вылечился. Два месяца жил я на Кавказе... Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной...» «Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях,— пишет Пушкин.— Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои — излишними...»

«Вокруг нас,— продолжает он,— ехали 60 казаков, за нами тащилась заряженная пушка, с зажженным фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа — они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасться на аркан какого-нибудь чеченца. Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению». Последние строки, заметим в скобках, предвосхищают интонацию лермонтовской прозы.

Пушкин пишет про «тень опасности» со стороны черкесов, на которых нельзя положиться. Но подчеркивает, что вынужден умолчать об опасности, которая грозила правительству со стороны казаков. «Когда-нибудь прочту тебе мои замечания на черноморских и донских казаков — теперь не скажу об них ни слова»,— пишет он со значением. «Замечания» Пушкина, до нас не дошедшие, касались, конечно, волнений, охвативших земли донского казачества в 1818—1820 годах. В движении этом участвовало больше сорока пяти тысяч человек.

«Донцы были недовольны правительством и особенно Чернышевым» (который руководил жестоким усмирением их). «Они до одного все восстали бы»,— писал впоследствии один из

декабристов, вспоминая 1825 год и осуждая Ермолова за то, что тот не пожелал воспользоваться возможностью поднять казаков и двинуть их на Петербург, чтобы поддержать выступление декабристов[12].

С Кавказа Пушкин отправился вместе с Раевскими в Крым. «Морем, — пишет он далее в том же письме, — отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды в *Юрзуф*, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я Элегию...»

Пушкин не упоминает о юной Марии Раевской, которую тогда полюбил, в письме его дан портрет Раевского-старшего, прославленного участника Отечественной войны 1812 года, он пишет: «Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери — прелесть, старшая — женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив...»[13].

Пушкин пишет в своем письме о Кавказе и Крыме, гово-



Александр и Екатерина Раевские.
Рисунки Пушкина. 1821 г.

рит о России и Востоке, представляет нам Раевского в кругу семьи, называя время, которому посвящено письмо, «счастливейшими минутами» своей жизни. Если Вяземский видел в «Письмах» Карамзина «не только *Письма Путешественника*, но настоящие мемуары», то письмом-мемуарами мы с не меньшим основанием вправе назвать (если говорить о жанре) письмо Пушкина к брату. Не следует забывать только, что дорога на юг была для Пушкина дорогой в ссылку, о чем он должен был умалчивать в своем письме, предназначавшемся, как мы уже говорили, для распространения.

Высланный в том же 1820 году из Петербурга на Кавказ приятель Пушкина Александр Ардалионович Шишков противопоставил письмам Карамзина описание своего «Путешествия» «в полуденную Сибирь». Вспоминая «наших Иориков», то есть подражателей, которые, говорит он, едут «Ронять, как новый Стерн,/ / Жемчужную слезу на шелковичный дерн», – Шишков писал: «Путешествовать на быстрых фельдъегерских конях, без малейшего желания путешествовать, и не знать, когда возвратишься под сень родимой кровли, даже не иметь к тому ни малейшей надежды, это не легко...» [14]

Еще больше, чем письмо Пушкина к брату, выделяются среди пушкинских писем того же времени страницы, посвященные поэтом греческой революции.

«Греция восстала и провозгласила свою свободу, – писал в марте 1821 года Пушкин в первом из этих так называемых писем (адресуемых предположительно В. Л. Давыдову). – Теодор Владимиреско, служивший некогда в войске покойного князя Ипсиланти, в начале февраля нынешнего года вышел из Бухареста с малым числом вооруженных арнаутов и объявил, что греки не в силах более выносить притеснений и грабительств турецких начальников, что они решились освободить себя от ига незаконного...

...21 февраля генерал князь Александр Ипсиланти с двумя из своих братьев и с князем Георгием Кантакузеном – прибыл в Яссы из Кишинева, где оставил он мать, сестер и двух братий...

...Известие о возмущении поразило Константинополь...

...Восторг умов дошел до высочайшей степени, все мысли устремлены к одному предмету – к независимости древнего отечества. В Одессах, – продолжает Пушкин, – я уже не застал любопытного зрелища: в лавках, на улицах, в трактирах – везде собирались толпы греков, все продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты, все говорили о Леониде, об Фемистокле, все шли в войско счастливца Ипсиланти...

...Ипсиланти идет на соединение с Владимиреско. Он называется Главнокомандующим северных греческих войск и уполномоченным Тайного Правительства. Должно знать, что уже тридцать лет составилось и распространилось тайное общество, коего целию было освобождение Греции... Отдельная вера, отдельный язык, независимость книгопечатания, с одной стороны – просвещение, с другой – глубокое невежество – все покровительствовало вольнолюбивым патриотам...

...Первый шаг Александра Ипсиланти прекрасен и блистателен. Он счастливо начал и – мертвый или победитель – отныне он принадлежит истории – 28 лет, оторванная рука, цель великодушная! – завидная участь. Кинжал изменника опаснее для него сабли турков...



Н. Н. Раевский-старший.
Рисунок Пушкина. 1821 г.

...Важный вопрос: что станет делать Россия; займем ли мы Молдавию и Валахию под видом миролюбивых посредников; перейдем ли мы за Дунай союзниками греков и врагами их врагов? Во всяком случае буду уведомлять...» [15]

Эти блестящие страницы Пушкина не являются, конечно, письмом, несмотря на то что их печатают среди писем поэта. К какому же роду произведений они относятся? «И историю пытался Пушкин писать первоначально... в эпистолярной форме», – отвечает на этот вопрос Г. Винокур, касаясь пушкинского письма о греческой революции [16]. Но страницы эти посвящены Пушкиным не просто истории, а истории своего времени и написаны о начавшемся греческом восстании против турецкого владычества, то есть о событиях, в которых Пушкин горячо стремился тогда принять участие.

Кроме того, как верно заметил Б. Казанский, «это письмо» «не имеет ничего эпистолярного; если бы не содержащееся в начале его обращение («Уведомляю тебя о происшествиях») и не фраза в середине: «Ты видишь простой ход и главную мысль...»,



П. А. Вяземский.
Рисунок Пушкина. 1826 г.

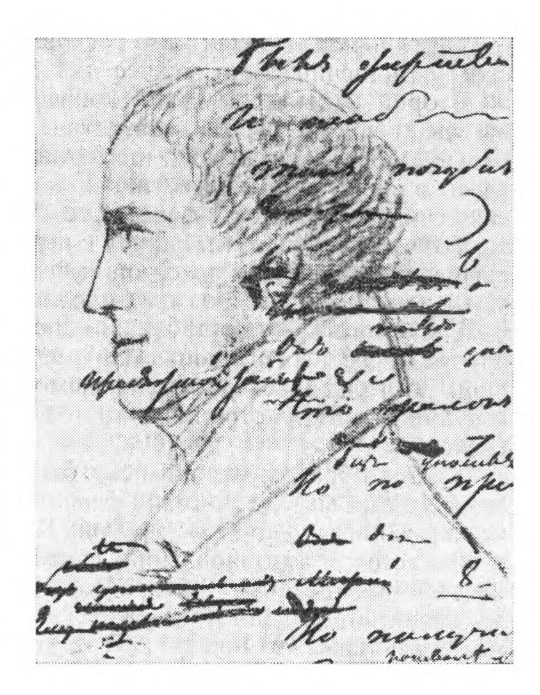
оно «было бы» «отличной страницей записок»[17],— говорит этот исследователь. Но условное обращение к предполагаемому (неконкретизируемому) адресату, с которого начинаются эти страницы Пушкина, не превращают их, конечно, в письмо. «Письмо», о котором мы говорим, не только «было бы», но и является отличной страницей, вернее — написанными под видом письма страницами записок Пушкина о греческой революции, начатых поэтом в тот же год, когда он начал писать свою «Биографию».

Страницы этого пушкинского «письма» сохранились только в черновой тетради поэта. «И нет даже твердой уверенности, кому оно адресовано»,— отмечает один из исследователей[18]. Адресат в нем не указан — и оно написано без всякого обращения к какому бы то ни было конкретному адресату, видимо, потому, что адресовано Пушкиным читателям, а не отдельному лицу (хотя, написав эти страницы и предназначая их для распространения, Пушкин мог, конечно, приурочить их потом к какому-нибудь из своих адресатов).

Пересылка подобного рода письма адресату являлась во времена Пушкина только предлогом, или средством, для распространения написанного. Вспомним хотя бы о письмах Александра Тургенева, автора и неутомимого распространителя такого рода эпистолярных произведений. Вяземский вспоминает, что, когда Тургенев приехал с одним из своих приятелей в Англию, приятель этот, «расстроенный переездом, усталый... бросился на кровать, чтоб немного отдохнуть». Тургенев же «сейчас переоделся», «узнал в посольстве о немедленном отправлении курьера и поспешил домой, чтобы изготовить письмо». «Да кому же хочешь ты писать?» — спросил его приятель. «Тут Тургенев немножко смутился и призадумался: «Да, в самом деле,— сказал он,— я обыкновенно переписываюсь с тобою, а ты теперь здесь. Но все равно: напишу одному из почтдиректоров, или москов-

скому Булгакову, или петербургскому». И тут же сел к столу и настрочил письмо в два или три почтовые листа»[19]. Адресовать письмо московскому *или* петербургскому почтдиректору — известным тогда «вестовщикам» — было почти то же, что напечатать его.

Тот же Вяземский писал в своей «Старой записной книжке»: «Тютчев забавно рассказывает о письме Чадаева к Тургеневу. Он однажды заманил к себе Тютчева и прочел ему длинную, нравоучительную и несколько укорительную грамоту. Прочитав ее, Чадаев спросил: «Не правда ли, что это напоминает письмо Ж.-Ж. Руссо к Парижскому архиепископу?» — «А что же, вы послали это письмо к Тургеневу?» — спросил Тютчев. «Нет, не посылал, — отвечал Чадаев»[20]. Таким образом, литературное письмо могло распространяться, даже не будучи посланным.



П. Я. Чаадаев. *Рисунок Пушкина в рукописи «Евгения Онегина». 1824 г.*

Письмо Пушкина о греческой революции не осталось единственным. Заметим, что оно кончается словами: «Во всяком случае буду уведомлять...» Продолжением задуманной Пушкиным серии писем о греческой революции и являются — на наш взгляд — два отрывка, написанные Пушкиным позднее, когда отношение его ко многим участникам греческого восстания — но не к делу греков — изменилось (датируются июнем 1823 г. — июлем 1824 г.). Они печатаются в собрании сочинений Пушкина в качестве отрывков из писем, адресованных, как и первое большое письмо, предположительно тому же В. Л. Давыдову.

Первый из отрывков, о которых мы говорим, начинается словами: «С удивлением слышу я, что ты почитаешь меня врагом освобождающейся Греции и поборником турецкого рабства». А кончается этот пушкинский отрывок словами: «Ничто еще не

было столь *народно*, как дело греков, хотя многие в их политическом отношении были важнее для Европы»[21].

Второй отрывок Пушкин кончает словами: «...дело Греции вызывает во мне горячее сочувствие, именно поэтому-то я и негодую, видя, что на этих ничтожных людей (Пушкин говорит здесь о недостойных участниках движения.— *И. Ф.*) возложена священная обязанность защищать свободу»[22].

То, что отрывки эти, наряду с первым письмом Пушкина, посвященным греческой революции, печатаются как отрывки из писем, адресованных поэтом предположительно все тому же В. Л. Давыдову (хотя они были написаны Пушкиным два-три года спустя после первого «письма»), является следствием сознаваемой, но только неверно понимаемой редакторами связи, существующей между страницами, посвященными Пушкиным делу греков.

Каким образом использовал бы Пушкин впоследствии письмо (или письма) о греческой революции в своих Автобиографических записках — вопрос другой. Но мы знаем, что, приступив в 30-е годы к возобновлению своей сожженной после разгрома восстания 14 декабря «Биографии», Пушкин включил в программу своих новых «Записок» раздел «Греческая революция»[23]. Напомним также, что Герцен не только отсылает читателя «Былого и дум» к своим «Письмам» о революции во Франции и в Италии, он не только использует и цитирует их в «Былом и думах», но и замечает: «Они составляют необходимую часть моих «Записок».

Изучение автобиографического письма Пушкина к брату и письма поэта о начале греческой революции дает нам возможность понять предысторию «Записок» Пушкина. Мы видим, насколько подготовлен был переход Пушкина от автобиографических писем (и писем, представляющих собой «записки о коротком времени») к созданию Автобиографических записок.

УЦЕЛЕВШИЕ ОТРЫВКИ

КАРАМЗИН

Посвященные выходу в свет «Истории» Карамзина листы «Записок» Пушкина были напечатаны без подписи в сильно сокращенном по цензурным соображениям виде полтора года спустя после смерти автора «Истории государства Российского» с указанием: «Извлечено из неизданных записок». Отрывок этот приходится печатать теперь в собрании сочинений поэта

дважды: настолько отличается от печатного рукописный текст его.

Сохраненные листы оторваны были Пушкиным от других, не дошедших до нас листов и начинаются поэтому обрывком фразы, в которой Пушкин говорил о своих вольнолюбивых стихотворениях, написанных им до ссылки.

Содержание этих страниц, вырванных Пушкиным из рукописи «Записок» (а не одно только признание, сделанное поэтом в письме к Вяземскому), показывает, что они являются бесспорно сохраненными при сожжении, а не вновь написанными после смерти Карамзина страницами «Записок» Пушкина. Между тем в Большом академическом издании сочинений поэта отрывок, посвященный Карамзину, датировался временем не ранее июня 1826 года, то есть признавался написанным после смерти Карамзина [1], а в некоторых других изданиях указывается, что отрывок этот только «по-видимому» представляет собой фрагмент уничтоженных «Записок» поэта [2]. Необходимо со всей определенностью установить, что перед нами сохраненный Пушкиным отрывок их.

Сравнив сохраненные поэтом листы с напечатанным им позднее извлечением из них, мы увидим, насколько политически острыми, и потому внецензурными, являлись страницы, посвященные Карамзину в «Записках» Пушкина.

«Ты хотел прислать мне извлечения из записок своих относительно до Карамзина. Жду их с нетерпением»,– писал Пушкину 31 июля 1826 года (то есть после смерти Карамзина) Вяземский. «Ты часто хотел писать прозою,– говорит он, обращаясь к Пушкину в том же письме,– вот прекрасный предмет! Напиши взгляд на заслуги Карамзина и характер его гражданский, авторский и частный. Тут будет место и воспоминаниям твоим о нем. Можешь,– предлагал Вяземский,– издать их в виде отрывка из твоих записок» [3].

Вяземский знал, что страницы «Записок», посвященные Карамзину, уже существуют, и просил Пушкина переслать ему эти страницы. Но одновременно советовал Пушкину написать, в связи со смертью Карамзина, другое, новое произведение – «Взгляд на заслуги Карамзина и характер его»: «Тут (то есть в этом произведении.– *И. Ф.*) будет место и воспоминаниям твоим о нем»,– указывал Вяземский. Пушкин не последовал этому совету и, вместо того чтобы использовать свои воспоминания для создания нового произведения о Карамзине, обещал переслать Вяземскому сохраненные при сожжении «Записок» листы, посвященные выходу в свет «Истории» Карамзина. Эти сохраненные листы сожженных «Записок» Пушкин и напечатал полтора года



Автопортрет. *1823 г.*

спустя, исключив из них места, которые не могли быть пропущены цензурой. Кроме вырванных самим поэтом из рукописи сожженных «Записок» листов, сохранился еще один, отдельный листок (тут Пушкин вспоминает о своих политических спорах с Карамзиным), который печатается теперь обычно как продолжение страниц, вырванных поэтом из белой рукописи «Записок».

В уцелевшем отрывке Пушкин вспоминает об опасной болезни, которую он перенес весной 1818 года: «Лейтон (известный врач. — *И. Ф.*), — говорит он, — за меня не отвечал. Семья моя была в отчаяньи; но через шесть недель я выздоровел». Рассказав, как он «с жадностью и со вниманием» прочел в своей постели первые восемь томов только что появившейся «Истории» Карамзина, Пушкин вспоминает о том, каким событием явился выход в свет этой книги: «3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили» [4].

Пушкин отбросил в печати строки, рассказывавшие, каким событием явилось в его писательской жизни появление «Истории государства Российского», и оставил только рассказ о нем как о событии общественном. В свой рассказ Пушкин принужден был внести, как мы говорили уже, значительные цензурные изменения, поскольку он упоминал на страницах своих «Записок» о резкой критике, которой подвергли «Историю» Карамзина писатели-декабристы при выходе в свет первых ее восьми томов. Пушкин должен был отбросить в печати и ту, отдельно сохранившуюся, страницу «Записок», где он говорит о своих политических спорах с Карамзиным: «Однажды, — вспоминает Пушкин, — начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказал: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе».

«Любимые парадоксы» Карамзина, против которых так резко спорил Пушкин, заключались, как известно, в утверждении, что «самодержавие есть палладиум России» и «целость его необходима для ее счастия» [5]. Карамзин настаивал на сохранении в России крепостного права.

«Настоящее,— писал он в 1811 году,— бывает следствием прошедшего. Чтобы судить о первом, надлежит вспомнить последнее...»[6] И, доказывая необходимость самодержавия, написал свою «Историю государства Российского». Своей тенденции Карамзин не скрывал. Через несколько лет после смерти его, говоря в «Обозрении русской словесности 1829 года» о значении «Истории» Карамзина, И. Киреевский поэтому заметил: «Политические мнения для приобретения своей достоверности должны обратиться к событиям, следовательно, к истории»[7].

Вспоминая в 1836 году появление «Истории» Карамзина, князь Вяземский, перешедший к этому времени на сторону реакции, указывал:

«Часть молодежи нашей, увлеченная вольнодумством... замышляла в то время несбыточное преобразование России. С чутьем верным и проницательным, она тотчас оценила важность книги, которая была событие, и событие, совершенно противодействующее замыслам ее... Медлить было нечего. Колкие отзывы, эпиграммы, критические замечания... посыпались на книгу и на автора из среды потаенного судилища... Им не хотелось самодержавия; как же им было не подкапываться под творение писателя, который... доказывал, что мудрое самодержавие спасло, укрепило и возвысило Россию»[8].

На фоне этих рассуждений понятным становится, какой смелостью было со стороны Пушкина вспоминать в печати — через два года после разгрома декабристов — спор их с Карамзиным, даже если Пушкин во многом не солидаризировался с критикой, которой декабристы подвергли тогда «Историю» Карамзина.

«Никита Муравьев, молодой человек умный и пылкий,— говорит Пушкин в своих «Записках»,— разобрал предисловие или введение: предисловие!..» (к «Истории» Карамзина). Пушкин считал, что труд Карамзина требует от критика большего, нежели разбора одного только предисловия. Возражение, казалось бы, важное. Но предисловие Карамзина было декларативным и имело несомненно самостоятельное значение. «История народа принадлежит царю»,— писал Карамзин, посвящая свой труд Александру I. «История принадлежит народам»,— отвечал Никита Муравьев. Выступление его было выступлением политическим, для которого разбор декларативного предисловия Карамзина являлся достаточным основанием.

Таким образом, Пушкин вспоминал в печати о рукописи Никиты Муравьева, в которой тот чрезвычайно резко, с декабристских позиций, критиковал политическую тенденцию Карамзина. Имя Никиты Муравьева, находившегося в это время на каторге в Сибири, Пушкин должен был, разумеется, заменить в печати

первой буквой его имени. Но он смело назвал этого «государственного преступника» «человеком умным и пылким», зная, что рукопись Муравьева достаточно широко известна, так как распространялась в списках и бесспорно дошла до сведения правительства. Это тем более замечательно, что точка зрения Пушкина на «Историю» Карамзина, выраженная в «Записках», не совпадала, как мы уже говорили, с точкой зрения Никиты Муравьева. Но как и в чем она не совпадала с нею? «Молодые якобинцы,— писал Пушкин, имея в виду декабристов, критиковавших Карамзина,— негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения». Фразу эту, совершенно невозможную в подцензурной печати, Пушкин вынужден был, разумеется, исключить, поскольку он подчеркивал в ней, что «верный рассказ событий» опровергает размышления Карамзина «в пользу самодержавия».

Вслед за упоминанием о критике, которой подвергли декабристы карамзинскую «Историю», мы читаем у Пушкина в печатном тексте: «Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина». В рукописи «Записок» Пушкин этим не ограничился: он раскрывает смысл этой пародии. «Римляне времен Тарквиния, не понимающие *спасительной пользы самодержавия*,— подчеркивает он,— и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, *ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностию,* конечно, были очень смешны». Слог историка, как видим, пародировался — в этом суть дела — с целью вскрыть и осмеять политические установки Карамзина. Сразу вслед за строками этой пародии Пушкин замечает: «Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм», подразумевая, вероятно, известную эпиграмму на Карамзина[9].

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
    Необходимость самовластья
    И прелести кнута.

Говоря, что эпиграмму эту ему «приписали», Пушкин оценивает ее, как видим, высоко — и едва ли только с литературной стороны: слова его в споре с Карамзиным («Итак, вы рабство предпочитаете свободе») чрезвычайно близки по смыслу к этой эпиграмме, хотя сказаны они, может быть, были Пушкиным и не по поводу самой «Истории» Карамзина, а по поводу политических взглядов, в ней обоснованных.

Но, резко расходясь с Карамзиным и вспоминая свои споры с ним, Пушкин и в рукописи и в печатном тексте своих «Запи-

сок» называет его исторический труд «созданием великого писателя» и «подвигом честного человека». И это требует, конечно, объяснения.

Некоторые резко осуждавшие «Историю» Карамзина декабристы отдавали должное художественной стороне его труда. Александр Бестужев в своем «Взгляде на старую и новую словесность в России» писал: «Время рассудит Карамзина, как историка, но долг правды и благодарности современников венчает сего красноречивого писателя, который своим прелестным, цветущим слогом сделал решительный переворот в русском языке на лучшее»[10]. И даже наиболее резкая из эпиграмм, вызванных появлением «Истории» Карамзина, признавала:

> Решившись хамом стать пред самовластья урной,
> Он нам старался доказать,
> Что можно думать очень дурно
> И очень хорошо писать.

Пушкин относился к прозе Карамзина критически. «Вопрос, чья проза лучшая в нашей литературе. Ответ — *Карамзина,* — писал он в набросках 1822 года, поясняя: — Это еще похвала не большая...»[11] Что касается «Истории» Карамзина, то последние тома ее Пушкин оценил, как известно, много выше, чем первые.

Называя труд Карамзина «подвигом», Пушкин подчеркивал, что труд этот открыл читателям историю древней России, «дотоле им неизвестную». Ноты русской истории (то есть исторические источники, широко охваченные Карамзиным и изданные им в качестве приложений к своей «Истории». — *И. Ф.*) свидетельствуют, по словам Пушкина, обширную ученость Карамзина. Одним этим нельзя было бы объяснить оценку, которую дает Пушкин его труду. Но следует вспомнить, что столь сведущий и принципиальный критик, как Лунин, один из самых выдающихся писателей-декабристов, также отдавал должное историческим разысканиям Карамзина.

Даже в историческом очерке, написанном позднее декабристом Фонвизиным и прямо направленном, как правильно отметил в свое время В. Семевский, против реакционной «Записки о древней и новой России» Карамзина, мы читаем: «Карамзин первый начал разрабатывать... источники с знанием дела и собрал много до него неизвестных сведений и актов в примечаниях к своей истории, занимающих половину его книги. Это — главная его заслуга»[12]. «В его время, — поясняет Фонвизин, — многое ныне обнародованное валялось еще в архивах и монастырях, покрытое вековою пылью, и вовсе было неизвестно занимающимся нашею историей и древностями»[13].

Эта бесспорная заслуга историографа, повторяем, не могла бы сама по себе объяснить высокую оценку, данную Пушкиным его труду. Оценку эту один из исследователей Пушкина объясняет следующим образом: «Пушкин мог написать эпиграмму на первые восемь томов («Истории» Карамзина. – *И. Ф.*), но IX том с яркими картинами тиранства Иоанна IV, но X и XI томы с изображением «смутного времени», дававшие декабристам богатейший материал применений к современной им политической действительности, вносили существенные коррективы» в этот тенденциозный труд [14]. Пушкинская оценка объясняется здесь, как видим, впечатлением, которое произвели на поэта – и на читателей-декабристов – последние тома «Истории» Карамзина.

В самом деле, вспоминая о впечатлении, произведенном появлением IX тома ее, декабрист Лорер передает: говорили, что в те дни была «в Петербурге оттого только такая пустота на улицах, что все углублены в царствование Иоанна Грозного» [15]. «В своем уединении, – писал в 1821 году Рылеев, – прочел я девятый том Русской истории... Ну, Грозный! Ну, Карамзин! – Не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна или дарованию нашего Тацита» [16].

«...Девятый том Истории государства Российского, смелыми, резкими чертами изобразивший все ужасы неограниченного самовластия и одного из великих царей открыто наименовавший тираном», – писал декабрист Штейнгель, – «феномен небывалый в России» [17]. Изображение царствования Ивана IV, данное Карамзиным и так восхищавшее Рылеева и некоторых других декабристов, едва ли могло, однако, удовлетворить Пушкина.

О последних двух томах «Истории» Карамзина Пушкин заметил: «Это злободневно, как свежая газета» [18]. Но нет надобности доказывать, что Пушкин, автор «Бориса Годунова», смотрел на историю России иначе, чем Карамзин.

«Читая его труд, – сказал Пушкин о Карамзине Ермолову, – я был поражен тем детским, невинным удивлением, с каким он описывает казни, совершенные Иоанном Грозным, как будто для государей это не есть дело весьма обыкновенное». В другой записи, передающей со слов Ермолова это суждение Пушкина, слова поэта о Карамзине звучат еще резче: «Говоря о зверствах Иоанна Грозного, – заметил Пушкин, – он так ужасается, так удивляется, как будто такие дела и поныне не составляют самого обыкновенного занятия наших царей» [19].

В «Истории» Карамзина Пушкина привлекало то, что «он, – по словам поэта, – везде ссылался на источники» [20], а «верный рассказ событий», по мнению Пушкина, «красноречиво опровергал» сопровождающие его «размышления» Карамзина «в пользу

самодержавия». Выступая в своих «Записках», сожженных после 14 декабря, как противник самодержавия, Пушкин считал, таким образом (был ли он прав в этом – вопрос другой), что «История» Карамзина не только открывала читателям «древнюю Россию», «дотоле им неизвестную», но и – вопреки политической тенденции историографа – свидетельствовала языком событий против исторической необходимости сохранения самодержавия в России.

ОТРЫВОК «№ 1»

До нас дошел переписанный Пушкиным набело отрывок, датированный 2 августа 1822 года. Этот отрывок в рукописи не озаглавлен. Дата и оканчивающий последнюю страницу его пушкинский росчерк подчеркивают цельность отрывка, представляющего собой в то же время часть более обширного целого, поскольку над отрывком этим рукой Пушкина поставлено: «№ 1». Помета «№ 1» заставляет предполагать, что продолжением его должен был явиться отрывок № 2 (а может быть, и дальнейшие, следующие по порядку номеров отрывки).

Дошедший до нас отрывок «№ 1» печатается в собраниях сочинений Пушкина под названием «Заметки по русской истории XVIII века», данным ему редакторами. В «Путеводителе по Пушкину» эти страницы названы даже «отрывочными заметками Пушкина по поводу прочитанного и передуманного». А между тем страницы эти являются тщательно обработанным и переписанным набело уцелевшим отрывком «Записок» Пушкина. Это казалось очевидным при первых публикациях данного отрывка: в «Библиографических записках», где он сто лет назад впервые увидел свет, эти страницы Пушкина названы были «отрывком, сохранившимся из его прежних (то есть сожженных.– *И. Ф.*) записок, в котором «Пушкин бегло излагает свой взгляд на царствования преемников Петра I» [1]. Публикуя в 1880 году этот отрывок в более полном виде, П. А. Ефремов писал: мы «печатаем здесь собственноручную рукопись А. С. Пушкина, не имевшую заглавия, но, очевидно, составляющую отрывок из его записок...» [2].Впоследствии, однако, понимание действительного характера этого отрывка было утрачено, и вопрос о том, частью какого произведения Пушкина он является, даже не ставился.

Страницы, о которых мы говорим, не получили в годы, предшествовавшие восстанию 14 декабря, известности, какую приобрели широко распространявшиеся декабристами стихи поэта; в отличие от стихов Пушкина они не распространялись в спи-

сках; их не знал Белинский; не оценены по достоинству они и поныне, и это связано в значительной степени с тем, что они печатаются под не отвечающим содержанию и литературной форме их ошибочным заголовком.

Так называемые «Замечания» Пушкина «не являются в собственном смысле историческими, — признает Б. Томашевский, — они обосновывают политическое мировоззрение фактами ближайшей истории России»[3].

Страницы Пушкина, о которых мы говорим, охватывают «императорский» период русской истории, начиная с Петра I. В конце отрывка появляется Павел I, и речь идет уже, как увидим, об Александре I, воцарившемся после убийства Павла. Нетрудно догадаться, что содержанием последующих страниц должен был являться очерк царствования — и характеристика — Александра I. Так оно, постараемся показать, и было в действительности. Отрывок «№ 1» являлся началом; продолжением его был отрывок (который мы можем условно назвать отрывком «№ 2»), использованный частично Пушкиным в его позднейшей записке «О народном воспитании» и касающийся царствования Александра I.

Перед нами вовсе не «Заметки по русской истории XVIII века», как ошибочно называют обычно рассматриваемый нами отрывок. Дело не только в том, что в отрывке этом Пушкин касается самых острых политических вопросов современности и явно прибегает в данном случае к рассмотрению недавнего прошлого с целью дать ответ на сегодняшние, еще не решенные исторические вопросы. Дело в том также, что страницы, о которых мы говорим, никак нельзя признать «замечаниями» или «заметками». Подчеркивая это, мы спорим не о словах, а стремимся выяснить действительный характер блестящих страниц пушкинской прозы, по недоразумению только именуемых до сих пор заметками.

«Все, что является портретом или картиной, сделано блестяще, величественно», — писал Пушкин в 1831 году Чаадаеву, критикуя одно из его «философических писем»[4].

Это свидетельствует о значении, какое придавал поэт искусству историка, способного не только излагать события и анализировать прошлое, но и воссоздать его. Если цель пушкинского отрывка, именуемого «Заметками по русской истории XVIII века», — показать необходимость уничтожения самодержавия и крепостного права, то средством, к которому Пушкин прибегает здесь для достижения своей цели, является, как увидим, не только исторический анализ, но и создание резких исторических портретов Петра I, Екатерины II и их преемников. Вместе с тем


Автопортрет. *1823 г.*

Пушкин блестяще анализирует прошлое, стремясь в немногих строках развернуть картину исторического состояния России в «императорский», «петербургский» период ее истории.

«По смерти Петра I,—пишет он,—движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины мало-помалу исчезали. Народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр. Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения. Гражданские и военные чиновники более и более умножались; иностранцы, в то время столь нужные, пользовались прежними правами; схоластический педантизм попрежнему приносил свою неприметную пользу. Отечественные таланты стали нередко появляться и щедро были награждаемы. Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностию подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось ненарочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе». «Доказательства тому,— поясняет Пушкин,—царствование безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Бирона и сладострастной Елисаветы»[5].

Для того чтобы увидеть, как близка эта проза Пушкина к его — ближайшей по времени создания — художественной исторической прозе, достаточно сравнить приведенные только что строки «Записок» поэта со страницами «Арапа Петра Великого», на которых Пушкин рисует (ссылаясь на свидетельство исторических записок того времени) эпоху Регентства, то есть воссоздает историческую картину из жизни Франции XVIII столетия, картину очень близкую по времени той, которую Пушкин изобразил в своих так называемых «Заметках по русской истории XVIII века».

«По свидетельству всех исторических записок,— читаем мы в «Арапе Петра Великого»,— ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностию двора, важностию и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-Рояля не были тайною для Парижа; пример был заразителен... алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей».

Близость сравниваемых нами отрывков пушкинской прозы, если говорить о характере и стиле ее, не вызывает сомнения.

Что касается настойчивой работы Пушкина над содержанием и формой мнимых «Заметок по русской истории XVIII века», с полной очевидностью показывающей процесс создания этих страниц пушкинской прозы, то о ней ясно свидетельствуют черновики их, часть которых Пушкин сохранил, уничтожая свои «Записки». К черновым вариантам, относящимся к рассматриваемому нами отрывку, мы должны будем поэтому вскоре вернуться.

«Ничто так не озарило ума моего,— писал декабрист Штейнгель,— как прилежное чтение истории с размышлением и соображением... Сто лет от Петра Великого до Александра I столько содержат в себе поучительных событий к утверждению в том, что называется свободомыслием!»[6] Этому именно столетию, точнее политическому обозрению его (с целью указать на события прошлого, служащие «утверждению в том, что называется свободомыслием»), и посвящены рассматриваемые нами страницы «Записок» Пушкина. Характерно, что в «Записках» декабриста Александра Поджио также есть ряд страниц, обосновывающих обзором исторического прошлого современные политические требования. «К чему, скажите, еще возвращаться к... прошедшему...» — спрашивает он. И отвечает, что принужден сделать это с целью подвергнуть «разбору самую державную власть» (самодержавие.— *И. Ф.*), хотя и не станет «разыскивать зарождения начала и всего исторического хода этой власти»[7]. «История должна (то есть нужна.— *И. Ф.*) не только для любопытства или умозрений,— писал Лунин в своем «Розыске историческом»,— но путеводит нас в высокой области политики»[8]. Все это, кажется, достаточно объясняет нам, почему страницы,

именуемые «Заметками по русской истории XVIII века», входили в состав сожженных «Записок» Пушкина[9].

«Петр I, — пишет в них Пушкин, — не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения...» (в отличие от Александра I, конечно, которого постоянно сравнивали с Петром Великим писатели-льстецы). Петр I назван здесь Пушкиным — в отличие от его «ничтожных наследников», как мы уже говорили, — «сильным человеком», «исполином», но вместе с тем Пушкин пишет о нем: «История представляет около его всеобщее рабство... все состояния, окованные без разбора, были равны пред его *дубинкою*»[10]. Пушкин отдает должное всему, что «приносит великую честь необыкновенной душе самовластного государя». Но сохранение «деспотизма», то есть самодержавного образа правления, не может быть, по мысли Пушкина, оправдано какими бы то ни было личными достоинствами царствующего государя.

Вслед за характеристикой личности и исторической деятельности Петра I Пушкин резкими чертами — и притом гораздо более развернуто — изображает Екатерину II.

«Царствование Екатерины II, — пишет он, — имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать, значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве...

...Екатерина, — говорит Пушкин, — уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку — а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского («домашний палач кроткой Екатерины», — поясняет Пушкин) в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами — и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность»[11].

Последние строки показывают, насколько важным было в глазах Пушкина политическое значение русской литературы. Перед нами, как видим, не «заметки», а резкий сатирический портрет Екатерины, которую Пушкин называет в заключение «Тартюфом в юбке и в короне»[12].

«Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою», — замечает Пушкин в конце отрывка. «Царствование Павла, — говорит он, — доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники самовластия в том несогласны и принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей конституции»[13].

«Шутка», о которой вспоминает Пушкин, — слова, сказанные названной им писательницей Александру I: «Государь, ваш характер является конституцией для вашей империи, а ваша совесть служит гарантией ее». — «Если бы это и было так, — сказал в ответ Александр I, — я не был бы ничем иным, как счастливою случайностью»[14].

Споря в своих «Записках» с «русскими защитниками самовластия», Пушкин не склонен был, как видим, соглашаться с тем, чтобы конституция заменялась в России хорошим характером царствующего императора. Можно добавить, что к 1822 году, когда Пушкин писал эти строки, с полной очевидностью выяснилось, чего стоила на деле «гарантия» законности, представляемая совестью Александра I.

Не соглашался Пушкин также с тем, что, если на престол снова взойдет самодержец, подобный Павлу I, не существующую в России конституцию можно будет с успехом заменить «удавкой», то есть дворцовым переворотом и тайным убийством царя.

Декабристы с негодованием отвергали «серальный» — то есть дворцовый — переворот. Но некоторые члены Союза благоденствия, — писал впоследствии декабрист Фонвизин в своих записках, — «припоминая случаи русской истории, что императоры не раз умирали насильственной смертью (Петр III, Павел), называли такие примеры радикальными средствами преобразования России»[15]. Лунин, как известно, еще в 1817 году выступил с предложением убить Александра I (о чем Пушкин вспоминал позднее, в десятой главе «Онегина»). В этой связи становится понятным, насколько актуально было замечание Пушкина, относящееся в черновике рассматриваемого нами отрывка его «Записок» как будто только к Петру I: «Мы видим заговоры противу жизни государя, но не противу его власти»[16]. Пушкин — автор «Кинжала» — не отождествлял, конечно, дворцового переворота (и «удавки», являющейся обычным орудием его) с казнью Александра I, о необходимости которой вели между собой споры де-

кабристы. Но считал нужным прежде всего ограничить «власть государя», не признавая, в отличие от некоторых декабристов, убийство его «радикальным средством преобразования России».

Вторым важнейшим вопросом, рассматриваемым в том же отрывке «Записок» Пушкина, является вопрос об освобождении крестьян и о «состоянии» русского дворянства. «Мы видели,— замечает он, дав очерк царствования Екатерины II,— каким образом Екатерина унизила дух дворянства». И говорит далее: «Отселе» произошло «совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа»[17]. Таким образом, Пушкин стремится исторически объяснить в своих записках «состояние» и «дух» современного ему дворянства.

Особо рассматривает он попытки «аристократии» ограничить самодержавие. Если б «неудачное борение аристократии с деспотизмом»[18] (то есть самодержавием.— *И. Ф.*) после смерти Петра окончилось ее победой,— утверждает Пушкин,— «владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния... Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство, нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян...»[19].

Следует подчеркнуть близость тогдашних взглядов Пушкина на роль аристократии со взглядами Пестеля (с которым поэт провел утро 9 апреля 1821 года и имел «разговор метафизический, политический, нравственный и проч.»). Я «обратил также мысли и внимание на положение народа,— сказал Пестель на следствии,— причем рабство крестьян всегда сильно на меня действовало, а равно и большие преимущества аристократии, которую я считал, так сказать, стеною, между монархом и народом стоящею...»[20]. Близость тогдашних взглядов Пушкина со взглядом Пестеля на роль современной «аристократии» не вызывает сомнений.

Так же как Пушкин, желавший уничтожения крепостного права без «страшного потрясения», Пестель надеялся уничтожить крепостное право без «ужасных происшествий, бывших во Франции во время революции»[21]. Характеристика политической действительности в рассматриваемом нами отрывке дана Пушкиным, как верно заметил Д. Благой, в радищевских тонах, но — и эта черта отделяет Пушкина от Радищева — поэт ставит задачу уничтожения крепостного права без «бунта от мужиков» — «в духе декабристов»[22]. В этом важнейшем вопросе взгляды Пушкина и Пестеля были также близки между собой.

Пушкин считал, как мы только что говорили, что «политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян» и «же-



В. Ф. Раевский.
Рисунок Пушкина. 1822 г.

лание лучшего соединяет все состояния против общего зла». Здесь нельзя не вспомнить слова Николая Тургенева, который писал: «Когда я замечал в людях, с которыми говорил, желание политической свободы без освобождения класса крепостных, то негодование овладевало мною...»[23]. С годами Пушкин, как известно, отказался от мысли о возможности осуществить в условиях самодержавно - крепостнической России 20–30-х годов освобождение крестьян путем «мирного единодушия», на которое надеялся в 1822 году.

В Кишиневе, где был написан Пушкиным в 1822 году рассматриваемый нами отрывок «Записок», поэт тесно общался с «первым декабристом» Владимиром Раевским. До нас дошли написанные последним блестящие страницы политической прозы – рассуждение «О рабстве крестьян». «Несмотря на незаконченность рассуждения,– замечает опубликовавший его впервые полностью В. Базанов,– оно уже имело хождение и, может быть, Пушкин был одним из первых его читателей»[24]. Последнее предположение является более чем вероятным.

«Александр в речи своей к полякам,– писал Владимир Раевский,– обещал дать конституцию народу русскому. Он медлит, и миллионы скрывают свое отчаяние до первой искры...

...Дворянство русское, погрязшее в роскоши, разврате, бездействии и самовластии, не требует перемен, с ужасом смотрит на необходимость потерять тираническое владычество над несчастными поселянами. Граждане! Тут не слабые меры нужны, но решительный и внезапный удар!»[25]

Рассматриваемый нами отрывок «Записок» Пушкина отнюдь не во всем совпадает по мысли с «Рассуждением» Владимира

Раевского. Но отрывок Пушкина, как и «Рассуждение», представляет собой дошедший до нас образец декабристской прозы и свидетельствует о гениальных возможностях боевой художественно-политической прозы Пушкина.



И. И. Пущин.
Рисунок Пушкина. 1826 г.

«Он, — пишет в своих воспоминаниях Пущин, — всегда согласно со мною мыслил о деле общем (res publica), по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно, и письменно, стихами и прозой»[26]. Строки эти принадлежат ближайшему другу поэта, не бросавшему слов на ветер и всегда точному в своих воспоминаниях о нем. Декабристская проза Пушкина почти не дошла до нас — большая часть страниц ее погибла вместе с «Записками», сожженными поэтом после 14 декабря. Важнейшим из сохранившихся отрывков ее мы должны признать страницы «Записок» поэта, печатающиеся под видом его «Заметок по русской истории XVIII века».

Беловой, окончательный текст этого отрывка известен в печати давно благодаря тому, что текст его сохранился случайно в бумагах Н. С. Алексеева, кишиневского приятеля поэта, которому Пушкин дал переписать его задолго до того, как принужден был уничтожить свой запретный труд.

Но после того как текст был опубликован (вначале, разумеется, с большими цензурными купюрами), в печати стали появляться — сперва в очень неполном и неточном виде — черновые варианты к нему, сохранившиеся, как оказывается, в известной Кишиневской тетради поэта (где содержатся текст поэмы «Кавказский пленник» и черновики некоторых других произведений Пушкина)[27].

Между листами этой тетради, перенумерованными после

смерти поэта красными жандармскими чернилами, можно заметить корешки вырванных и уничтоженных самим Пушкиным страниц. После разгрома восстания 14 декабря Пушкин, сжегши беловую рукопись своих «Записок», «не пожалел,— как было упомянуто,— и черновых листов». Так поступил он со своей Кишиневской тетрадью, куда входил черновик рассматриваемого нами отрывка пушкинских «Записок», в котором исторически обосновывалась необходимость уничтожения самодержавия и крепостного права.

Вырывая из тетради черновик отрывка, Пушкин уничтожил, однако, этот свой черновик не полностью, сохранив в тетради те страницы его, которыми особенно дорожил. В тетради поэта уцелели, оказывается, три такие страницы: одна содержит варианты, характеризующие Петра I; две другие пощаженные поэтом страницы вносят некоторые новые штрихи в характеристику, данную Пушкиным Екатерине II[28]. Страницы эти также подтверждают, что Пушкин, сжигая свои «Записки», сохранил некоторые отрывки их.

В числе черновых вариантов, относящихся к характеристике Екатерины II и ее царствования, обращает на себя внимание слово «*тиранство*», отсутствующее в окончательном беловом тексте рассматриваемого отрывка. Зачеркнутое Пушкиным в посвященном Екатерине черновике слово «*войско*» (там, где он вспоминает «народ, угнетенный ее наместниками, казну, расхищенную [любимцами] любовниками, войско» и проч.) дает, судя по контексту, основание предполагать, что Пушкин первоначально имел в виду упомянуть здесь о вопиющих недостатках, обнаружившихся к концу царствования Екатерины в обращении с солдатами и в управлении и обеспечении русской армии.

Критикуя влияние царствования Екатерины на «политическое и нравственное состояние России» и говоря о «важных ошибках ее в политической экономии», Пушкин не только с возмущением вспоминает о том, что Екатерина, уничтожив — на словах — звание «раб», щедро дарила своим фаворитам государственные поместья и закрепостила вольную Малороссию. Подчеркнув, что Екатерина вместе с государственными поместьями дарила приписанных к ним «свободных хлебопашцев», превращая в помещичью собственность государственных крестьян, Пушкин считает нужным указать и число их. В черновике он заметил, что Екатерина раздарила около 200 тысяч свободных хлебопашцев. Но затем, уточнив, указал в беловом, окончательном тексте, что Екатерина «раздарила около миллиона государственных крестьян»[29].

Это заслуживает внимания не потому только, что Пушкин проявил здесь стремление к исторической точности, но и потому, что окончательно установленная им цифра свидетельствует о несомненной осведомленности его. Говоря об усилении крепостного права в царствование Екатерины II, В. О. Ключевский позднее отметил, что «количество приведенных в известность крепостных, розданных в течение этого царствования в частное владение, простиралось до 400 тысяч ревизских душ, т. е. почти до миллиона действительных душ»[30]. Эту же цифру — «около миллиона» — назвал в своем окончательном тексте и Пушкин.

В беловом, приведенном нами ранее тексте отрывка мы читаем: «Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой ее смерти»[31]. В своем примечании Пушкин назвал Шешковского «домашним палачом кроткой Екатерины». В черновых вариантах на листе 67 Кишиневской тетради сохранились, кроме того, оказывается, выразительные эпитеты, характеризующие Новикова и Шешковского; Новикова Пушкин назвал здесь «почтенным», а Шешковского — «кровавым»; «почтенный Новиков», — говорит он здесь, — «из рук кровавого Шешковского перешел во мрак темницы».

«Княжнин умер под розгами», — пишет Пушкин и в черновом и в окончательном тексте отрывка, повторяя предание о том, что Княжнин умер под пыткой в Тайной экспедиции.

В сохранившемся черновике Пушкина на листе 67 можно прочесть, кроме того, зачеркнутую, но чрезвычайно интересную по содержанию строку, обличающую лицемерие Екатерины: «*Знаю, что Кандид и Белый бык были напечатаны...*»

Эта недописанная и зачеркнутая Пушкиным фраза связана с тем, что названные повести Вольтера были опубликованы в России под покровительством самой Екатерины. Известно, что по желанию императрицы в 1768 году была учреждена «Комиссия для печатания на русском языке хороших иностранных книг», наметившая к изданию сочинения Вольтера. Его прославленный «Кандид» вышел в Петербурге в следующем, 1769 году[32]. «Белый бык» — вторая из названных Пушкиным философских повестей Вольтера — также была переведена и издана в России при ближайшем участии самой Екатерины[33].

В черновике своих «Записок» Пушкин саркастически напоминает об этом. Ибо Княжнин, по его словам, умер под розгами

в Тайной канцелярии, которая «процветала под... патриархальным правлением» той самой Екатерины, под высочайшим покровительством которой был издан в России «Кандид». Между тем как раз в этой своей повести Вольтер рассказывает о том, «как Кандид был высечен». Здесь именно, вспомнив любимую сентенцию своего учителя Панглоса об «этом лучшем из миров», только что высеченный Кандид, «испуганный, ошеломленный, изумленный, весь окровавленный, весь трепещущий», произносит свою знаменитую фразу: «Если это лучший из возможных миров, то каковы другие?»[34] Эти известные слова Кандида, как и плачевная участь его, не могли не вспомниться читателям, которым Пушкин адресовал свои бичующие Екатерину строки.

Но заслуживает внимания и другое. В этом месте своего черновика Пушкин обращается к читателю от первого лица: «Знаю, что Кандид...» и т. д. Предание о том, что Княжнин «умер под розгами» в Тайной экспедиции, где он был в самом деле допрошен Шешковским, остается исторически неподтвержденным. Но Пушкин недаром дважды повторяет его в своем черновике и, не сомневаясь, по-видимому, в истинности его, сохраняет в окончательном тексте отрывка.

Эти строки Пушкин писал, вспоминая о собственной политической судьбе, повторявшей судьбу его предшественников. «Радищев,— замечает он здесь,— был сослан в Сибирь». В Сибирь грозил, как известно, сослать Пушкина и «достойный внук Екатерины» (свой «Воображаемый разговор с Александром I» Пушкин закончил, мы знаем, тем, что царь ссылает его в Сибирь).

Повторяя, что во времена Екатерины «Княжнин умер под розгами», Пушкин не мог не вспоминать распространявшийся его врагами слух, будто сам он также был «высечен» в Тайной канцелярии. «Необдуманные речи, сатирические стихи обратили на меня внимание в обществе, распространились сплетни, будто я был отвезен в Тайную канцелярию и высечен»,— писал Пушкин из михайловской ссылки в 1825 году в своем неотправленном письме к Александру I. «До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием, я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении. Я размышлял, не следует ли мне покончить с собой, или убить В.»[35],— писал далее Пушкин, признаваясь, что у него возникла в это время мысль о цареубийстве. Вот отчего с такой настойчивостью Пушкин возвращался в черновике своих «Записок» к судьбе Княжнина, повторяя глухое предание о том, что писатель этот «умер под розгами». В рассмотренном нами отрывке «№ 1», предназначавшемся,

как мы убеждаемся, для Автобиографических записок поэта, Пушкин с необыкновенной смелостью обличал самодержавие, его отношение к литературе и русским писателям.

ОТРЫВОК «№ 2»

Пушкинская записка «О народном воспитании» — документ необычного назначения. Записка эта явилась письменным продолжением разговора, который состоялся в том же 1826 году между царем и вызванным им из ссылки поэтом.

Свой «Воображаемый разговор с Александром I» Пушкин написал в михайловской ссылке. Александр в «Разговоре» этом говорит Пушкину: «Признайтесь, вы всегда надеялись на мое великодушие?» А заканчивался «Воображаемый разговор» неожиданно: «Тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего,— замечал в конце «Разговора» царь,— я бы рассердился и сослал его в Сибирь...» [1]

После казни декабристов между поэтом и новым царем состоялся действительный, а не только воображаемый разговор. Разговор этот окончился для Пушкина не Сибирью, а помилованием. Но хотя Николай сказал в этот день приближенным, что он «нынче долго говорил с умнейшим человеком в России», пояснив, что имеет в виду Пушкина, он добавил все же, что с поэтом «нельзя быть милостивым» [2]. Это замечание вызвано было, конечно, независимым поведением Пушкина во время данной ему аудиенции.

В своей записке «О народном воспитании» Пушкин воспользовался предоставленной ему возможностью продолжить письменно разговор с царем и высказать ему многое из того, что не мог высказать в печати. С той же смелостью несколько лет спустя Пушкин послал царю «замечания», которые не могли, по словам поэта, войти в «Историю Пугачева». И в числе их послал важнейшее обобщение, опубликовать которое в печати было тогда, конечно, немыслимо. В этом своем «замечании» Пушкин писал царю: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства» [3].

Так же смело писали из крепости Николаю в 1826 году некоторые декабристы, несмотря на то что их ждала петля или каторга. В своих письмах из крепости они высказали новому царю очень многое из того, о чем говорили и писали, подготавливая вооруженное восстание против самодержавия.

Смысл этих обращений исторически понятен. Революции, совершаемой народом, декабристы страшились. Но революция без участия народа — вооруженное восстание, начатое 14 декабря, когда декабристы вывели на Сенатскую площадь только преданные и сочувствующие им войсковые части, — не удалась; сами они — вожди разгромленного восстания — были обречены на гибель.

Но вот перед ними неожиданно блеснула как будто новая надежда — надежда на «революцию сверху», которую обещает и может будто бы совершить новый царь, подобно тому как совершил, по представлению многих декабристов (и Пушкина), «революцию сверху» Петр I. В этом смысл так странно звучащих для нас теперь слов, которыми окончил Александр Бестужев написанное им в крепости письмо Николаю I: «Я уверен, что небо даровало в Вас другого Петра Великого...»[4] В этом же, как указывают исследователи Пушкина, заключался смысл обращенных к новому царю «Стансов» поэта:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Стихотворение это — не что иное, как поэтически выраженная программа деятельности, обращенная к новому Петру, — им и должен был стать Николай I.

«Так обольстил, по рассказу Мицкевича, Николай I Пушкина. Помните ли, — писал Герцен, — этот рассказ, когда Николай I призвал к себе Пушкина и сказал ему: «Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил ту партию, к которой ты принадлежал. Но, верь мне, я также люблю Россию, я не враг русскому народу, я ему желаю свободы, но ему нужно сперва укрепиться»[5].

Потребовалось, как известно, не так уж много времени для того, чтобы понять, чем кончились надежды, которые возбудил новый царь. 21 мая 1834 года Пушкин записал в дневнике: «В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого»[6].

Но чтобы понять это, понадобилось все-таки несколько лет. Тогда же, в 1826 году, декабристы, в надежде на реформы, обещанные царем, стремились высказать ему в своих письмах из крепости все, что могло бы, на их взгляд, помочь новому царю совершить необходимое преобразование России.

В письмах этих дан резкий критический очерк состояния, в которое страна приведена была Александром I и его предшественниками. В этих письмах дается характеристика только что закончившегося царствования и объяснение причин возникнове-

ния – и «исторического хода» – «свободомыслия в России». Некоторые из таких «писем» представляют собой не только интереснейшие политические трактаты; так же как совпадающие с ними по своему содержанию и характеру главы записок (мемуаров) Якушкина и А. Муравьева (в той части, где последний использовал записки своего брата Никиты Муравьева); эти письма из крепости являются выдающимися по своим художественным достоинствам очерками истории своего времени. Они являются вместе с тем высокими образцами той декабристской прозы, которую мы вправе с полным основанием назвать русской художественно-политической прозой 20-х годов. Таково в первую очередь письмо из крепости Александра Бестужева и – едва ли не в большей еще степени – известное письмо Каховского, обращенное к царю.

Выдающимся образцом такого рода публицистической прозы является и адресованная царю пушкинская записка «О народном воспитании». В связи со сказанным понятным становится, почему Пушкин, объясняя в ней причины «последних происшествий», то есть восстания 14 декабря, использовал в первой (исторической) части этого предназначавшегося для царя документа сохраненный отрывок сожженных годом раньше «Записок». Неожиданное, на первый взгляд, использование их Пушкиным при обращении к царю оказывается, таким образом, исторически объяснимым и потому естественным и понятным.

«Сорок вопросительных и один восклицательный знак, поставленный Николаем I на полях пушкинской записки, – замечает один из исследователей ее, – достаточно красноречиво свидетельствовали о недовольстве представленным ему документом». «Буквально по всем пунктам своей записки Пушкин пошел вразрез с внутренней политикой царского правительства», – указывает тот же исследователь. «Характеристики Пушкина злы и выразительны, – отмечает он. – И можно лишь поражаться тому, как долго игнорировались большинством наших исследователей эти, столь реалистические, полные острой иронии и бичующего сарказма зарисовки различных сторон николаевской России»[7].

Резкость этих пушкинских зарисовок связана с происхождением их: на страницы адресованной царю записки «О народном воспитании» они попали, как постараемся показать, из запретных «Записок» поэта. Об этом ясно свидетельствуют ссылки, сделанные Пушкиным в черновиках записки «О народном воспитании».

В первой из этих ссылок Пушкин отмечает: *«Любопытно видеть etc – из записок...»*[8]

Вторая ссылка Пушкина гласит: «*Александр (из записок)*»[9]. В третьей указано — «*Патриархальное вос[питание] из записок*»[10].

Работая над запиской «О народном воспитании», Пушкин использовал в ней, как можно убедиться, уцелевший отрывок сожженных «Записок».

Черновики записки «О народном воспитании» изучались до сих пор с целью лучше понять и объяснить содержание этого адресованного Пушкиным царю документа. Что же касается содержащихся в них ссылок Пушкина на сохраненные им страницы сожженных «Записок», то значение этих ссылок оставалось нераскрытым и неоцененным. Между тем изучение их дает возможность установить, каким образом использовал Пушкин в своей записке «О народном воспитании» уцелевшие страницы уничтоженных им после 14 декабря «Записок». Постараемся поэтому выяснить, какие места их Пушкин использовал в документе, адресованном Николаю I, и составить себе представление о том, каково было содержание использованного им в этом документе отрывка сожженных «Записок».

Комментарий к записке «О народном воспитании», помещенный в Малом академическом издании сочинений Пушкина, указывает только, что в черновиках ее «имеются ссылки на «Записки». И поскольку комментируемая записка Пушкина называется запиской «О народном воспитании», комментатор предполагает, что, работая над ней, Пушкин «по-видимому... воспользовался своими записками, не дошедшими до нас, в части, характеризующей русское домашнее воспитание»[11].

На самом же деле в черновиках записки «О народном воспитании» Пушкин трижды ссылается — это надо установить с полной ясностью — на сохраненные им при сожжении страницы своих Автобиографических записок. И использует их вовсе не только для характеристики «русского домашнего воспитания» (о котором говорит лишь одна из тех интересующих нас пушкинских ссылок). В адресованной царю записке Пушкин использовал прежде всего то место своих прежних «Записок», где он писал о перемене, совершившейся в русском обществе после войны 1812 года.

Пушкин ссылается далее на те строки этих «Записок», которые касались введенных Александром I экзаменов на чин. Поэт придавал этой мере важное значение, «ибо она,— по его словам,— нанесла последний удар дворянскому просвещению и гражданской администрации, вытеснив все новое поколение в военную службу»[12].

И только в третьей из своих ссылок Пушкин касается действительно вопроса о дворянском воспитании. Но при этом вовсе не ограничивается вопросом «о домашнем воспитании», а имеет в виду воспитание молодого дворянина, определявшее во многом дух современного поэту дворянства.

Таким образом, Пушкин, касаясь в черновиках записки «О народном воспитании» вопросов, о которых он писал до 14 декабря в Автобиографических записках, отмечал своими ссылками необходимость использовать сохранившиеся страницы последних для предпринятой им теперь новой работы. Мы должны поэтому выяснить, каким образом он использовал в ней страницы прежних «Записок».

Изучение черновиков и окончательного текста записки «О народном воспитании» показывает, что в двух случаях (там, где сделанные Пушкиным в черновиках ссылки упоминают о введенных Александром I экзаменах на чин и о «патриархальном воспитании») Пушкин включил затем в представленную царю записку предусмотренные этими ссылками места из своих прежних «Записок». В одном же случае Пушкин уже в самом черновике записки «О народном воспитании» обращается к прежним «Запискам», на которые он тут же ссылается; но при этом не просто включает соответствующие строки их в новую записку, а именно использует их для краткого, но картинного изображения перемены, совершившейся в русском обществе в годы, предшествовавшие восстанию 14 декабря.

Записка «О народном воспитании» начинается с выяснения причин «последних происшествий», то есть восстания 14 декабря. И затем идет упомянутая нами картина, изображающая перемену, которая произошла в молодом поколении за время, отделяющее канун 1812 года от кануна 1825 года. В пушкинской записке с самого начала говорится, что «политические изменения» (которые, написал Пушкин сначала, «были любимою мечтою молодого поколения») «вдруг сделались у нас,— пишет он в окончательном тексте, вспомнив, кому вынужден адресовать эти строки,— предметом замыслов и злонамеренных усилий».

Вслед за этим в черновике записки «О народном воспитании» Пушкин пишет: «Любопытно видеть etc — из записок...» [13]. То есть любопытно видеть, каким образом произошли в русском обществе эти изменения. Для этого Пушкин и считает необходимым обратиться к истории недавнего времени, воссозданной в его прежних «Записках».

«Возвращаясь вспять, напрасно стали бы мы искать причины в нашем отечестве» [14],— пишет он вслед за тем в черновике своей

новой записки, повторяя сначала как будто официальную формулу. И, отделив при помощи тире эту вынужденно включенную фразу (которую в дальнейшем опровергает резкой критикой состояния современной ему России), продолжает:

«15 лет тому назад (стало быть, в 1811 году, – то есть накануне войны 1812 года. – *И. Ф.*) литература (тогда столь свободная, впоследствии столь угнетенная) не имела никакого направления; воспитание ни в чем не отклонялось от первоначальных предначертаний». Последняя фраза могла быть, конечно, написана Пушкиным лишь в 1826 году при составлении записки «О народном воспитании».

«Молодые люди, – пишет он, – занимались военной службой и старались отличиться французскими стишками и шалостями» (в одном из вариантов было сказано: «занимались службой и женщинами»).

«10 лет после (то есть около 1821 года, – напомним, что в этом году Пушкин начал писать свою «Биографию». – *И. Ф.*) мы видели разговоры исключительно политические, революционные идеи (сначала Пушкин написал «либеральные идеи», потом зачеркнул – с тем чтоб снова написать в окончательном тексте – «либеральные идеи». – *И. Ф.*), бывшие дотоле люб[имым] [?] etc необходимым условием, вывеской модного человека; литературу, подавленную бесп[ощадной] цензурой, превращенную в рукописные пасквили и возмутительные песни и тайные общества, заговоры и замыслы, кровавые или безумные etc»[15].

Исследователи записки «О народном воспитании» отмечают, что Пушкин принужден был пользоваться в ней, при обращении к царю, официальной фразеологией, цитируя и по-своему используя выражения манифеста 13 июля 1826 года. Но, соглашаясь, как может показаться на первый взгляд, с мыслями Николая I о «просвещении», Пушкин – верно замечает один из исследователей – вслед за тем «придает его мысли такую направленность, что она начинает звучать в совершенно противоположном духе!»[16] Сказанное можно отнести и к объяснению, которое дает Пушкин в записке «О народном воспитании» развитию декабристских идей.

«Не в свойствах, не во нравах русских был сей умысел», – утверждал манифест. «Революционный дух, внесенный в Россию горстью людей, заразившихся в чужих краях новыми теориями... внушил нескольким злодеям и безумцам мечту о возможности революции, для которой, благодаря бога, в России нет данных», – заявил на шестой день после восстания Николай I, принимая дипломатических представителей[17].

«Ясно, что походам 1813 и 1814 года, пребыванию наших войск во Франции и в Германии должно приписать сие влияние на дух и нравы того поколения, коего несчастные представители погибли в наших глазах»,— написал Пушкин в окончательном, близком к черновику тексте адресованной царю записки о воспитании [18]. Но, повторив сначала официальную формулу (и только в возможной мере смягчив ее), Пушкин дает далее собственное, не совпадающее с правительственным объяснение развитию в России «революционных идей». «Не одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отечества,— подчеркивает он, прибегая к официальной фразеологии, но поясняя при этом,— воспитание, или, лучше сказать, отсутствие воспитания есть корень всякого зла» [19]. И затем, под видом критики укоренившейся системы дворянского воспитания, резкими чертами рисует внутренний строй современной ему России. Черты эти, данные в адресованной царю записке порознь, сливались, как нетрудно догадаться, в «Записках» Пушкина, откуда они были взяты им, в цельную картину.

«Чины сделались страстию русского народа. Того хотел Петр I, того требовало тогдашнее состояние России»,— пишет Пушкин в черновике записки «О народном воспитании». И вслед за тем делает ссылку: *«Александр из записок»* [20], отмечая — как ясно показывают дальнейшие строки черновика — свое решение включить в окончательный текст адресованной царю записки то место из своих прежних «Записок», которое касалось введенных Александром I экзаменов на чин. В другом черновом наброске, относящемся к записке «О народном воспитании», Пушкин также пометил: «Экзамены суть мера ошибочная. Александр» [21]. В соответствии с этим в окончательном тексте записки «О народном воспитании» мы и находим строки, видимо почерпнутые Пушкиным из его прежних «Записок».

Сначала Пушкин в тоне, требуемом обращением к высокому адресату, пишет: «Покойный император, удостоверясь в ничтожестве ему предшествовавшего поколения, желал открыть дорогу просвещенному юношеству и задержать как-нибудь стариков, закоренелых в безнравствии и невежестве». И затем, с резкостью, свойственной его сожженным «Запискам», продолжает: «Отселе указ об экзаменах, мера слишком демократическая и ошибочная, ибо она нанесла последний удар дворянскому просвещению и гражданской администрации, вытеснив все новое поколение в военную службу. А так как в России все продажно, то и экзамен сделался новой отраслию промышленности для профессоров. Он походит на плохую таможенную заставу, в которую старые инвалиды пропускают за деньги тех, которые не

умели проехать стороною»[22]. Не только сделанная Пушкиным в черновике ссылка, но и стиль этих строк выдает их происхождение. Они взяты из прежних «Записок» поэта и лишь слегка отредактированы им.

Последняя из трех ссылок, сделанных Пушкиным в черновике записки «О народном воспитании», гласит: *«Патриархальное воспитание из записок»*[23]. Нет сомнения, что Пушкин включил предусмотренные этой ссылкой строки своих прежних «Записок» в текст записки «О народном воспитании». Вот эти, так ясно проступающие в тексте последней, выразительные строки:

«В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное; ребенок окружен одними холопями, видит одни гнусные примеры («одни примеры гнусного рабства»,— сказано в черновике), своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание его ограничивается изучением двух или трех иностранных языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым учителем. Воспитание в частных пансионах не многим лучше: здесь и там оно кончается на 16-летнем возрасте воспитанника...»[24].

Вслед за этими резкими строками Пушкин вынужден был включить в записку «О народном воспитании» (против своего желания, как он дал понять вскоре одному из друзей[25]) следующую фразу: «Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное». Если мы отбросим эту вынужденно включенную фразу и вновь обратимся к рассмотрению текста записки «О народном воспитании», то обнаружим в ней строки, явно связанные и по смыслу и по своему происхождению с только что приведенными нами пушкинскими строками, которые кончаются словами:

«Воспитание в частных пансионах не многим лучше; здесь и там оно кончается на 16-летнем возрасте воспитанника»[26]. «В других землях молодой человек кончает круг учения около 25 лет,— пишет Пушкин, явно продолжая ту же мысль,— у нас он торопится вступить как можно ранее в службу, ибо ему необходимо 30-ти лет быть полковником или коллежским советником. Он входит в свет безо всяких основательных познаний, без всяких положительных правил...»[27]

Достаточно прочесть подряд приведенные Пушкиным в разных абзацах записки о воспитании, но несомненно связаннные между собой — и потому сопоставляемые нами — строки, и мы увидим, что в не дошедших до нас «Записках», откуда явно

взяты Пушкиным эти строки, они должны были составлять, по-видимому, один кусок.

Необходимо подчеркнуть важность вопросов, о которых говорят страницы «Записок», использованные им в записке «О народном воспитании». Первая из этих страниц, использованных поэтом в адресованной царю записке, касалась, как мы видели, развития в России революционных идей после 1812 года, то есть после победы над Наполеоном. Иногда приходится слышать мнение, что во времена Пушкина не проводилось еще границы между идеями либеральными и революционными. Черновик пушкинской записки «О народном воспитании» показывает, что Пушкин разграничивал их. Удивляться тому, что различие между идеями либеральными, то есть в тогдашнем значении слова — освободительными, и идеями революционными было ясно Пушкину, нет никаких оснований. Собеседник поэта Михаил Орлов писал 29 декабря 1825 года Николаю I в своей «Записке о тайных обществах» о том времени, когда члены Союза благоденствия находились «исключительно под влиянием либеральных идей» и когда «в их головах еще не было ни одной революционной идеи»[28].

Второе использованное Пушкиным место, взятое им из его прежних «Записок» и включенное в записку «О народном воспитании», касалось, как сказано, вопроса об уничтожении введенных Петром I чинов и уничтожении экзаменов на чин, установленных Александром I[29]. Меры, принятые Александром I по отношению к дворянству, Пушкин считал дальнейшим развитием мер, предпринятых по отношению к родовитому дворянству Петром I. Можно указать, что и декабрист Александр Поджио, посвящая в своих позднейших «Записках» ряд страниц обоснованию своих политических взглядов, заметил, что он не кончил еще счетов с Петром, так же как с Александром[30].

В третьем использованном Пушкиным месте, взятом им из его прежних «Записок», говорилось о воспитании молодого дворянина с такой резкостью, что, касаясь строк, посвященных Пушкиным в записке «О народном воспитании» «патриархальному воспитанию», один из исследователей заметил: «Это было повторение мыслей, высказанных в начале века Радищевым, утверждавшим, что все воспитание, получаемое дворянином, «с самого детства учит поступать самовластно», что питомец «благородного сословия» растет, «имея перед глазами своими непрестанно рабов, с которыми учится повелевать и раболепствовать, а не управлять и повиноваться»[31].

Глава «Записок» Пушкина, использованная им в адресован-

ной царю записке «О народном воспитании», так же как соответствующие ей по содержанию главы записок Якушкина и Муравьева и «письма из крепости», посланные Николаю I Каховским и Александром Бестужевым, представляла собой резкий очерк царствования Александра и касалась причин, обусловивших развитие в эту пору в России освободительных и революционных идей. Изучение вопроса о «Записках» Пушкина в связи с записками декабристов проливает свет не только на судьбу, но и на содержание сожженных «Записок» поэта.

Если мы вспомним о судьбе «Русской Правды» и о судьбе «Конституции» Никиты Муравьева, то есть основных памятников декабристской политической литературы, если мы вспомним о судьбе сожженной десятой главы «Онегина», станет ясно, что удивлять нас должно не то, что Пушкин мог, точнее — должен был — сохранить, и сохранил действительно, отрывки своих сожженных «Записок». Удивительней, что до нас дошло от них немногое.

Сохранившийся и расшифрованный только в XX веке листок, на котором Пушкин зашифровал запретные строки сожженной им в 1830 году десятой главы «Онегина», не всегда был единственным — он является только единственным уцелевшим листком [32]. Несомненно, должны были существовать еще три-четыре таких же листка — утверждает С. Бонди. Не исключено поэтому, что недостающий листок или листки, содержащие остальные зашифрованные Пушкиным строки десятой главы «Онегина», могут еще отыскаться.

Можно высказать предположение, что и неизвестные нам, сохраненные при сожжении страницы пушкинских автобиографических «Записок» могут скрываться еще где-нибудь и потому могут быть еще обнаружены. Вспомним, что в записке «О народном воспитании» Пушкин ссылается на сохраненный им при сожжении отрывок своих «Записок», который остается нам неизвестным (если не считать тех мест его, какие Пушкин использовал в тексте своей записки «О народном воспитании»). Однако возможность обнаружения в дальнейшем совершенно неизвестных страниц сожженных «Записок», втайне сохраненных Пушкиным, является при настоящем состоянии наших знаний лишь предположением. Задача настоящего исследования другая — обнаружить в составе литературного наследства Пушкина дошедшие до нас, но неопознанные — в силу судьбы, постигшей этот труд, — страницы «Записок» поэта.

О ПОДЛИННЫХ И МНИМЫХ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ НАБРОСКАХ

«УЧАСТЬ МОЯ РЕШЕНА...»

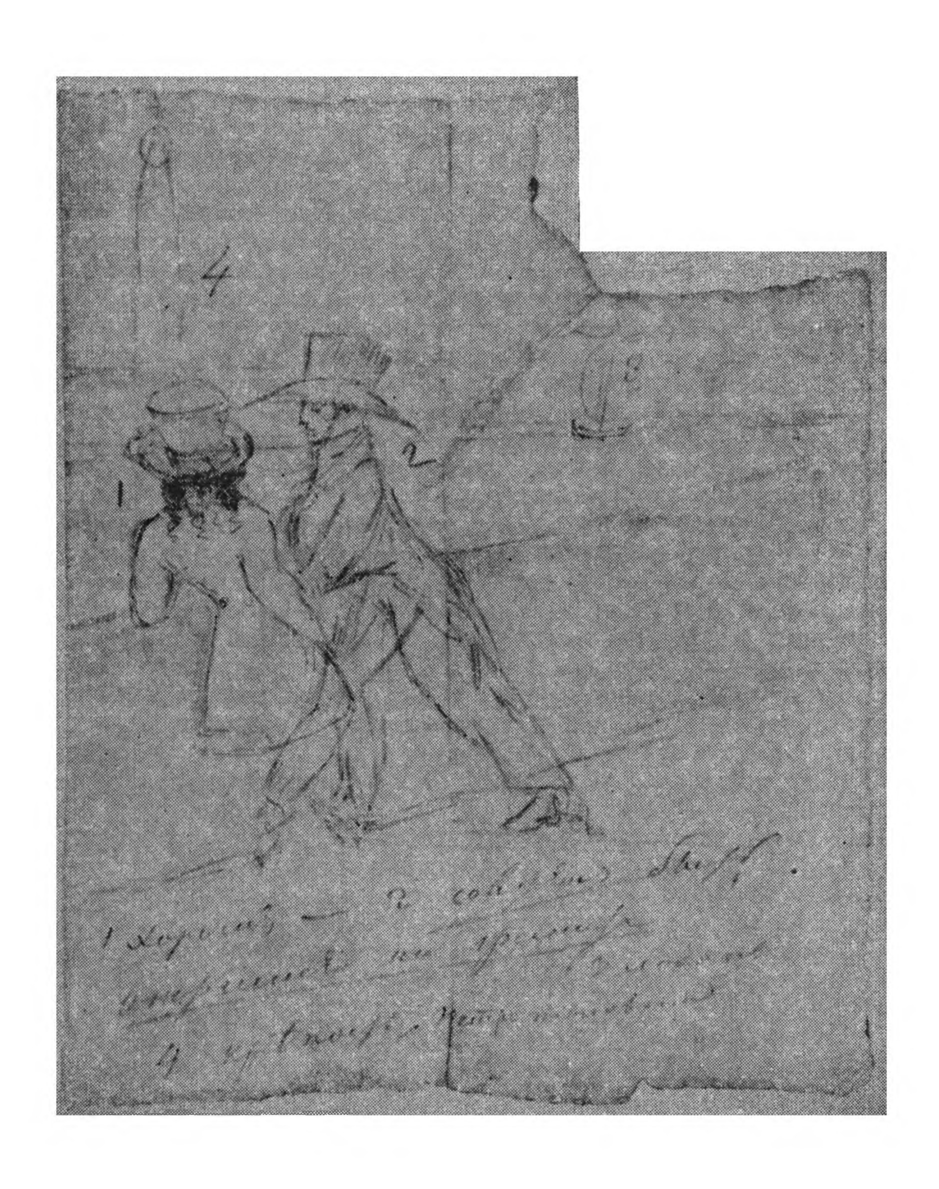
Отрывки Автобиографических записок Пушкина можно обнаружить, как мы убедились, даже в тех томах его сочинений, где напечатаны стихотворные произведения поэта (к которым он приобщал такого рода отрывки под видом приложений). Не могли ли попасть отрывки Автобиографических записок – или по крайней мере автобиографической прозы поэта – в тот раздел его сочинений, где печатаются романы и повести Пушкина?

В свое время было сделано немало попыток «биографического истолкования» художественных произведений Пушкина. Попытки эти начались еще при жизни поэта и вызвали с его стороны обоснованные возражения («Как будто нам уж невозможно // Писать поэмы о другом, // Как только о себе самом», – заметил он в «Евгении Онегине»). Пушкин даже нарисовал себя рядом с Онегиным – на берегу Невы, – и гравюра, выполненная по этому рисунку, помещена была, по его желанию, в качестве иллюстрации к роману. Рисунок этот был для Пушкина средством отделить себя от героя в глазах читателя.

Но в томе романов и повестей Пушкина печатаются два отрывка, заслуживающие при изучении автобиографической прозы поэта особого внимания. Первый из них начинается словами: «Участь моя решена. Я женюсь». Эти «наброски носят автобиографический характер и связаны с помолвкой Пушкина 6 мая 1830 г.», – указывается в комментариях. «Подробности (например, визит к больному дяде – умиравшему В. Л. Пушкину, описание черт холостой жизни, мысли о поездке за границу и т. д.) совпадают с фактами жизни самого Пушкина... Подзаголовок «С французского», – говорится в том же комментарии, – сделан Пушкиным с целью прикрыть личные черты, отразившиеся в отрывке» [1].

Отрывок или наброски «Участь моя решена. Я женюсь», – говорится в другом издании сочинений поэта, – «имеют автобиографическое значение и отображают настроения и высказывания Пушкина в письмах в связи с помолвкою поэта с Н. Н. Гончаровой в мае 1830 года» [2].

«Набросок» озаглавлен «С французского», но носит столь явно и столь признанно автобиографический характер, – замечает о нем В. Вересаев в своей известной книге «Пушкин в жизни», – что мы сочли возможным в данном случае нарушить наше правило – не пользоваться для этой книги художественными про-

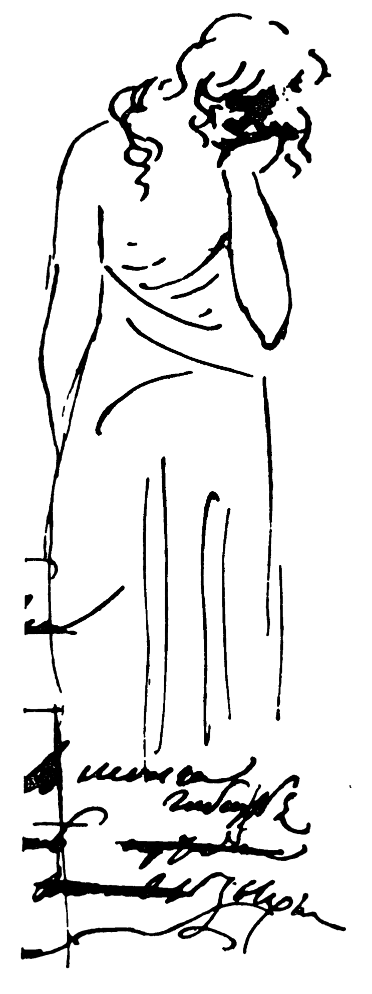


Пушкин и Онегин на берегу Невы.
Рисунок Пушкина. 1824 г.

изведениями Пушкина»[3]. Поэтому В. Вересаев включил этот отрывок пушкинской прозы в составленный им «систематический свод свидетельств» о жизни Пушкина.

Итак, набросок или отрывок, о котором мы говорим, носит «явно» и «признанно» автобиографический характер. А между тем мнение о таком характере его основано на смешении автобиографической – в прямом смысле слова – прозы Пушкина с произведениями, в которых можно отметить наличие автобиографических мотивов, но которые никак нельзя признать в целом автобиографическими.

В настоящей работе рассматривается автобиографическая проза Пушкина, автобиографическая в прямом смысле слова. В связи с этим необходимо ясно отграничить от нее отрывок «Участь моя решена. Я женюсь», нередко к ней относимый. Для этого нужно остановиться на причинах ошибки, допускаемой обычно при оценке этого пушкинского отрывка.



Татьяна.
Рисунок Пушкина в рукописи «Письма Татьяны». 1824 г.

«Вообще, – писал в своем «Биографическом известии об А. С. Пушкине...» брат поэта, – он любил придавать своим героям собственные вкусы и привычки»[4]. Но герой отрывка «Участь моя решена. Я женюсь» (несмотря на наличие в этом отрывке ряда автобиографических черт и подробностей) – не Пушкин: отождествлять его с поэтом у нас нет оснований.

«Я женюсь, т. е. жертвую независимостию, моею беспечной прихотливой независимостию, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянст-



Наталья Николаевна Пушкина.
Рисунок Пушкина. 1833 г.

вом»[5], — говорится в этом отрывке. В черновике было сказано: жертвую «вдохновением»[6], — но Пушкин затем удалил из текста отрывка все, что могло бы говорить о том, что перед нами рассказ о женитьбе поэта. Единственным глухим отзвуком остались, может быть, строки, касающиеся оглашения помолвки: «Это сегодня новость домашняя, завтра — площадная. — Так поэма, обдуманная в уединении, в летние ночи при свете луны, продается потом в книжной лавке и критикуется в журналах дураками...»[7]

В окончательном тексте отрывка мы читаем: «Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством в жизни моей... Дело в том, что я боялся не одного отказа»[8].

Но опасения поэта, решившего искать в женитьбе «счастья на обычных путях»[9], не совпадали с опасениями тридцатилетнего жениха, от лица которого написан переведенный будто бы Пушкиным с французского отрывок. Утрата независимости, которая грозила Пушкину, никак не сводилась к утрате беспечной независимости богатого холостяка. «Нет у меня досуга вольной холостой жизни, необходимой для писателя» — вот о чем скажет сам Пушкин через два года после женитьбы в письме к Нащокину, поясняя. «Кружусь в свете, жена моя в большой моде... а труды требуют уединения»[10]. Но дело не сводилось к невозможности уединенья.

«Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости, — писал Пушкин жене через три года после женитьбы. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас»[11].

Известно, что Пушкин стремился порвать свою зависимость от двора, но сделать это Николай ему не позволил. Когда Пушкин подал в отставку, а затем вынужден был взять свою просьбу назад, царь написал Бенкендорфу: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться; то, что может быть простительно двадцатилетнему безумцу, не может применяться к человеку тридцати пяти лет, мужу и отцу семейства» [12].

Опасения поэта перед женитьбой, заставлявшие его бояться «не одного отказа» со стороны Натальи Николаевны или ее родных, были связаны вовсе не с заботами «любящего пожить» эгоиста. И об этих-то важнейших сомнениях ничего не говорится в отрывке, посвященном женитьбе светского человека, который начинает свои размышления словами: «Участь моя решена. Я женюсь».

В пушкинском отрывке нет ничего даже отдаленно подобного и тому, что написал поэт перед женитьбой в письме к матери своей невесты. «Бог мне свидетель,— писал Пушкин 5 апреля 1830 года в этом письме,— что я готов умереть за нее; но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа,— эта мысль для меня — ад» [13]. Касаясь вслед за тем своих затруднений и ясно намекая на важнейшее из них, о котором Пушкин девять дней спустя писал Бенкендорфу («г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у государя...» [14]), поэт заключал письмо к матери своей невесты словами: «Вот в чем отчасти заключаются мои опасения» [15].

Нет, подобных опасений не было у героя, от лица которого ведется рассказ в пушкинском отрывке «Участь моя решена. Я женюсь».

Какие бы отдельные автобиографические детали ни использовал Пушкин в этом своем отрывке, перед нами лишь беллетристическое произведение, думая о судьбе которого Пушкин, как видим, не напрасно опасался личных «применений». Подзаголовок «С французского» дан был, конечно, Пушкиным этому отрывку для отвода «применений», которые читатели могли бы сделать, зная о женитьбе поэта. Но можно заметить, что прикрытие это носит весьма поверхностный характер: в отрывке, будто бы переведенном Пушкиным с французского, рассказывается о семействе, которое сидит за самоваром, отец говорит о саратовской деревне и благословляет жениха и невесту образом Казанской богоматери. Избежать «применений» Пушкину

не удалось: наброски, найденные в его бумагах, были напечатаны и сочтены — без достаточно глубоких, в сущности, оснований — автобиографическими.

«НЕСМОТРЯ НА ВЕЛИКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА...»

Совсем другой характер носит весьма важный с интересующей нас точки зрения отрывок, печатаемый также в разделе романов и повестей Пушкина, который начинается словами: «Несмотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы...» Отрывок этот был впервые напечатан вскоре после смерти Пушкина в четвертой книге «Современника» за 1837 год со следующим примечанием Плетнева: «Очерк и даже некоторые частности этого отрывка автор успел уже употребить в неоконченной повести своей, напечатанной... под названием «Египетские ночи». Издатели не считают за излишнее поместить здесь этот отрывок и в том виде, как он приготовлен был автором еще до назначения ему места в пьесе, как он набросан был в виде запасного материала».

Исследуя историю создания «Египетских ночей», С. Бонди пришел к выводу, что «Отрывок» (написанный, по словам Плетнева, Пушкиным «в виде запасного материала») «вовсе не связан был с «Египетскими ночами»: он представляет отдельный замысел, написан гораздо раньше и без всякой связи с повестью о Клеопатре и ее ночах...». «Заглавие «Отрывок» и примечание (которым Пушкин сопроводил его: «Сей отрывок составлял, вероятно, предисловие к повести, не написанной *или* потерянной». — *И. Ф.*) показывают, что Пушкин думал его в таком виде напечатать...» «Отрывок», видимо, так и был задуман, как отдельный этюд, никакой «повести», предваряемой им, видимо, вовсе и не было» [16].

Напомним прежде всего читателю наиболее важные места этого отрывка. «Несмотря на великие преимущества, — пишет Пушкин, — коими пользуются стихотворцы (признаться, кроме права ставить винительный вместо родительного падежа после частицы *не* и кой-каких еще так называемых стихотворческих вольностей, мы никаких особенных преимуществ за стихотворцами не ведаем) — как бы то ни было, несмотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям...» «Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца — есть его звание, прозвище, коим он заклеймен и которое никогда его не покидает. — Публика смотрит на него, как на свою собственность, считает себя вправе требовать от него

отчета в малейшем шаге. По ее мнению, он рожден для ее удовольствия и дышит для того только, чтоб подбирать рифмы. Требуют ли обстоятельства присутствия его в деревне — при возвращении его первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь нового? — Явится ль он в армию, чтоб взглянуть на друзей и родственников, — публика требует непременно от него поэмы на последнюю победу, и газетчики сердятся, почему долго заставляет он себя ждать. Задумается ли он о расстроенных своих делах, о предположении семейственном, о болезни милого ему человека — тотчас уже пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно изволите сочинять. — Влюбится ли он, — красавица его нарочно покупает себе альбом и ждет уже элегии. Приедет ли он к соседу поговорить о деле, или просто для развлечения от трудов, — сосед кличет своего сынка и заставляет мальчишку читать стихи *такого-то*, и мальчишка самым жалостным голосом угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще называется торжеством. Каковы же должны быть невзгоды? не знаю, но последние легче, кажется переносить. По крайней мере один из моих приятелей, известный стихотворец, признавался, что сии приветствия, вопросы, альбомы и мальчишки до такой степени бесили его, что поминутно вынужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости и твердить себе, что эти добрые люди не имели, вероятно, намерения вывести его из терпения...



Автопортрет. *Рукопись поэмы «Домик в Коломне. 1830 г.*

Мой приятель был самый простой и обыкновенный человек,

хотя и стихотворец. Когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), то он запирался в своей комнате и писал в постели с утра до позднего вечера, одевался наскоро, чтобы пообедать в ресторации, выезжал часа на три, возвратившись, опять ложился в постелю и писал до петухов. Это продолжалось у него недели две, три, много месяц, и случалось единожды в год, всегда осенью. Приятель мой уверял меня, что он только тогда и знал истинное счастие...

...Мы распространились о нашем приятеле,— замечает Пушкин,— по двум причинам: во-первых, потому, что он есть единственный литератор, с которым удалось нам коротко познакомиться,— во-вторых — что повесть, предлагаемая ныне читателю, слышана нами от него» [17].

То обстоятельство, что поэт говорит в этом «Отрывке» будто бы не о себе, а о своем приятеле («единственном литераторе»,— с юмором замечает Пушкин,— с которым удалось ему «коротко познакомиться»), ничуть не меняет, конечно, сущности дела. Перед нами отрывок автобиографической прозы Пушкина — в точном смысле этого слова. Пушкинское примечание о том, что отрывок этот «составлял, вероятно, предисловие к повести, не написанной *или* потерянной» (курсив наш.— *И. Ф.*), призванное, как мы видели, только мотивировать возможность появления этого отрывка в печати, не превращает его в начало повести. И потому печатать его в разделе повестей и романов Пушкина едва ли правильно.

Мы не вправе, конечно, утверждать, что «Отрывок» этот был бы включен Пушкиным в Автобиографические записки в том именно виде, в каком он дошел до нас. Но перед нами несомненно важнейший отрывок автобиографической прозы поэта, посвященный всегда занимавшему его вопросу о положении поэта в обществе, его окружавшем. И потому многое высказанное Пушкиным в этом отрывке должно было войти — может быть, в несколько иной только форме — в Автобиографические записки поэта.

НОВЫЕ «ЗАПИСКИ» ПУШКИНА

После сожжения «Записок» Пушкин решил возобновить свою погибшую Автобиографию и продолжить ее. В предисловии к новым «Запискам», датируемом началом 30-х годов, поэт кратко рассказал о судьбе и содержании своих погибших «Записок». Пушкин указывает далее, что, приступив к возобновлению свое-

го автобиографического труда, он «избирает себя лицом, около которого постарается собрать другие» («более достойные замечания»[1],— скромно поясняет он). «Скажу,— говорит он вслед за тем,— несколько слов о моем происхождении». Таким образом, в состав новых «Записок» должны были войти прежде всего портреты предков и современников поэта.

«Пушкин не отступал до самой смерти своей от намерения представить картину того мира, в котором жил и вращался»[2],— писал Анненков. «Через всю жизнь Пушкина... проходят настойчивые, непрекращающиеся попытки создания собственных мемуаров»[3],— отмечает современный нам исследователь. Но работа Пушкина над созданием новых «Записок» оставалась также неизученной.

Принято было считать, что работа Пушкина над новыми «Записками» свелась к созданию одного только начального отрывка их, который посвящен рассказу о предках поэта, и потому начальный отрывок этот печатается в качестве единственного дошедшего до нас отрывка новых Автобиографических записок Пушкина. Но является ли он в самом деле единственным?

Подобное представление основано на предположении, в силу которого Пушкин приступил к возобновлению своих «Записок» только пять – семь лет спустя после сожжения своей первой «Биографии» и, начав свой труд заново, должен был писать все предназначавшиеся для него отрывки непременно подряд. Такое предположение, однако, ничем не обосновано.

Выясняя судьбу сожженных «Записок» Пушкина, мы имели возможность убедиться в том, что ряд скрывающихся под случайными заголовками в собрании сочинений поэта прозаических отрывков представляет собой не что иное, как уцелевшие отрывки его сожженных «Записок». Поэтому нас едва ли удивит утверждение, что такого рода отрывки могли сохраниться и от возобновленных Автобиографических записок Пушкина.

Работа Пушкина над подготовкой новых «Записок» началась уже во второй половине 20-х годов. Вместе с тем, вопреки распространенному представлению, работа эта не прекратилась после создания им в начале 30-х годов отрывка, который должен был стать началом его новой Автобиографии и посвящен изображению предков поэта.

Характерно, что даже и этот начальный отрывок возобновленных «Записок» в течение долгого времени печатался в собрании сочинений поэта не как начало его новой Автобиографии, а в качестве самостоятельного отрывка под названием «Родословная Пушкиных и Ганнибалов». И это несмотря на то, что Пушкин в своем предисловии к возобновляемой «Биографии»

План новых Автобиографических записок Пушкина. Начало 30-х годов: «Семья моего отца... Первые впечатления... Охота к чтению. Меня везут в Петербург. Езуиты. Тургенев. Лицей. 1811. 1812 г. 1813... 1814 (Экзамен... Державин)».

достаточно ясно указал, что данный отрывок представляет собой вступительные страницы ее («скажу несколько слов о моем происхождении», — замечает Пушкин), вслед за чем и должен идти написанный им отрывок о предках. Тем не менее отрывок этот только несколько лет назад стали наконец печатать как начало возобновленной Автобиографии, признав единственным дошедшим до нас отрывком ее.

В действительности, как мы уже говорили, Пушкин написал для своей новой «Биографии» помимо «Родословной» еще ряд отрывков. И несмотря на то, что эти написанные им отрывки вовсе не должны были следовать в его Автобиографии один за другим, некоторые из них представляют собой вполне законченные эпизоды или портреты современников и должны были найти себе место в «Записках» поэта, для которых предназначались: тексты этих пушкинских отрывков известны, но не осознано было, что отрывки, о которых мы говорим, представляют собой разобщенные страницы новых «Записок» поэта.

В «Записках» этих должны были быть отражены (так же как и в сожженных «Записках») не только события личной жизни поэта, но и пережитые им исторические события. Об этом свидетельствуют сохранившиеся программы его новой Автобиографии.

«Жизнь наша лицейская, — писал в своих воспоминаниях о Пушкине его друг, декабрист Пущин, — сливается с политическою эпохою народной жизни русской: приготовлялась гроза 1812 года». И добавляет: «...эти события сильно отразились на нашем детстве»[4]. Вот об этом-то слиянии лицейской жизни поэта «с политическою эпохою народной жизни русской» и говорит сохранившаяся программа Автобиографических записок Пушкина. Пушкин написал в ней посредине листа «1812» (год), а перечисляя вслед за тем дальнейшие события своей лицейской жизни, отметил «Известие о взятии Парижа»[5].

Неверным, однако, является, утверждение, будто Пушкин считал невозможным писать в своих мемуарах «о самом себе». (Он, утверждает один из исследователей, никогда будто бы «не шел этим путем», во всех своих попытках создания мемуаров ставя себе задачей «описание современных происшествий»[6].) В программе новой «Биографии» Пушкин ясно указал, что собирается писать не только о пережитых им исторических событиях. Мы читаем в этой программе: «Ранняя любовь...», «Мои неприятные воспоминания...», «Отношение к товарищам», «Мое тщеславие» и т. д. Таким образом, Пушкин собирался писать о пережитом, не исключая при этом из своих «Записок» воспо-

минаний детства. Надо установить, как собирался писать — и писал — о себе Пушкин в своих «Записках».

«Писать свои *Mémoires* (мемуары.— *И. Ф.*) заманчиво и приятно»,— признавался Пушкин Вяземскому еще во время работы над первыми «Записками» в 1825 году. «Но трудно»,— добавлял он. «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? — говорит он в том же письме.— Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением»,— поясняя: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего»[7].

Ту же мысль, которой он придавал существенное значение, Пушкин выразил в так называемых «Материалах к отрывкам из писем, мыслям и замечаниям», где, смягчив только резкость выражений, писал: «Одна из причин жадности, с которой читаем записки великих людей, есть наше самолюбие: мы рады, ежели сходствуем с замечательным человеком чем бы то ни было, мнениями, чувствами, привычками — даже слабостями и пороками. Вероятно, больше сходства нашли бы мы с мнениями, привычками и слабостями людей вовсе ничтожных, если б они оставляли нам свои признания»[8].

Наконец, несколькими годами позже, когда Пушкин подготовлял материалы для новых Автобиографических записок, он вновь, обобщая, заметил: «После соблазнительных *Исповедей* философии XVIII века явились политические, не менее соблазнительные откровения. Мы не довольствовались видеть людей известных в колпаке и шлафроке, мы захотели последовать за ними в их спальню и далее»[9]. Пушкин резко возражал, как видим, против разжигаемого в то время европейской буржуазной печатью интереса к мемуарам, раскрывающим интимные стороны жизни великих людей. В своих собственных «Записках» поэт считал нужным писать о «лицах исторических» иначе, сознавая, конечно, что относится сам к их числу.

Пушкин заметил, что в царствование Александра I он имел на писателей больше влияния, чем правительство, несмотря на неизмеримое, казалось бы, неравенство средств, которыми поэт располагал по сравнению с самодержавной властью. А в своих предсмертных стихах пророчески сказал, что его нерукотворный памятник вознесся выше Александрийского столпа.

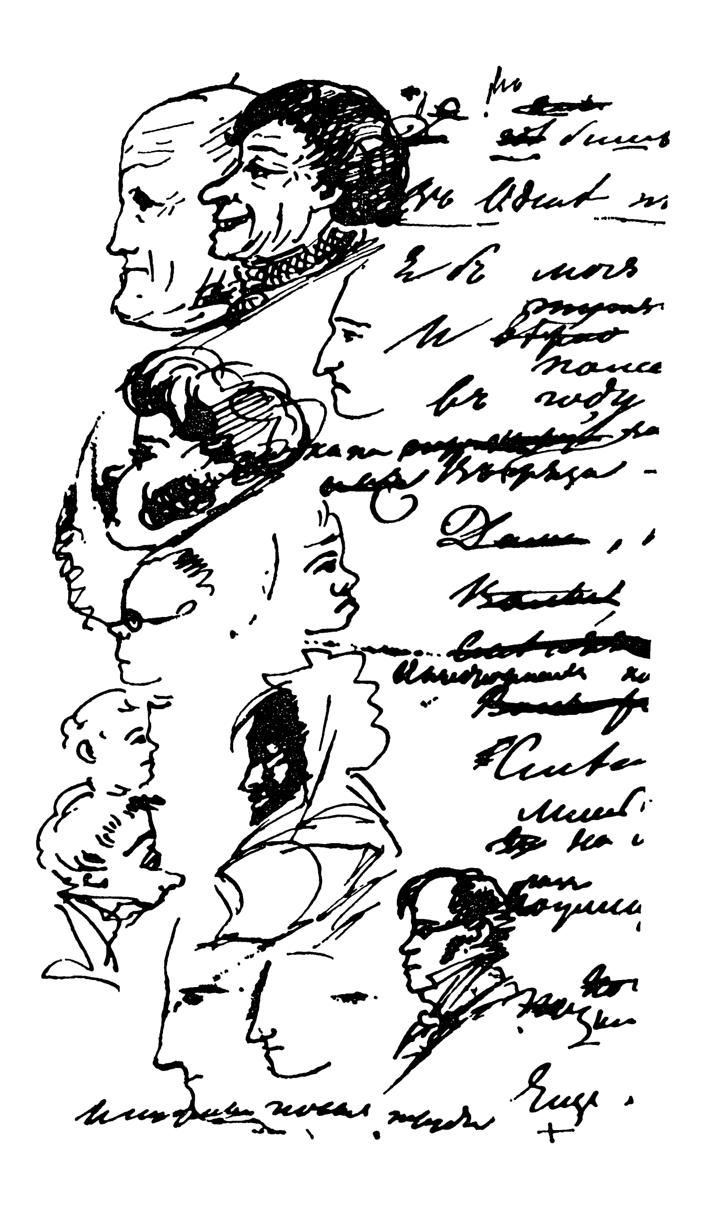
Все это определяло точку зрения Пушкина на события и на себя, точнее, на историческое значение своей деятельности. Эта историческая точка зрения и должна была определить характер «Записок» поэта, не мешая ему говорить в них о событиях своей внутренней жизни.

Вспоминая в предисловии к возобновляемой Автобиографии о своих сожженных «Записках», Пушкин заметил: «Не могу не сожалеть о их потере; я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностию дружбы или короткого знакомства»[10]. При этом он с необыкновенной смелостью указывал, что декабристы (казненные или находившиеся в Сибири) должны были вновь явиться в его возобновляемых «Записках». Он обещал только быть «осмотрительнее» в своих «показаниях». И, смело признавая, что память участников 14 декабря окружает теперь «некоторая торжественность», которая, пояснял он, «вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей», обещал сохранить необходимое для биографа и историка своего времени критическое отношение к отошедшим в историю деятелям 14 декабря.

В своем «Путешествии из Петербурга в Москву», так хорошо знакомом Пушкину, Радищев писал о судьбе сожженных по приговору цензуры сочинений, вспоминая примеры древности (и предчувствуя, вероятно, участь своей книги): «Кассий Север, друг Лабиения, видя писания его в огне, сказал: «Теперь *меня* сжечь надлежит: ибо я их наизусть знаю»[11]. Пушкин помнил, конечно, все, о чем писал в своих сожженных «Записках». В своих новых «Записках» он вновь собирался писать о декабристах. Но его новая «Биография» не должна была стать, конечно, простым возобновлением сожженных им в конце 1825 года «Записок».

Собираясь «воскресить, — по словам Анненкова, — собственные свои «Записки», некогда им истребленные», и «провести под покровом романа собственные свои воспоминания и суждения о том времени», Пушкин задумал в 30-е годы написать роман «Русский Пелам»[12]. В составленных им планах этого произведения, перечисляя героев его, Пушкин назвал Грибоедова и декабристов: Илью Долгорукого, Сергея Трубецкого и Никиту Муравьева[13]. Имена декабристов перечислены им при этом под рубрикой *«Характеры»*.

В пушкинском романе в стихах, как видно из дошедших до нас отрывков десятой главы «Онегина», декабристы также должны были явиться не только как «лица исторические»: в уцелевших строках этой главы «Онегина» лаконично, с пушкинской меткостью, даны характеры изображенных декабристов. Перед нами определенный Пушкиным одной чертой «меланхолический» Якушкин, «беспокойный» (в другом, сохраненном в записи современника варианте — «вдохновенный») Никита Муравьев, «осторожный» Илья Долгорукий, «дерзкий», предлагающий «свои решительные меры» Лунин и человек одной, всепоглощаю-



Профили неизвестных. (Внизу справа – П. А. Вяземский.)
Рисунок Пушкина в рукописи «Евгения Онегина». 1825 г.

щей идеи Николай Тургенев («Одну Россию в мире видя...» — сказано о нем в стихах Пушкина). О Юшневском поэт говорит в той же десятой главе «Онегина», называя его «холоднокровным генералом», и характеристика эта как бы подчеркивает, что заговор декабристов не был только делом горячих голов и увлекающихся юношей.

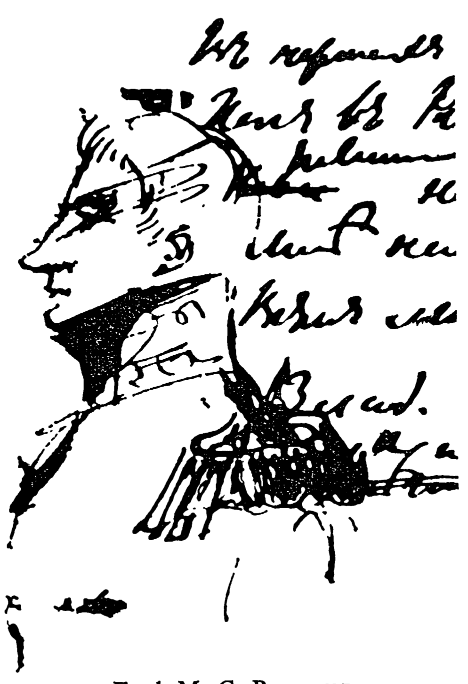
Можно отметить, что и Александр I является перед нами в десятой главе «Онегина» не только как исторический деятель, но и как раскрываемый сатирически характер («Властитель слабый и лукавый, // Плешивый щеголь, враг труда...»).

В стихах своей «славной хроники» — как назвал Вяземский десятую главу «Онегина» — Пушкин изобразил себя среди декабристов; с именем Якушкина (который, по словам поэта, «Казалось, молча обнажал // Цареубийственный кинжал») Пушкин — автор «Кинжала» — смело срифмовал в десятой главе «Онегина» свое имя — в годы, когда Якушкин давно был уже каторжанином.

В возобновленных Автобиографических записках декабристы также должны были быть изображены, по-видимому, не только как исторические деятели, но и как характеры. Так именно изображены поэтом в новых «Записках» исторические лица, портреты которых он успел написать. Так изображены Пушкиным в этих «Записках» и лица, ничем себя в истории не ознаменовавшие, портреты которых тем не менее также должны были войти в состав его «Записок».

Белинский назвал пушкинский роман в стихах не только «энциклопедией русской жизни» [14], но и «поэмой *исторической* в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица» [15]. Великий критик не знал, что в зашифрованной Пушкиным главе «Онегина» появлялись «лица исторические», то есть декабристы и император Александр. Белинский указывал при этом на множество «вставочных портретов и силуэтов, вошедших в... поэму и довершающих собою картину русского общества высшего и среднего» [16]. В возобновляемых «Записках» Пушкина должны были явиться на сцену не только «лица исторические» — декабристы и цари, не только прославленные писатели, но, так же как в «Онегине», и лица совсем не исторические, без которых, однако, картина времени не могла быть воссоздана, на взгляд Пушкина, с достаточной полнотой.

Противопоставляя декабристов основной дворянской массе, В. И. Ленин, вспоминая образы Герцена, писал, что из нее вышли не только «Бироны и Аракчеевы» и «бесчисленное количество «пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников», да прекраснодушных



Граф М. С. Воронцов.
Рисунок Пушкина. 1824 г.

Маниловых»[17]. Такими, однако, оставалось множество современных Пушкину дворян-помещиков, и поэт ставил перед собой задачу нарисовать на страницах своих Автобиографических записок портреты запомнившихся ему наиболее выразительных представителей этого дворянства.

В Петре I Пушкин сумел разглядеть в эти годы не только великого человека, но и «нетерпеливого самовластного помещика». А в знакомом ему псковском помещике – род маленького царя-тирана. В своем «Путешествии из Москвы в Петербург» (написанном в те же годы, когда Пушкин работал над «Историей Петра» и над своими новыми «Записками») поэт говорит: «Помещик, описанный Радищевым, привел мне на память другого, бывшего мне знакомого лет 15 тому назад. Молодой мой образ мыслей и пылкость тогдашних чувствований отвратили меня от него и помешали мне изучить один из самых замечательных характеров, которые удалось мне встретить. Этот помещик был род маленького Людовика XI. Он был тиран, но тиран по системе и по убеждению – с целию, к которой двигался он с силою души необыкновенной и с презрением к человечеству, которого не думал и скрывать. Сделавшись помещиком двух тысяч душ, он нашел своих крестьян, как говорится, избалованными слабым и беспечным своим предшественником. Первым старанием его было общее и совершенное разорение. Он немедленно приступил к совершению своего предположения и в три года привел крестьян в жестокое положение. Крестьянин не имел никакой собственности – он пахал барскою сохою, запряженной барскою клячею, скот его был весь продан, он садился за спартанскую трапезу на барском дворе, дома не имел он ни штей, ни хлеба. Одежда, обувь выдавалась ему от господина, – словом, статья Радищева кажется картиною хозяйства моего помещи-

ка.— Как бы вы думали? Мучитель имел виды филантропические. Приучив своих крестьян к нужде, терпению и труду, он думал постепенно их обогатить, возвратить им собственность, даровать им права! — Судьба не позволила ему исполнить его предначертания. Он был убит своими крестьянами во время пожара»[18]. Написав этот незабываемый портрет, Пушкин сожалеет, что «молодой образ мыслей» и «пылкость чувствований», отвратив его от описанного им теперь помещика, помешали ему «*изучить* один из самых замечательных *характеров*». (Курсив наш.— *И. Ф.*) Как видим, в годы создания новых «Записок» Пушкин сознательно стремился к изучению и раскрытию характеров, взятых как характеры социальные.

В высшей степени замечательно, что, рисуя в начале новой Автобиографии своих предков, Пушкин изображает не только героические черты, прославившие Пушкиных и Ганнибалов, но и создает чрезвычайно острые социальные портреты своих дедов. Изображая своего деда с отцовской стороны — Льва Александровича Пушкина, поэт сообщает:

«Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе»[19] и т. д.

Пушкин, верно отметил Д. Благой, «с удивительным бесстрашием... рассказывает о самых потаенных чертах и поступках своих предков-крепостников»[20]. Гордясь славой своих предков, заслуживающих название лиц исторических, Пушкин правдиво писал о тех представителях своего рода, которые оставили о себе иную, мрачную память.

Созданные Пушкиным портреты декабристов не сохранились, так как восстановить сожженные портреты их Пушкин не успел. А портреты других современников, предназначавшиеся для «Записок» поэта, оказались разобщенными. Некоторые из них сохранились в бумагах поэта, но остаются неопознанными, другие, подготовленные им для новых «Записок» отрывки перешли в состав новых произведений (при этом Пушкин мог — и должен был по необходимости — вносить в них некоторые изменения).

Говоря о повести «Кирджали», П. И. Бартенев в свое время отметил, что «набросанное в ней Пушкиным описание дела под Скулянами имеет все достоинства подлинной исторической записки»[21]. Анненков считал, что рассказ о Кирджали Пушкин составил, «вероятно, тоже на основании теперь не существующих своих записок о греческом восстании»[22]. Содержащаяся в этой повести характеристика Александра Ипсиланти, заметил позднее В. Се-

линов, находилась, может быть, «в не дошедших до нас листах Кишиневского дневника» поэта[23]. И поскольку в дошедшей до нас программе новых «Записок» Пушкина мы читаем: «Ипсиланти... Греческая революция», а страницы, посвященные Пушкиным Александру Ипсиланти в повести «Кирджали», весьма походят действительно на страницы «Записок» поэта, мы едва ли ошибемся, предположив, что и характеристика Ипсиланти и описание сражения под Скулянами являются – может быть, восстановленными Пушкиным по памяти – страницами, предназначавшимися для записок поэта и включенными им впоследствии в повесть «Кирджали».

Предназначавшимся, по-видимому, для «Записок» портретом является великолепное изображение Ермолова, дошедшее до нас в составе отрывков из «Путевых записок» (которые Пушкин вел в 1829 году). Отрывок о Ермолове включается в «Путешествие в Арзрум», написанное в 1835 году. Но портрет Ермолова, так резко очерченный поэтом в его «Путевых записках» 1829 года (и, как верно отметил в другой связи С. Бонди, писавшийся Пушкиным не для печати[24]), должен был, конечно, найти себе место и в Автобиографических записках Пушкина: встреча с Ермоловым являлась не только эпизодом пушкинского путешествия в Арзрум, но и важной в биографии поэта встречей с историческим лицом.

Точно так же, как встреча с Ермоловым, в новой «Биографии» Пушкина должна была быть изображена, конечно, и последняя встреча его с Грибоедовым. Описание встречи с гробом Грибоедова и следующая за этим описанием гениальная характеристика-портрет Грибоедова включены были Пушкиным в написанное через несколько лет после этой встречи «Путешествие в Арзрум»: Грибоедов погиб, и смерть его побуждала Пушкина включить в состав публикуемого произведения страницы, которые должны были войти впоследствии – в несколько, может быть, только измененном виде – в Автобиографические записки Пушкина.

Помимо портрета Ермолова и портрета Грибоедова, нашедших себе место в «Путешествии в Арзрум», в бумагах поэта сохранились отдельные отрывки, предназначавшиеся для Автобиографических записок и только по недоразумению к ним не относимые.

В составе рукописного наследства поэта после смерти его обнаружена была пачка написанных в разное время листков, собранных им самим в общую обложку, на которой Пушкин напи-

сал «Table talk» (т. е. «Застольные рассказы»). В пачке этой собраны листки самого различного вида и содержания. «В бумагах Пушкина листки» эти «расположены в совершенном беспорядке»[25],— отмечают исследователи. Большая часть этих листков занята историческими анекдотами, записанными Пушкиным. Но в той же пачке лежит и знаменитый рассказ поэта о встрече с Державиным. Рассказ этот так явно отличается по своему характеру от исторических анекдотов, среди которых он лежит в пушкинской пачке (и вместе с которыми обыкновенно печатается), что некоторые редакторы сочинений поэта перемещают его в раздел автобиографической прозы Пушкина, не замечая, однако, что страницы эти представляют собой не что иное, как отрывок из «Записок» поэта. В раздел автобиографической прозы помещает отрывок, посвященный Пушкиным Державину, Малое академическое издание сочинений поэта (следуя в этом отношении дореволюционному изданию под редакцией П. О. Морозова). Большое академическое издание не делает, к сожалению, даже и этого, печатая отрывок о Державине среди анекдотов, включенных в «Table talk». Между тем рассказ этот, как уже больше ста лет назад показал Анненков, представляет собой отрывок возобновленной Автобиографии Пушкина[26].

Определить действительный характер отрывка, о котором мы говорим, важно еще и потому, что выполнение этой задачи помогает нам обнаружить в пачке «Table talk» не один, а целых четыре отрывка, относящихся к «Запискам» поэта. Так же, как и отрывок, посвященный Державину, все они нашли в пушкинской пачке только первое, временное пристанище: мы говорим об отрывках, посвященных Пушкиным изображению Будри, Александра Давыдова и Дурова.

Исторические анекдоты, составляющие большую часть пачки «Table talk», записанные Пушкиным с чужих слов, передают, как это свойственно такого рода анекдотам, только отдельные характерные черты тех или иных исторических лиц либо отдельные характерные черты прошлого. Отрывки же, посвященные Пушкиным изображению Державина, Будри, Александра Давыдова и Дурова, представляют собой, в отличие от исторических анекдотов (с которыми они смешаны в пушкинской пачке), законченные, цельные портреты, написанные Пушкиным, как он сам подчеркивает, на основании личных впечатлений и воспоминаний.

Вполне естественно поэтому, что в первом научно изданном собрании сочинений Пушкина, встретившем такую высокую оценку со стороны Чернышевского и Добролюбова, отрывки, о которых мы говорим, были напечатаны Анненковым в качестве «Остатков записок (автобиографии) Пушкина»[27].

Не мог напечатать он из числа этих отрывков только отрывок, посвященный Будри – брату Марата, так как в 1855 году сделать это по цензурным условиям было невозможно. Но уже четыре года спустя после смерти Николая I отрывок этот появился в «Библиографических записках». Там же напечатан был в более полном виде и рассказ о Дурове, причем опубликовавший его Е. И. Якушкин также признал его относящимся «к запискам Пушкина тридцатых годов»[28].

Следует отметить, что Анненков ввел в число «остатков настоящих записок (автобиографии) Пушкина» и отрывки из Кишиневского дневника поэта. Таким образом, он не отделял отрывки Автобиографических записок (Автобиографии) Пушкина от отрывков «Ежедневных записок» поэта. Но в целом первые редакторы Пушкина верней, чем последующие исследователи, судили о характере тех страниц пушкинской прозы, которые они с полным основанием признавали уцелевшими отрывками возобновленных в 30-е годы «Записок» поэта.

В наше время задача состоит не в том, конечно, чтобы попросту вернуться к высказанному век назад. Мы имеем ныне возможность составить гораздо более полное представление о судьбе и содержании «Записок» великого поэта. Но не следует забывать об указаниях современников и первых исследователей Пушкина: нужно вспомнить о них и внимательно отделить содержащиеся в этих свидетельствах верные указания от неверных.

Кроме портретных отрывков, о которых мы сейчас говорили, печатающихся обычно в составе пушкинской пачки «Застольных рассказов» («Table talk»), к «Запискам» поэта относятся страницы, посвященные Пушкиным воспоминаниям о холерном годе. Этот замечательный отрывок печатается почему-то под видом «Записи» или «*Заметки* о холере»[29]. (Курсив наш. – *И. Ф.*) Объяснить сказанное можно, по-видимому, только слепой уверенностью в том, что от новых «Записок» Пушкина ничего, кроме начального отрывка, не дошло и не могло дойти до нас. Следует напомнить, что отрывок о холерном годе относится к «Запискам» поэта столь явно, что уже Бартенев, один из первых биографов Пушкина, упоминал об этом как о чем-то само собой разумеющемся[30].

Обнаружить уцелевшие отрывки новых «Записок» поэта помогают нам не только указания первых редакторов Пушкина, но прежде всего, конечно, изучение этих отрывков вместе с изучением замысла Пушкина.

Разобщенные отрывки новых «Записок» поэта, как и разобщенные отрывки сожженных «Записок» его, выделяются, как мы говорили, на не свойственных им местах, занимаемых ими неред-

ко в силу случайных обстоятельств в различных томах сочинений Пушкина. Когда же мы устанавливаем связь этих отрывков с «Записками» поэта, обнаруживается, как уже сказано, не только общность их происхождения, но и стилевое единство их. Поэтому историко-литературное и литературно-критическое изучение этих отрывков пушкинской прозы является для нас не менее важным, нежели изучение судьбы Автобиографических записок поэта.

Если мы хотим обнаружить в литературном наследстве Пушкина уцелевшие отрывки, относящиеся к его новым «Запискам», мы должны (так же, как это было сделано нами при изучении вопроса о первых сожженных «Записках») учесть особенность судьбы и истории создания этого труда. Портреты современников должны были, конечно, найти себе место прежде всего в «Записках» Пушкина. Но и те портреты современников, которые вошли в состав других произведений его, помогают нам создать себе представление о характере «Записок» поэта и вместе с тем о мастерстве Пушкина-портретиста.

ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННИКОВ

ДЕРЖАВИН

Отрывок, посвященный встрече с Державиным, принадлежит бесспорно к лучшим страницам автобиографической прозы Пушкина. Воссоздавая этот незабываемый эпизод своей биографии, Пушкин создал полную глубокого лиризма сцену, в которой является перед нами он сам и с ним «старик Державин».

«Державин был очень стар,— читаем мы в этом уцелевшем отрывке «Записок» Пушкина.— Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою». Приближая к нам лицо старого поэта — и рассматривая его вблизи,— Пушкин с необычайной резкостью показывает дряхлость Державина. «Лицо его было бессмысленно,— пишет он,— глаза мутны, губы отвислы». И добавляет: «Портрет его (где представлен он в колпаке и в халате) очень похож».

Ссылаясь на всем в то время известный старческий портрет прославленного поэта, Пушкин, как может показаться сначала, «цитирует» этот портрет, избавляя этим себя от необходимости подробно описывать на страницах своих «Записок» внешность Державина. Но это только так кажется сначала. Ссылка на известный портрет и необычайно резкое изображение черт дряхло-



Царскосельский лицей.
Рисунок Пушкина в рукописи «Евгения Онегина». 1829 г.

сти Державина служат Пушкину только средством, помогающим раскрыть вслед за тем образ старого поэта, образ более сложный (потому что противоречивый), нежели портрет, на котором живописец передал лишь одну из сторон этого образа, представив Державина всего только дряхлым стариком.

Напомнив читателям об этом портрете и подчеркнув, что портрет этот очень похож на Державина, каким показался он лицеистам в начале экзамена, Пушкин сразу же (и как будто неожиданно) вслед за тем пишет: «Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали» (между тем как до того «лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы»). «Он преобразился весь»,— пишет Пушкин. И поясняет: «Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной».

Дело, оказывается, вовсе не в одной только старости Державина, так поразившей сначала юного поэта. «Ты бог — ты червь, ты свет — ты ночь»,— сказал он о Державине в поэме «Тень Фонвизина» (написанной им в самый год лицейского экзамена), варьируя, прославленный державинский стих: «Я — царь,— я раб,— я

червь,— я бог!» В минуты поэтического восторга Державин «преображался весь». И. вот эти минуты наступили.

«Наконец вызвали меня,— говорит Пушкин.— Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом...»

«Не помню, как я кончил свое чтение,— продолжает Пушкин после выразительной паузы,— не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...» [1]

Как видим, в «Записках» Пушкина портрет Державина дан не статически. Сцена написана пером прозаика, являющегося вместе с тем лирическим поэтом и драматургом. Перед нами жизненная, полная драматического движения сцена, в которой раскрываются образы действующих лиц. Все способствует здесь глубокому раскрытию этих образов. Этой цели служит и вводная комическая сцена, где перед нами является любимый лицейский товарищ Пушкина Дельвиг — юный поэт и восторженный почитатель Державина.

«Как узнали мы, что Державин будет к нам,— вспоминает Пушкин;— все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дождаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую «Водопад».

Надо вспомнить, с каким восторгом читалась тогда эта величественная, великолепная ода, многие строфы которой производят сильное впечатление и в наше время. («Не зрим ли каждый день гробов, // Седин дряхлеющей вселенной?..» Эти патетические строки Державина Пушкин ввел впоследствии в качестве эпиграфа в свою повесть о гробовщике.)

И вот, продолжает Пушкин, вспоминая минуты, предшествовавшие началу лицейского экзамена, «Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: где, братец, здесь нужник? Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение» (поцеловать руку Державина) и «возвратился в залу» («Дельвиг,— добавляет Пушкин,— это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостию»).

Пушкин не побоялся, как видим, вспомнить об этой прозаической подробности в своем рассказе о дне, столь для него памятном и важном. Не побоялся потому, что под его пером хороши все средства, если они могут полнее, верней представить не только самого Державина, но и юного Дельвига, который так поражен был обращением Державина к швейцару. Ибо этой чер-

той характеризуется в рассказе Пушкина, собственно, не Державин, а Дельвиг.

И, несмотря на то, что Пушкин не избегает в своем рассказе подробностей самых прозаических, несмотря на то, что он не боится показать крупно, первым планом лицо Державина в минуты безразличия и старческой апатии, перед нами оживает Державин, поэт с головы до ног. Средствами прозы Пушкин рассказал нам в своих «Записках» об этом дне своей жизни («Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не позабуду...») полнее и едва ли не выразительней, чем в стихах, идущих в рукописи «Онегина» вслед за словами:

О торжество невинных дней!
Твой сладок сон душе моей.

БУДРИ – БРАТ МАРАТА

В той же пушкинской пачке («Table talk»), кроме отрывка Автобиографических записок поэта, посвященного Державину, лежит отрывок, посвященный другому яркому лицейскому воспоминанию Пушкина, отрывок, относящийся также к «Запискам» поэта. В этом нетрудно убедиться, прочитав его. Речь идет о строках, посвященных Пушкиным Будри.

Будри – «брат знаменитого Марата, очень на него похожий лицом» – «с соизволения Екатерины II переменил фамилию, страшную в летописях истории», – пишет со слов Нащокина Бартенев, передавая запомнившиеся Нащокину рассказы Пушкина [1]. Он в течение десяти лет был профессором французской словесности в Царскосельском лицее.

Не удивительно, что Будри так запомнился поэту. «Он очень уважал память своего брата, – пишет Пушкин, – и однажды в классе, говоря о Робеспиере, сказал нам как ни в чем не бывало: «Это он тайно воздействовал на Шарлотту Кордэ (заколовшую Марата кинжалом. – *И. Ф.*) и сделал из этой девушки второго Равальяка» [2]. Равальяк был убийцей Генриха IV, но имя его стало в устах декабристов нарицательным. «Равальяки родятся веками», – сказал во время следствия Александр Бестужев. А Вильгельм Кюхельбекер признал, что горькая необходимость принудила его взять на себя ролю Равальяка» [3].

Будри «сказывал, – продолжает Пушкин, – что брат его был необыкновенно силен, несмотря на свою худощавость и малый рост. Он рассказывал также многое о его добродушии, любви к родственникам, etc. etc.

В молодости его, чтоб отвадить брата от развратных женщин, Марат повел его в гошпиталь, где показал ему ужасы венерической болезни».

Марат является перед нами на страницах «Записок» поэта. И Пушкин – в отличие от того, что он писал о нем в стихотворении «Андрей Шенье», – не говорит о нем как о чудовище (это Бартенев называет имя Марата «страшным в летописях истории»). Пушкин вспоминает в своих «Записках», что Будри рассказывал многое о добродушии Марата и о его любви к близким, между тем как едва ли не для всех других русских писателей того времени Марат и добродушие – «две вещи несовместные».



Марат. *Рисунок Пушкина. 1821 г.*

Немногими чертами Пушкин выразительно рисует и самого Будри, с такой свободой рассказывавшего о своем брате – и где же? – в Царскосельском лицее, бок о бок с дворцом. Приведя смелый рассказ Будри о Робеспьере, толкнувшем (по словам Будри) Шарлотту Кордэ на убийство Марата, Пушкин вслед за тем пишет: «Впрочем, Будри, несмотря на свое родство, демократические мысли, замасленный жилет и вообще наружность, напоминавшую якобинца, был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный».

И если нельзя утверждать, что отрывок, посвященный Будри, вошел бы в «Записки» Пушкина без всяких изменений, мы все же можем, не боясь ошибиться, считать его страницей, предназначенной для этих «Записок», хотя, может быть, и подлежавшей еще некоторой обработке или отделке.

«ФАЛЬСТАФ II»

В так называемой второй, также относящейся к 30-м годам программе «Записок», помещен был рассказ о Каменке, которая была в период пребывания Пушкина на юге важнейшим местом встреч для участников Тайного общества.



Куницын и Будри.
Рисунок лицеиста Илличевского.

Говоря о своем пребывании в Каменке, поместье братьев Давыдовых — Василия Львовича, возглавившего затем Каменскую управу Южного общества, и его брата Александра, — Пушкин в конце 1820 года писал из Каменки: «Общество наше... разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России...»[1] В следующем году он обратился к В. Л. Давыдову с посланием, в конце которого сказал: «Ужель надежды луч исчез? — Но нет! — мы счастьем насладимся...» — и выражал надежду на скорую революцию в России.

Нет сомнения, что, воссоздавая существовавший уже, вероятно, ранее в сожженных «Записках» рассказ о Каменке, Пушкин должен был воссоздать образы встречавшихся там декабристов, и прежде всего образ Василия Львовича Давыдова, которого побывавший в Каменке Якушкин называет в своих «Записках» «ревностным членом Тайного общества»[2].

«Все вечера мы проводили на половине у Василия Львовича, — вспоминает Якушкин, — и вечерние беседы наши для всех нас были очень занимательны. Раевский, не принадлежа сам к Тайному обществу, но подозревая его существование, — поясняет Якушкин, — смотрел с напряженным любопытством на все происходящее вокруг него»[3]. С таким же напряженным любопытством смотрел на все происходящее и находившийся в то время в Каменке Пушкин.

В своих «Записках» Якушкин передает сцену, теперь широко известную, во время которой «Пушкин с жаром доказывал всю пользу, которую могло бы принести Тайное общество России». Но так как обсуждение предпринято было действительными участниками Тайного общества лишь с целью доказать непосвященным, что такого общества не существует, Якушкин превратил весь разговор в шутку. «Разумеется, все это только одна

шутка»,— сказал он Раевскому, заявившему тут же о своем желании присоединиться к Тайному обществу.

Все рассмеялись, пишет Якушкин, «кроме Александра Львовича, рогоносца величавого, который дремал, и Пушкина, который был очень взволнован». «Я никогда не был так несчастлив, как теперь,— сказал тогда Пушкин,— я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка». «В эту минуту он был точно прекрасен»[4],— вспоминает Якушкин.

В числе участников этой запомнившейся Пушкину сцены был, как видим, брат декабриста Василия Львовича Давыдова — Александр Львович. Якушкин называет его «рогоносцем величавым» (как назвал его Пушкин в «Онегине»), не забывая отметить, что даже во время изображенной только что и так взволновавшей Пушкина сцены Александр Львович Давыдов «дремал». Комически контрастная всему происходившему тогда в Каменке, характерная фигура его запомнилась Якушкину навсегда. Запомнилась она не только ему, но *и* Пушкину.

В той же пачке «Table talk», где лежат относящиеся к «Запискам» Пушкина страницы, посвященные Державину и Будри, сохранился написанный Пушкиным сатирический портрет Александра Львовича Давыдова, также относящийся, как можно думать, к «Запискам» поэта.

Портреты декабристов, созданные Пушкиным, не дошли до нас, и это, в связи с неизученностью пушкинского замысла, препятствует пониманию того, что портреты братьев этих героев — и не только братьев по классу, но попросту родных братьев их — представляют собой также страницы, которые должны были войти в состав «Записок» поэта. Важнейшей задачей для Пушкина в период работы над новыми «Записками», как мы уже говорили, было изображение характеров. И предназначавшиеся для этих «Записок» страницы, раскрывающие образ Александра Львовича Давыдова, начинаются по-пушкински глубоким анализом принципов, положенных Шекспиром и Мольером в основу изображения созданных ими характеров.

«Лица, созданные Шекспиром,— говорит здесь Пушкин,— не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков».

«Разбирая характер Фальстафа», Пушкин вслед за тем пишет: «В молодости моей случай сблизил меня с человеком, в коем природа, казалось, желая подражать Шекспиру, повторила его гениальное создание.*** (Александр Львович Давыдов — Пушкин заменяет здесь его имя тремя звездочками.— *И. Ф.*) был



А. Л. Давыдов.
Рисунок Пушкина. 1826 г.

второй Фальстаф: сластолюбив, трус, хвастлив, не глуп, забавен, без всяких правил, слезлив и толст. Одно обстоятельство придавало ему прелесть оригинальную. Он был женат. Шекспир не успел женить своего холостяка. Фальстаф умер у своих приятельниц, не успев быть ни рогатым супругом, ни отцом семейства; сколько сцен, потерянных для кисти Шекспира!

Вот черта, – продолжает Пушкин, – из домашней жизни моего почтенного друга. Четырехлетний сынок его, вылитый отец, маленький Фальстаф III, однажды в его отсутствие повторял про себя: «Какой папенька хлаблий! как папеньку государь любит!» Мальчика подслушали и кликнули: «Кто тебе это сказывал, Володя?» – «Папенька», – отвечал Володя» [5].

Перед нами вместо героя-декабриста – брат героя, которого Пушкин назвал в стихах величавым рогоносцем, а в прозе – вторым Фальстафом.

Сатирически рисуя в дошедшем до нас отрывке сожженных «Записок» портрет Екатерины II, Пушкин назвал ее «Тартюфом в юбке и в короне», сравнив ее неожиданным образом с лицом, созданным Мольером. Своего «нового Фальстафа» – Александра Львовича Давыдова – Пушкин сатирически сравнивает с шекспировским Фальстафом. Ссылка на прославленный литературный образ играет в данном случае у Пушкина роль, схожую отчасти со ссылкой его на известные всем портреты Державина и Ермолова; вспоминая их, Пушкин не повторял их, а, отправляясь от них, создавал на страницах своих «Записок» новые образы.

Можно заметить, что и в первых, сожженных «Записках» Пушкин не просто характеризует Екатерину II, называя ее «Тартюфом в юбке и в короне». Тартюф в юбке (а не в порфире) и притом в короне — образ разительный. Точно так же, не ограничиваясь тем, что он называет Александра Давыдова вторым Фальстафом, Пушкин говорит, что «четырехлетний сынок его, вылитый отец», был маленький Фальстаф III. Сатирическая характеристика «нового Фальстафа» — Давыдова этим новым, комически варьированным повторением образа обостряется. То есть литературное сравнение, как и ссылка на известные портреты героев, заново воссоздаваемых Пушкиным, служит Пушкину средством, позволяющим ему неожиданно — в данном случае сатирически — раскрыть действительный характер изображаемого лица.

ДУРОВ

К числу острых социальных портретов, созданных Пушкиным, относится портрет Дурова, несомненно подготовленный поэтом для своих «Записок» и лежавший в той же пачке «Table talk», где лежали портреты Державина, Будри и «второго Фальстафа» — Александра Давыдова. Перед нами снова брат героя (точней, героини), гениально изображенный Пушкиным.

«Дуров — брат той Дуровой, которая в 1807 году вошла в военную службу, заслужила Георгиевский крест и теперь. издает свои записки». Так начинает Пушкин свой рассказ о Дурове, поясняя: «Брат в своем роде не уступает в странности сестре» [1].

«Милостивый государь, Василий Андреевич, — писал Дурову Пушкин 16 июня 1835 года. — Искренне обрадовался я, получа письмо Ваше, напомнившее мне старое, любезное знакомство» [2]. Чему же — и притом так искренне — обрадовался Пушкин, получив письмо Дурова?

«Я познакомился с ним на Кавказе, в 1829 г., возвращаясь из Арзрума, — вспоминает Пушкин в своем рассказе, написанном через четыре месяца после получения им от Дурова письма, напомнившего поэту «старое, любезное знакомство». — Он лечился от какой-то удивительной болезни, вроде каталепсии, — пишет Пушкин, — и играл с утра до ночи в карты. Наконец он проигрался, и я довез его до Москвы в моей коляске».

«Старое, любезное знакомство» с Дуровым, встреченным Пушкиным на возвратном пути из Арзрума, протекало в действительности не во всем так, как вспоминает в своем написанном шесть лет спустя рассказе Пушкин. Михаил Иванович Пу-

щин (брат ближайшего друга поэта — Ивана Ивановича Пущина) говорит о знакомстве Пушкина с Дуровым, состоявшемся в Кисловодске, иначе.

«Тут явилась, — сообщает он, — замечательная личность, которая очень была привлекательна для Пушкина: Сарапульский городничий Дуров...

Цинизм Дурова восхищал и удивлял Пушкина; забота его была постоянная заставлять Дурова что-нибудь рассказывать из своих приключений, которые заставляли Пушкина хохотать от души; с утра он отыскивал Дурова и поздно вечером расставался с ним.

Приближалось время отъезда; он условился с ним ехать до Москвы; но ни у того, ни у другого не было денег на дорогу. Я снабдил ими Пушкина на путевые издержки; Дуров приютился к нему. Из Новочеркасска Пушкин мне писал, что Дуров оказался chevalier d'industrie (шулером. — *И. Ф.*); выиграл у него пять тысяч рублей, которые Пушкин достал у наказного атамана, и, заплативши Дурову, в Новочеркасске с ним разъехался, поскакал один в Москву, и, вероятно, с Дуровым никогда более не встретится» [3].

Дуров с его рассказами, «восхищавший» и «удивлявший» Пушкина своим «цинизмом», оказался, как характерный тип, так интересен Пушкину, что поэт в самом деле обрадовался, вспомнив о нем, и готов был даже простить ему, что тот, не совсем чисто играя в карты, обыграл его шесть лет назад.

«Дуров, — рассказывает Пушкин, — помешан был на одном пункте: ему непременно хотелось иметь сто тысяч рублей. Всевозможные способы достать их были им придуманы и передуманы. Иногда ночью в дороге он будил меня вопросом: «Александр Сергеевич! Александр Сергеевич! как бы, думаете вы, достать мне сто тысяч?» Однажды сказал я ему, что на его месте, если уж сто тысяч были необходимы для моего спокойствия и благополучия, то я бы их украл. «Я об этом думал», — отвечал мне Дуров. — Ну что ж? — «Мудрено; не у всякого в кармане можно найти сто тысяч, а зарезать или обокрасть человека за безделицу не хочу: у меня есть совесть». — Ну, так украдьте полковую казну. — «Я об этом думал». — Что же? — «Это можно бы сделать летом, когда полк в лагере, а фура с казной стоит у палатки полкового командира. Можно накинуть на дышло длинную веревку и припречь издали лошадь, а там на ней и ускакать, часовой, увидя, что фура скачет без лошадей, вероятно испугается и не будет знать, что делать... Но тут много также неудобства. Не знаете ли вы иного способа?» — Просите денег у государя. — «Я об этом думал». — Что же? — «Я даже и про-

сил...» — Вы бы обратились к Ротшильду. — «Я об этом думал» и т. д.

«Последний прожект его был выманить эти деньги у англичан». Изложив этот «прожект», не уступающий в странности предыдущим, Пушкин добавляет: «Дуров просил меня похлопотать об этом в Петербурге через английского посланника, а свой прожект высказал мне не иначе, как взяв с меня честное слово не воспользоваться им...»

Читая эти пушкинские строки, вы невольно вспоминаете слова Брюллова: «Какой Пушкин счастливец! Так смеется, что словно кишки видны!»[4]

Но, читая отрывок, посвященный изображению Дурова, дальше, мы видим, что смех Пушкина здесь вовсе не безобиден. Пушкин пишет о Дурове: «Он готов был всегда биться об заклад, и о чем бы то ни было. Говорили ли о женщине, — «хотите со мной биться об заклад, — прерывал Дуров, — что через три дня я буду ее иметь?» Стреляли ли в цель из пистолета, — Дуров предлагал встать в 25 шагах и бился о 1000 р., что вы в него не попадете...»

Перед нами не двоюродный даже, а родной брат Ноздрева.

А читая страницы, посвященные Пушкиным Дурову, далее, вспоминаешь уже не героев Гоголя, а героев Щедрина.

«Страсть его к женщинам, — пишет Пушкин, рисуя Дурова, — была также очень замечательна. Бывши городничим в Елабуге, влюбился он в одну рыжую бабу, осужденную к кнуту, в ту самую минуту, как она была уже привязана к столбу, а он по должности своей присутствовал при ее казни. Он шепнул палачу, чтоб он ее поберег и не трогал ее прелестей, белых и жирных, что и было исполнено, после чего Дуров жил несколько дней с прекрасной каторжницей»[5].

Эти строки предвосхищают страницы щедринской «Истории одного города»; вспомните глуповских городничих и эпизод с наложницей Аленкой, которую один из них приказывает высечь и, насмотревшись на ее «стыдобушку», берет после «экзекуции» к себе в дом.

Страницы, посвященные Пушкиным Дурову, имеют значение более важное, чем кажется на первый взгляд. Отрывки, посвященные «второму Фальстафу» — Давыдову и Дурову, представляют собой законченные, цельные портреты, написанные, как подчеркивает Пушкин, на основе личного знакомства с прототипами: они заслуживают глубокого изучения как образцы, в которых проявилось гениальное реалистическое мастерство Пушкина-портретиста.

Портреты эти рисуют — каждый в отдельности — не просто

характерный и потому запомнившийся Пушкину персонаж. Изображая Александра Давыдова, Пушкин создает цельный сатирический портрет и для объяснения характера изображаемого им живого Фальстафа, как мы видели, глубоко анализирует принципы изображения характеров, созданных Шекспиром и Мольером. В «Дурове» Пушкин с необычайной выразительностью рисует открытый им социальный характер, гениально предвосхищая типы, созданные Гоголем и Щедриным. Не утрачивая черт индивидуального портрета, каждый из этих пушкинских героев возводится Пушкиным на степень обобщенного сатирического образа.

ЕРМОЛОВ

Противоречивость личности Ермолова (в котором Грибоедов готов был видеть «сфинкса новейших времен») отражена в написанном Пушкиным в 1829 году литературном портрете Ермолова.

До нас дошли портретные характеристики Ермолова, вышедшие из-под пера Дениса Давыдова и Вяземского. Портрет Ермолова в старости дан Герценом на страницах «Былого и дум».

«Самою внешностью своею, несколько суровою и величавою, головой львообразною,— пишет о Ермолове Вяземский,— складом ума, речью, сильно отчеканенною, он был рожден действовать над народными массами, увлекать их за собою и господствовать ими... В нем была замечательная тонкость и даже хитрость ума; но под конец он слишком перетонил и перехитрил. Этим самым дал он против себя оружие противникам своим...»[1] Стараясь — со своей точки зрения — защитить Ермолова, Вяземский замечает, что «мог он быть в рядах оппозиции и даже казаться стоящим во главе ее», но «это было одно внешнее явление, которое многих обманывало...»[2].

Декабристы прочили Ермолова в члены временного правительства, которое должно было быть создано в случае успеха восстания, и после 14 декабря он был заподозрен и отстранен Николаем I. А так как Ермолов (который называл себя «проконсулом Кавказа») не решился выступить против самодержавия, несмотря на то что располагал большой властью, вооруженными силами и был чрезвычайно популярен в войсках, он разом потерял и доверие царя и доверие декабристов.

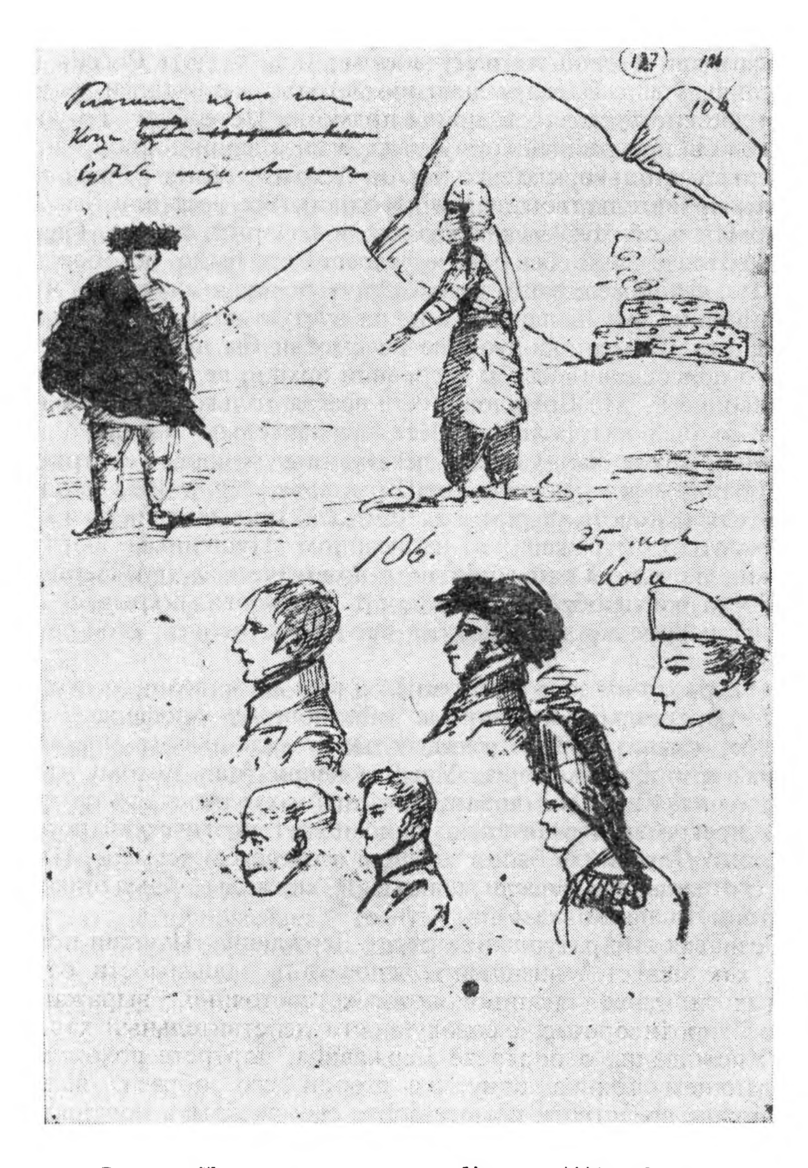
Вот почему даже много лет спустя после того, как декабристы обманулись в Ермолове, один из них с таким негодова-

нием писал о нем: «Ермолов мог предупредить арестование стольких лиц и казнь пяти мучеников; мог бы дать России Конституцию, взяв с Кавказа дивизию пехоты, две батареи артиллерии и две тысячи казаков, пойдя прямо на Петербург. Тотчас же он имел бы прекрасный корпус легкой кавалерии донцов с их артиллерией, столько, сколько бы он захотел. Донцы были недовольны правительством... Они до одного все восстали бы. А об 2-й армии и об Чугуевских казаках и говорить нечего. Она вся была готова, лишь бы девизом восстания было освобождение крестьян от помещиков, десятилетняя военная служба и чтобы казна шла на нужды народа, а не на пустую политику самодержца-деспота. Помещики-дворяне не смогли бы пикнуть и все до одного присоединились бы к грозной армии, ведомой любимым полководцем... Но Ермолов... был всегда только интриган и никогда не был патриотом»[3]. Как выразительно передано здесь значение, какое вкладывали декабристы в слово «патриот»![4]

Противоречивость личности Ермолова, героя 1812 года, завоевателя и вместе усмирителя Кавказа, прославившегося своей жестокостью, отражена в написанном Пушкиным портрете. Пушкин не дает в этом портрете политической характеристики Ермолова, но, изображая внешность Ермолова, вскрывает средствами портретиста глубокую противоречивость его облика. Пушкин пишет:

«С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе»[5].

Создавая литературный портрет Державина, Пушкин показывает, как меняется внешность человека в зависимости от различных и даже противоположных состояний, выражающих в своей противоречивой совокупности действительный характер его. Упоминание о портрете Державина, портрете похожем, но передающем только одну из сторон его образа, является у Пушкина средством, помогающим ему раскрыть противоречивую сущность изображаемого лица. Совершенно такую же роль, какую играет ссылка Пушкина на портрет Державина («где представлен он в колпаке и в халате», то есть в сугубо домашнем, «прозаическом» виде), играет у Пушкина и ссылка на «поэтический» портрет Ермолова, «писанный Довом» (художником Доу).



Рисунки Пушкина, сделанные на Кавказе. 1829 г. Вверху страницы — горцы, позади — горы и сакля. Ниже — автопортрет (в папахе), слева от него — профиль А. Н. Оленина, справа Пушкин нарисовал Наполеона, ниже — Александр I.

Пушкин говорит, что Ермолов «разительно напоминает» этот портрет, только когда «он задумывается и хмурится» (на портрете этом Ермолов картинно изображен в бурке, на фоне снежных гор Кавказа). Таким Ермолов бывал и потому мог быть изображен художником. Но Пушкин стремится показать его не только в этом, свойственном Ермолову, но не единственно свойственном ему, «поэтическом» виде.

Денис Давыдов писал в своих записках: «Ермолов имеет голову, которая, будучи украшена седыми в беспорядке лежащими волосами и вооружена небольшими, но проницательными и быстрыми глазами, невольно напоминает голову льва»[6] («львообразной» назвал голову Ермолова и Вяземский).

Изображая Ермолова, Денис Давыдов, правда, не ограничивается простым сравнением головы Ермолова с головой льва: он пишет, что эта львиная голова «вооружена небольшими, но проницательными и быстрыми глазами». И изображение перестает быть слишком общим, приобретает характерность и сразу заставляет вспомнить, что «благородный» лев — зверь хищный; описание это позволяет нам, кажется, догадываться и о чертах хитрости Ермолова.

«Голова тигра», — пишет, изображая Ермолова, Пушкин. Это много дальше от обычного — «голова льва» и несравненно резче и смелее, чем изображение Ермолова, созданное Денисом Давыдовым. Чтобы пояснить это различие, вспомним, что, говоря о Мирабо, Пушкин сравнивает его со львом, противопоставляя Робеспьеру, которого — не по внешнему сходству, конечно, а стремясь охарактеризовать — называет «сентиментальным тигром»[7].

Пушкин не был апологетом Ермолова; высоко ценя его выдающиеся дарования, желая стать историком «его» кавказских войн и издателем записок Ермолова, Пушкин сумел, однако, увидеть противоречивость личности Ермолова и отметил (в том же «Путешествии в Арзрум») отрицательные черты его деятельности и его жестокость. В одном месте своего «Дневника» 30-х годов Пушкин назвал его даже «великим шарлатаном»[8]. Вот почему, напомнив о «поэтическом портрете» Ермолова, написанном Доу, Пушкин не ограничился, подобно этому портретисту, односторонним изображением Ермолова, а показал его в противоречии, выражающемся даже во внешности его, переданной Пушкиным с такой выразительностью в «Путевых записках» 1829 года. Портрет Ермолова был включен им позднее в «Путешествие в Арзрум». Напечатать же в нем эти страницы Пушкин из-за цензуры не смог.

«Никто на свете не был мне ближе Дельвига»,— писал Пушкин после смерти своего друга. «Боратынский собирается написать жизнь Дельвига,— сообщал он десять дней спустя Плетневу.— Мы все поможем ему нашими воспоминаниями... Я хорошо знаю... его первую молодость... Напишем же втроем жизнь нашего друга» [1].

Замысел этот остался неосуществленным. Плетнев обещал заняться подготовкой материалов, то есть своих воспоминаний о Дельвиге, думая переслать их сперва Пушкину «в цензуру», после которой Пушкин должен был передать их Боратынскому «с своими зачерками и вставками» [2]. Сам Пушкин по поводу напечатанной Плетневым в «Литературной газете» статьи-некролога о Дельвиге писал Плетневу: «Твоя статья о нем прекрасна... но надобно подробностей — изложения его мнений — анекдотов, разбора его стихов etc.» [3]. Такого рода черты и анекдоты, характеризующие Дельвига, Пушкин стал вспоминать и записывать; некоторые из них были опубликованы в «Современнике» в 1837 году в числе различных «Анекдотов и замечаний», сохранившихся в бумагах Пушкина [4]. «Дельвиг однажды вызвал на дуэль Булгарина. Булгарин отказался, сказав: «Скажите барону Дельвигу, что я на своем веку видел более крови, нежели он чернил». Другая, опубликованная тогда же, в 1837 году, заметка Пушкина гласит: «Дельвиг не любил поэзии мистической. Он говаривал: «Чем ближе к небу, тем холоднее» [5].

В «Материалах для биографии А. С. Пушкина» Анненков напечатал в 1855 году уже не заметку в две-три строки, а отрывок из воспоминаний Пушкина о Дельвиге, касающийся последней встречи и беседы их:

«Я ехал с Вяземским из Петербурга в Москву. Дельвиг хотел меня проводить до Царского Села. 10 августа 1830 [года] поутру мы вышли из городу. Вяземский должен был нас догнать на дороге.

Дельвиг обыкновенно просыпался очень поздно, и разбудить его преждевременно было почти невозможно». («Он спал слишком много»,— написал сперва Пушкин, вспоминая характерную особенность Дельвига, о которой не однажды говорили посвященные ему лицейские стихи.) «Но в этот день встал он в осьмом часу, и у него с непривычки кружилась и болела голова. Мы принуждены были зайти в низенький трактир. Дельвиг позавтракал. Мы пошли далее, ему стало легче, головная боль прошла. Он стал весел и говорлив. Завтрак в трактире напомнил ему повесть, которую намеревался он написать. Д[ельвиг] долго об-

думывал свои произведения, даже самые мелкие. Он любил в разговорах развивать свои поэтические помыслы, и мы знали его прекрасные создания несколько лет прежде, нежели были они написаны. Но когда наконец он их читал, выраженные в звучных гекзаметрах, они казались нам новыми и неожиданными.

Таким образом, Русская его Идиллия, написанная в самый год его смерти, была в первый раз рассказана мне еще в лицейской зале, после скучного математического класса»[6].

Перед нами воспоминания о последней встрече с Дельвигом, представляющие собой вместе с тем рассказ, важный для биографии самого Пушкина. Рассказ этот предназначался, может быть, для биографии Дельвига, которую должен был написать Боратынский с помощью Пушкина и Плетнева. Писать ее Боратынский было начал, но не написал, и «записки Боратынского о Дельвиге... по-видимому, бесследно пропали»[7]. «Жизнь Дельвига не была закончена и не сохранилась»[8], – пишет современный исследователь.

Пушкин же свои воспоминания о Дельвиге обработал.

Дружба с Дельвигом и смерть его были важными событиями в жизни Пушкина, и рассказ о Дельвиге должен был, конечно, войти в «Биографию» великого поэта. Они были связаны в жизни так тесно, что Пушкин предполагал после смерти Дельвига соединить с его письмами свои письма к нему и издать их вместе[9].

В 1918 году в особняке князей Юсуповых найдена была рукопись Пушкина, написанная на бумаге с водяным знаком «1833». Рукопись эта содержит рассказ о юности Дельвига. И хотя академическое издание печатает этот отрывок в томе критической прозы Пушкина, а Малое академическое издание называет его «набросками неоконченной статьи о Дельвиге»[10], перед нами несомненно отрывок биографической – и вместе автобиографической – прозы Пушкина, прозы обдуманной, обработанной и совершенной, хотя Пушкин мог дополнить еще впоследствии свой отрывок.

Первый биограф поэта Анненков поместил этот отрывок (автограф которого затерялся и обнаружен был, как сказано, только в 1918 году) в состав «остатков настоящих записок (автобиографии) Пушкина, к числу которых относится, – справедливо подчеркивал Анненков, – и статья о Дельвиге»[11].

Смерть Дельвига открывала возможность появления в печати страниц, посвященных ему, еще при жизни Пушкина. Уцелевший отрывок сожженных «Записок», посвященный Карамзину, Пушкин напечатал после смерти Карамзина, устранив из текста отрывка все, что рассказывал в нем о самом себе. Точно так же



Дельвиг.
Рисунок Пушкина. 1829 г.

мог Пушкин, конечно, напечатать свои воспоминания о Дельвиге, что не помешало бы ему в дальнейшем включить их в свои Автобиографические записки.

Отрывок, о котором мы говорим, посвящен изображению детства и отрочества рано умершего поэта. «Я знал его в лицее, — писал в одном из своих писем после смерти Дельвига Пушкин, — был свидетелем первого незамеченного развития его поэтической души и таланта... С ним читал я Державина и Жуковского — с ним толковал обо всем, что *душу волнует*, что *сердце томит*...»[12] Строки эти также говорят о том, что воспоминания о Дельвиге, содержащиеся в отрывке, написанном Пушкиным, не могли не войти в «Записки», возобновляемые в эти годы великим поэтом.

«Любовь к поэзии пробудилась в нем рано», — пишет о Дельвиге Пушкин, так верно назвавший себя «свидетелем первого незамеченного развития его поэтической души и таланта». Перед нами рассказ о детстве Дельвига, рассказ очень индивидуализированный, стремящийся показать своеобразие развития этого поэта. «Способности его развивались медленно. Память у него была тупа; понятия ленивы, — пишет Пушкин. — На 14-м году он не знал никакого иностранного языка и не оказывал склонности ни к какой науке. В нем заметна была только живость воображения». Дальше Пушкин рассказывает о случае, в котором ярко сказалась одаренность Дельвига. «Однажды, — вспоминает Пушкин, — вздумалось ему рассказать нескольким из своих товарищей поход 1807-го года, выдавая себя за очевидца тогдашних происшествий. Его повествование было так живо и правдоподобно

и так сильно подействовало на воображение молодых слушателей, что несколько дней около него собирался кружок любопытных, требовавших новых подробностей о походе. Слух о том дошел до нашего директора А. Ф. Малиновского, который захотел услышать от самого Дельвига рассказ о его приключениях. Дельвиг постыдился признаться во лжи, столь же невинной, как и замысловатой, и решился ее поддержать, что и сделал с удивительным успехом, так что никто из нас не сомневался в истине его рассказов, покаместь он сам не признался в своем вымысле». «В детях, одаренных игривостию ума,— замечает Пушкин,— склонность ко лжи не мешает искренности и прямодушию. Дельвиг, рассказывающий о таинственных своих видениях и о мнимых опасностях, которым будто бы подвергался в обозе отца своего, никогда не лгал в оправдание какой-нибудь вины, для избежания выговора или наказания»[13].

«...Дельвиг никогда не вмешивался в игры, требовавшие проворства и силы; он предпочитал прогулки по аллеям Царского Села и разговоры с товарищами, коих умственные склонности сходствовали с его собственными»[14],— читаем мы далее.

Вскоре после воспоминаний о детстве и юности Дельвига Пушкин написал очерк, в котором рассказывает о детстве Байрона: «В классах он был из последних учеников — и более отличался в играх. По свидетельству его товарищей,— пишет Пушкин о Байроне,— он был резкий, вспыльчивый и злопамятный мальчик, всегда готовый подраться и отплатить старую обиду»[15]. Далее Пушкин говорит о том, как переживания детства сказались на характере Байрона.

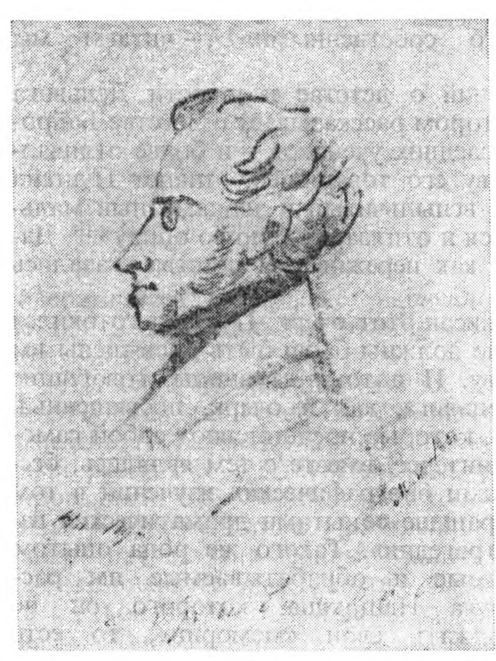
В те годы, когда был написан этот очерк, Пушкин готовился к созданию страниц, которые должны были быть посвящены им своему собственному детству. И потому страницы, говорящие о детстве и отрочестве Дельвига, как и очерк, посвященный Пушкиным детству Байрона, которые представляют собой самостоятельный литературный интерес, вместе с тем являлись, бесспорно, для Пушкина опытами биографических изучений в том смысле, в каком он назвал раньше «опытами драматических изучений» свои «Маленькие трагедии». Такого же рода опытом были для него записываемые и обрабатываемые им рассказы о детстве его друга Нащокина, которого он не однажды побуждал продолжать свои «мемории», то есть «Записки».

В 1859 году в «Библиографических записках» был впервые опубликован «набросанный, — как указывала редакция, — Пушкиным на клочке бумаги» отрывок из его «записок 1827 года»[1], посвященный встрече с Кюхельбекером. Фамилия Кюхельбекера при этом не была раскрыта и обозначена была (так же, как в рукописи Пушкина) начальной буквой.

14 октября 1827 года, возвращаясь из Михайловского в Петербург, Пушкин встретился на станции Залазы со своим лицейским другом, которого жандармы везли из Шлиссельбурга в Динабургскую крепость. На другой день, 15 октября, Пушкин писал об этой встрече:

«Вчерашний день был для меня замечателен... На... станции нашел я Шиллерова «Духовидца», но едва успел прочитать я первые страницы, как вдруг подъехали четыре тройки с фельдъегерем... Я вышел взглянуть на них.

Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бородою, в фризовой шинели... Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга — и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством — я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали...»[2]



Грибоедов.
Рисунок Пушкина. 1831 г.

Рассказ о встрече с Кюхельбекером (Пушкин назвал, как мы видели, эту встречу днем, для него замечательным) должен был войти, конечно, в Автобио-

графические записки поэта. Но рассказ этот представляет собой, несмотря на свою выразительность, все же заготовку, над которой Пушкину предстояло еще работать. «Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили», — пишет Пушкин. Из рапорта фельдъегеря, отправившего в Главный штаб донесение о встрече Пушкина с Кюхельбекером, мы узнаем, какова была эта встреча. Фельдъегерь Подгорный писал:

«Отправлен я был сего месяца 12-го числа в гор. Динабург с государственными преступниками, и по пути, приехав на станцию Залазы, вдруг бросился к преступнику Кюхельбекеру ехавший из Новоржева в С.-Петербург некто г. Пушкин и начал после поцелуев с ним разговаривать. Я, видя сие, наипоспешнейше отправил как первого, так и тех двух за полверсты от станции, дабы не дать им разговаривать, а сам остался для написания подорожной и заплаты прогонов. Но г. Пушкин просил меня дать Кюхельбекеру денег, я в сем ему отказал. Тогда он, г. Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорил, что по прибытию в С.-Петербург в ту же минуту доложу его императорскому величеству как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему на дорогу денег; сверх того не премину также сказать и генерал-адъютанту Бенкендорфу. Сам же г. Пушкин, между угрозами, объявил мне, что он посажен был в крепость и потом выпущен, почему я еще более препятствовал иметь ему сношение с арестантом; а преступник Кюхельбекер мне сказал: это тот Пушкин, который сочиняет» [3].

Год спустя после этой встречи, 10 июля 1828 года, Кюхельбекер писал Пушкину и Грибоедову из Динабургской крепости: «Любезные друзья и братья, поэты Александры. Пишу к вам вместе... Свидания с тобою, Пушкин, ввек не забуду... Простите! Целую вас. В. Кюхельбекер» [4].

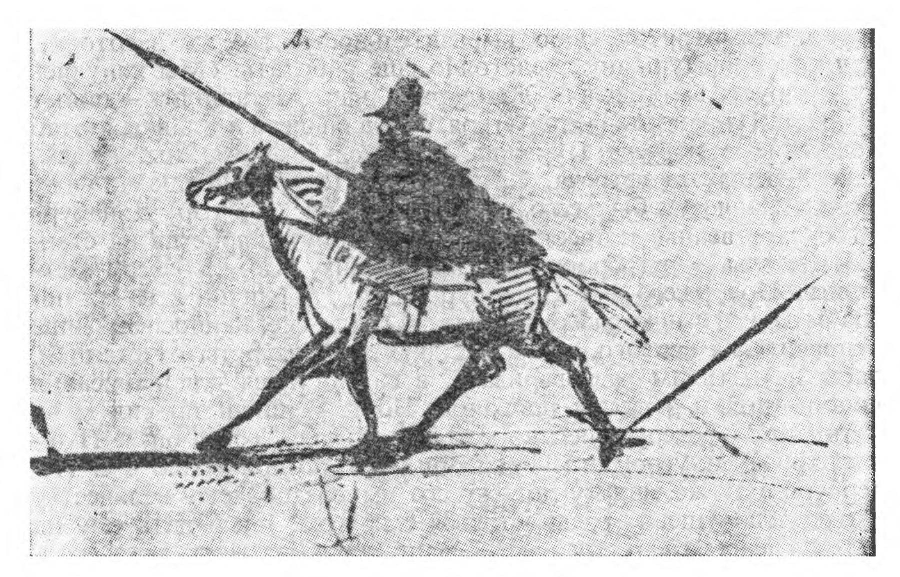
Прошел еще год, и на горной дороге, близ крепости Гергеры, Пушкин встретился — в последний раз — с Грибоедовым.

ГРИБОЕДОВ

«Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». — «Что вы везете?» — *«Грибоеда».* — Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова!..» [1]

Встреча эта была для Пушкина таким же событием, как



Автопортрет Пушкина. *1829 г.*

встреча его с Кюхельбекером, которого везли из крепости в крепость жандармы и рассказ о которой должен был войти в Автобиографические записки поэта.

«Я расстался с ним,— пишет Пушкин,— в прошлом году в Петербурге перед отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить; он мне сказал: «Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей»[2]. «Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междоусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею»[3].

Пушкин продолжил в своем «Путешествии в Арзрум» эти строки другими (без которых невозможно представить себе рассказ о Грибоедове и в Автобиографических записках Пушкина). Перед нами портрет Грибоедова, глубокая характеристика его и вместе рассказ о его судьбе. «Мысли о всей значительности фигуры Грибоедова пришли Пушкину в голову отнюдь не сейчас, у останков погибшего поэта»,— справедливо подчеркивает

один из комментаторов, приводя слова, сказанные Пушкиным о Грибоедове больше чем за год до встречи с его гробом: «Это один из самых умных людей в России»[4]. Пушкин вспоминает в своем рассказе о начале знакомства с ним.

Называя Грибоедова «человеком необыкновенным», Пушкин рисует сложный образ его и резко освещает контрасты, определяющие его. Пушкин вспоминает «меланхолический характер» Грибоедова, его «озлобленный ум», «его добродушие» — свойства, казалось бы, несовместимые. И, не умалчивая о недостатках погибшего поэта, добавляет: «самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества,— все в нем было необыкновенно привлекательно».

«Люди верят только славе»,— говорит Пушкин далее, вспоминая судьбу Грибоедова и годы, предшествовавшие признанию его таланта.

«Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан». (Дарования столь различные и редко соединяющиеся с таким блеском.)

«Даже его холодная и блестящая храбрость» (которая так ясно проявилась в час его гибели, когда он сражался с толпой убийц) «оставалась некоторое время в подозрении»,— пишет Пушкин, подразумевая историю его отложенной петербургской дуэли.

Рассказав об отъезде Грибоедова на Кавказ (жизнь его, глухо говорит поэт, «была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств»), Пушкин поясняет: «Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь».

«Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от ума»,— вспоминает Пушкин,— произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Через несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна»[5].

Рассказ о «завидной» судьбе и смерти Грибоедова овеян глубоким раздумьем Пушкина. Страницы, посвященные им Грибое-

дову, автобиографичны не только в том смысле, что знакомство с Грибоедовым — и даже смерть его — были важным событием в жизни Пушкина. Рассказ о Грибоедове выделяется в «Путешествии в Арзрум», как ни впечатляющи остальные страницы этого «Путешествия». Портрет Грибоедова дан здесь в масштабе историческом — в масштабе всей жизни Грибоедова (и Пушкина). Рассказ этот сопровождается раздумьем Пушкина о судьбах замечательных людей России — и о своей судьбе. «Как жаль, — пишет он, — что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...» [6] (Вот о чем говорят эти часто неверно понимаемые слова Пушкина.) В этих строках отразились, конечно, размышления Пушкина и о судьбе своих «Записок». Строки эти помогают понять связь отрывка, посвященного Грибоедову — и включенного Пушкиным в «Путешествие в Арзрум», — с «Записками» Пушкина. Они чрезвычайно напоминают заключительные слова, которыми поэт сопроводил отрывок из своих «Записок», посвященный Абраму Петровичу Ганнибалу, напечатанный им под видом примечания к первой главе «Онегина». Там он также заметил, что «в России... память замечательных людей скоро исчезает, по причине недостатка исторических записок» [7], и, заявив о своем намерении «со временем... издать полную его биографию», включил рассказ о жизни своего прадеда в собственные Автобиографические записки.



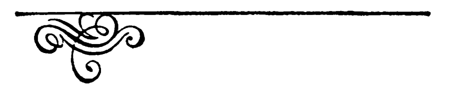
А. И. Якубович. (В 1818 г. в Тифлисе дрался на дуэли с Грибоедовым.)
Рисунок Пушкина. 1829 г.

Гроб Грибоедова он встретил на пути к Арзруму, к фронту русско-турецкой войны. Темой неназванной — и так ясно читающейся между строками пушкинского рассказа — оставалось 14 декабря и значение декабрьской катастрофы в судьбе погибшего поэта. «Переворот»

в судьбе его — сначала счастливый, потом гибельный — Пушкин связывал с «неописанным действием», которое произвела «рукописная» (то есть декабристская) комедия Грибоедова.

Пушкин знал, что встретится в армии с друзьями-декабристами, которые сосланы были Николаем на Кавказ. От них надеялся он услышать о судьбе «братьев, друзей, товарищей», оставшихся в Сибири. В рассказах участников восстания, может быть, думал он найти правдивый источник для своих «Записок», где собирался писать о 14 декабря и его участниках, которые стали, по собственным его словам, историческими лицами.

ИСТОРИЯ МОЕГО ВРЕМЕНИ



НЕИЗУЧЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ ПУШКИНА

До нас дошел так называемый «Дневник» Пушкина — тетрадь большого формата, заключенная в переплет, замыкающийся стальным замком, и содержащая записи, которые Пушкин день за днем заносил в нее в 1833—1835 годах, датируя каждую запись.

Записи Пушкина касаются не только текущей светской и придворной жизни Петербурга, но и минувших — хотя недавних — исторических событий: убийства Павла I, начала царствования Александра I, падения и ссылки Сперанского в 1812 году. Некоторые из них касаются 14 декабря 1825 года и 13 июля 1826 года, то есть дня казни декабристов, который Пушкин назвал в своем «Дневнике» историческим днем.

Содержание этих записей остается во многом не раскрытым, так как многое Пушкин записывал сокращенным, часто лишь для него самого понятным образом. Чтоб раскрыть содержание интересующих нас страниц пушкинского «Дневника», нужно попытаться выяснить сначала, для чего они предназначались.

Выполнить эту задачу не так просто, потому что «Дневник» Пушкина разнороден по составу — в него входят записи различного назначения. «Поэт тщательно собирал, — верно заметил один из исследователей, — все, что казалось ему важным, и думал использовать этот запас в разных отношениях — и для автобиографии, и для истории, и для беллетристики»[1].

Для какой, однако, «Истории» мог предназначаться собираемый Пушкиным в «Дневнике» материал? Было высказано предположение, что поэт собирал материал «для будущих историков»[2]. Другой исследователь говорил уже не только о буду-

щих историках, замечая, что «Дневник» Пушкина должен был послужить «ему ли самому, или кому другому, как материал для истории его времени»[3]. Назначение записей Пушкина, таким образом, до сих пор точно не выяснено, а не определив его, трудно действительно понять, с какой целью и каким образом собирал Пушкин в своем «Дневнике» исторический материал. Мы должны поэтому постараться понять его замысел и установить: успел ли Пушкин сделать что-либо для его осуществления?

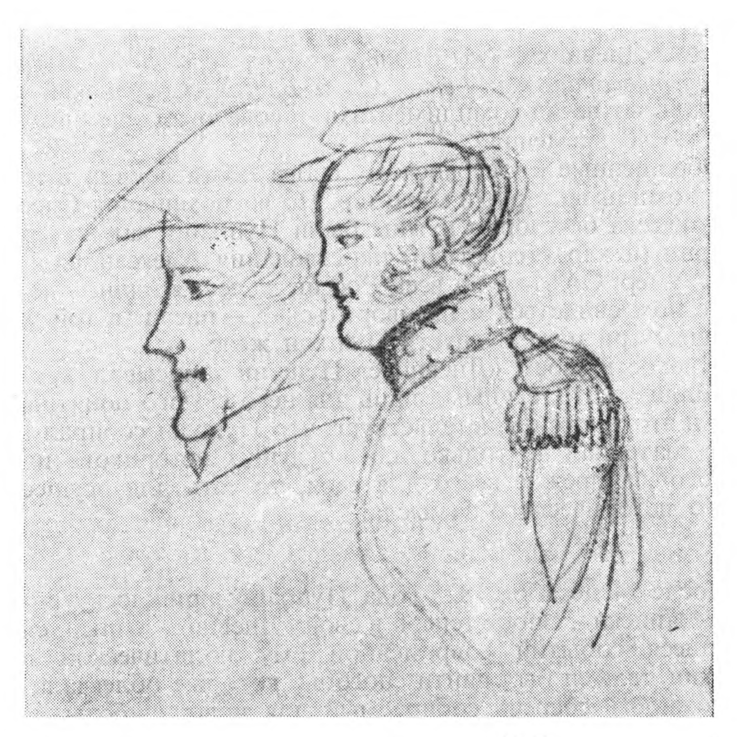
До нас дошло свидетельство о том, что уже во второй половине 20-х годов Пушкин задумал написать, наряду с «Историей Петра», историю своего времени. Через два года после восстания декабристов он сказал одному из своих друзей: «Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову — пером Курбского». И добавил: «Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать царствование Николая и об 14-м декабря»[4].

Таким образом, «историю Александрову» Пушкин решил писать как обличитель («пером Курбского»). И вместе с тем дал понять, что задуманный им труд может охватить со временем историю 14 декабря и «царствование Николая».

Рассказ об этом историческом замысле записал — на другой день после того, как услышал о нем от самого Пушкина,— А. Н. Вульф — приятель поэта, оставивший нам, по признанию исследователей, «авторитетнейшие, ценнейшие сообщения к характеристике литературной деятельности» Пушкина[5]. Но задуманная Пушкиным история своего времени осталась ненаписанной, и этот замысел поэта остается в тени. Необходимо раскрыть его.

«Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться»,— сказал Пушкин. Слова эти иногда приводят, касаясь «Дневника» поэта. Но одно дело «описывать современные происшествия» с целью оставить будущим историкам правдивые свидетельства современника, другое — писать историю своего времени. Это ясно сознавали современники поэта.

«Записки и история суть два рода сочинений, разнствующие во многом,— писал декабрист П. Н. Свистунов, подчеркивая различие между Записками и Историей своего времени.— Записки суть не что иное, как воспоминания частного лица или государственного мужа о событиях, близко его касающихся, которых он был очевидцем или в которых участвовал. История же есть труд ученый, требующий собрания многих документов и тщательного изучения их»[6].



Александр I. *Рисунок Пушкина. 1819 г.*

В разговоре с А. Н. Вульфом Пушкин ясно указал на свой замысел – не ограничиться свидетельскими показаниями, то есть записками современника, а написать – наряду с «Историей Петра» – «историю Александрову». Смелый замысел поэта остался неосуществленным, но Пушкин, занятый в 30-е годы другими историческими работами («Историей Петра» и «Историей Пугачева»), не оставлял, по-видимому, мысли возвратиться к нему и написать историю своего времени, которую задумал еще в 1827 году. Поэтому он готовил материалы для нее.

Историю своего времени Пушкин собирался писать, черпая материалы из первоисточников, то есть прежде всего из рассказов и записок участников исторических событий; рассказы эти он и записывал на страницах своего «Дневника». Пушкин сам намекает на это и дает даже понять, что некоторые – наиболее проницательные – собеседники поэта могли догадываться о цели его расспросов. «*Вы и Аракчеев,* – сказал Пушкин, касаясь царствования Александра I, Сперанскому и занося свой разговор

с ним в «Дневник»,— *вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как Гении Зла и Блага*». Сперанский, говорит Пушкин, «отвечал комплиментами и советовал мне писать Историю моего времени»[7].

Обращенные к Сперанскому слова поэта носили в известной мере комплиментарный характер. Но воспоминания Сперанского и Аракчеева бесспорно нужны были Пушкину как материал для истории (и характеристики) царствования Александра I. «Аракчеев... умер. Об этом во всей России жалею я один,— не удалось мне с ним свидеться и наговориться»[8],— писал (в той же связи, конечно) три недели спустя Пушкин жене.

Многое в своем «Дневнике» Пушкин записывал, как мы уже говорили, сжато, скупым, лишь для него самого понятным образом; и это также свидетельствует, что Пушкин собирал в «Дневнике» материал не только для «будущих историков» или «кого другого», а прежде всего для себя, то есть для осуществления своего исторического замысла.

После 14 декабря 1825 года Пушкину пришлось уничтожить свои «Записки». Внося теперь в свой «Дневник» записи, смело касающиеся событий современной ему политической истории, Пушкин должен был найти способы, которые облегчали бы ему возможность сберечь собираемый для новой работы исторический материал.

Подготовляя изображение исторического события, писать о котором было запрещено, Пушкин закреплял иногда в «Дневнике» лишь цензурную — на первый взгляд — часть задуманной картины. Закреплял, прямо подразумевая запретное целое; при этом он иногда осторожно касался в «Дневнике» собранного им изустно (или почерпнутого в записках современников) запретного исторического материала. Такой способ работы облегчал ему возможность воссоздать в дальнейшем задуманную картину в целом.

Вот как записал он, например, в своем «Дневнике» рассказ о ссылке Сперанского.

История падения и ссылки Сперанского оставалась много лет под запретом. Когда в 1848 году Булгарин (даже Булгарин! — *И. Ф.*) решился коснуться ее в своих «Воспоминаниях», Николай I заметил, что они «как бы накидывают перед публикой тень на характер Александра», касаясь «подробностей такого дела, которое правительством доныне всегда оставляемо было под покровом тайны и слишком... близко к нашей эпохе, чтобы частное лицо дерзало... приподымать всенародно край этого покрова»[9].

Сперанский «рассказывал мне о своем изгнании в 1812 году»[10], — пишет Пушкин. Но из исторического рассказа Сперанского записывает в «Дневнике» только анекдот о том, что, когда «на одной станции не давали ему лошадей», сопровождавший Сперанского в ссылку полицейский чиновник «пришел просить покровительства у своего арестанта. — Ваше превосходительство! помилуйте! заступитесь великодушно. Эти канальи лошадей нам не дают...»[11].

Если мы вспомним, как важен был для задуманной Пушкиным «истории Александровой» рассказ Сперанского, то поймем, что, приводя в «Дневнике» из рассказа о ссылке его только запоминающуюся подробность, Пушкин записал, конечно, только часть вместо целого, о котором эта анекдотическая подробность должна будет напомнить ему, когда он обратится в своей «Истории» к изображению падения Сперанского.

Пример этот дает понятие о способе, применяемом Пушкиным не только когда он касается в своем «Дневнике» запретного материала: записывая интересный исторический анекдот, он имеет в виду и все то, что скрывается за записываемой им деталью. Если бы Пушкин записал подобным способом свое неизвестное нам стихотворение, попытка восстановить содержание последнего не могла бы рассчитывать на успех. Однако, когда речь идет об исторических записях поэта, положение существенно меняется. И мы можем в ряде случаев раскрыть, какие именно — во времена Пушкина запретные, а ныне хорошо известные нам — исторические факты он закреплял в своем «Дневнике».

«Бросается в глаза», верно отметил один из исследователей, что «Дневник» Пушкина, «скользя по незначительным событиям светской жизни, настойчиво отмечает явления, связанные с двумя по-прежнему интересующими поэта датами. Одна из этих дат — 11 марта — убийство Павла. Вторая — 14 декабря»[12]. Однако ответа на вопрос, с какой целью касается Пушкин в «Дневнике» названных событий, исследователи не дают. Между тем на вопрос этот можно ответить: события эти Пушкин готовился воссоздать в задуманной им истории своего времени.

Писать об 11 марта значило, разумеется, писать не только о Павле, но и об Александре, перешагнувшем через труп отца. И мы находим действительно в «Дневнике» Пушкина сцену, изображающую Александра в первую ночь его царствования. Это место «Дневника» начинается рассказом о том, как вызван был ночью во дворец опальный Трощинский. Он не знает еще о совершившемся убийстве Павла. «Наконец видит он, что ведут его на половину великого князя Александра. Тут только, — пишет Пушкин, — догадался он о перемене, происшедшей в госу-

дарстве...»[13] «Трощинский нашел государя в мундире, облокотившимся на стол и всего в слезах. Александр кинулся ему на шею и сказал: — Будь моим руководителем. — Тут был тотчас же написан манифест и подписан государем, не имевшим силы ничем заняться»[14].

Сцена кажется на первый взгляд невинной: так естественно, что молодой император «весь в слезах», — он только что лишился отца. Но прорисованные Пушкиным детали говорят, если вдуматься, о далеко не невинном характере этой сцены. Изображая Александра в ночь дворцового переворота, Пушкин подразумевает при этом другую, неотделимую предшествующую сцену — сцену убийства Павла.

С поражавшей современников смелостью поэт изобразил смерть Павла в строфах «Вольности». «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою», — заметил он в своих «Записках» в начале 20-х годов. Страницы его «Дневника» говорят о собирании и изучении источников, знакомство с которыми давало Пушкину возможность исторически правдиво воссоздать в задуманной им «Истории» картину 11 марта во всей ее мрачной выразительности.

«Говорили много о Павле I-м — романтическом нашем императоре», — записал Пушкин 2 июня 1834 года в «Дневнике», вспоминая вечер у Карамзиной, где собрались его друзья Вяземский, Жуковский и Полетика. «Я очень люблю Полетику»[15], — замечает Пушкин. Лишь за несколько дней до того поэт записал его рассказы о последних годах царствования Екатерины II. Свои воспоминания о Павле Полетика записал сам; обратившись к ним, мы узнаем, какого рода рассказы, живо рисующие обстановку последних лет павловского царствования, сообщал Полетика Пушкину и его друзьям.

«Это было в 1799 или 1800 году... — рассказывает Полетика. — Я завидел вдали едущего мне навстречу верхом императора и с ним ненавистного Кутайсова. Таковая встреча была для всех предметом страха... Я успел заблаговременно укрыться за деревянным обветшалым забором, который, как и теперь, окружал Исаакиевскую церковь. Когда, смотря в щель забора, я увидел проезжающего государя, то стоявший неподалеку от меня инвалид, один из сторожей за материалами, сказал: «Вот-ста наш Пугачев едет!» Я, обратясь к нему, спросил: «Как ты смеешь так отзываться о своем государе?» Он, поглядев на меня, без всякого смущения отвечал: «А что, барин, ты, видно, и сам так думаешь, ибо прячешься от него». Отвечать было нечего...»[16]

Не менее интересны и другие рассказы Полетики о Павле I, которые были опубликованы впоследствии в его записках. Но

это все-таки лишь заинтересовавшие Пушкина рассказы современника, а не участника заговора 11 марта.



Павел I. *Рисунок Пушкина. 1824 г.*

В течение первых дней после убийства Павла заговорщики открыто хвастали своим участием в нем. Но вскоре Александр, возведенный на престол заговорщиками, подверг их опале. Рассказы об 11 марта оказались под запретом, и самодержавная власть начала охоту за мемуарами участников заговора. «Наше правительство следит за всеми, кто пишет записки, и по смерти лица покупает их дорогой ценой у наследников» или попросту изымает,— сообщал декабрист Волконский, вспоминая судьбу записок и бумаг Беннгсена и Платона Зубова — виднейших участников убийства Павла [17].

В «Дневнике» Пушкин кратко фиксировал свое знакомство с запретными источниками, говорящими об истории заговора. Поддающейся раскрытию записью являются, например, строки «Дневника», касающиеся записок генерала Болховского; строки эти представляют на первый взгляд только анекдотический интерес, а между тем значение их оказывается существенным, важным.

«Генерал Болховской хотел писать записки (и даже начал их; некогда, в бытность мою в Кишиневе,— указывает Пушкин,— он их мне читал). Киселев сказал ему: «Помилуй! Да о чем ты будешь писать? Что ты видел?» — «Что я видел? — возразил Болховской.— Да я видел такие вещи, о которых никто и понятия не имеет». «Начиная,— объяснил он,— с того», что он видел смерть Екатерины II,— и рассказал тут же о некоторых анекдотических подробностях ее смерти, очевидцем которой он был [18]. (О том, какой характер носили эти подробности, можно судить по тому, что, вспоминая этот рассказ Болховского, Пушкин в одном из своих сатирических стихотворных набросков упомянул, что Екатерина умерла, «садясь на судно».)

Перед нами, кажется, запись о глупом генерале, который ничего стоящего внимания в жизни не видел, а между тем пишет почему-то мемуары. И на вопрос: «Помилуй! Да о чем ты будешь писать?» — в состоянии дать только анекдотический ответ.

Запись Пушкина действительно касается вопроса о том, что видел Болховской,— то есть Пушкин, упоминая о записках Бол-

ховского, имеет в виду содержание его воспоминаний (или записок), которые тот читал Пушкину в Кишиневе. Но, касаясь воспоминаний Болховского, Пушкин приводит, как видим, только начало их, то есть только «курьезное наблюдение», сделанное Болховским в день смерти Екатерины, ради которого Пушкин и внес, по мнению комментаторов[19], упоминание о записках Болховского в свой «Дневник».

Между тем рассказом о смерти Екатерины II Болховской мог бы, как он и ответил Киселеву, разве только начать свои записки: он стоял во дворце в карауле не только в день смерти Екатерины, но и в ночь смерти Павла и являлся участником его убийства. Когда имя Болховского произнесено было в присутствии Александра I, молодой император сказал: «Знаете ли вы, что это за человек? Он схватил за волосы мертвую голову моего отца, бросил ее с силой оземь и крикнул: «Вот тиран!»[20]

Болховской не скрывал своего участия в цареубийстве; он, вспоминает друг Пушкина А. О. Смирнова, «этим хвастался»[21]. Пушкин знал о подробностях цареубийства из воспоминаний Болховского; приводя в своем «Дневнике» анекдотический рассказ его о смерти Екатерины, Пушкин вспоминал, конечно, его рассказ об убийстве Павла.

О том, что поэт хорошо знал и помнил рассказ Болховского о цареубийстве 11 марта, ясно свидетельствуют воспоминания Липранди. «Умный разговор» и «известность» Болховского, пишет он, вспоминая пребывание поэта в Кишиневе, «очень нравились Пушкину, но один раз он чуть-чуть не потерял расположение к себе генерала», — когда после обеда, «приподнявшись несколько, произнес: «Дмитрий Николаевич! Ваше здоровье». — «Это за что?» — спросил генерал. «Сегодня 11-е марта», — отвечал Пушкин... Генерал вспыхнул». Отношения Пушкина с Болховским потом уладились, и поэт продолжал бывать у него, но, замечает Липранди, «как-то реже»[22]. В эти годы напоминание об 11 марта стало для Болховского, который прежде «хвастал» своим участием в цареубийстве, нежелательным и даже опасным. Строки воспоминаний Липранди дают, как видим, возможность не предположительно только, а с полной уверенностью утверждать, что, говоря в своем «Дневнике» о записках Болховского, Пушкин вспоминал не только рассказ его о смерти Екатерины, но и действительно важное свидетельство его о цареубийстве 11 марта.

Размышляя о том, как могли проникнуть в зарубежную историческую литературу чрезвычайно «верные и подробные известия» об умерщвлении Павла, Александра Осиповна Смирнова поясняла, что, помимо Болховского, «граф Ланжерон также спо-

собствовал разглашению этих ужасных подробностей» и написал воспоминания об этой эпохе»[23].

«Революционною бурею выброшенный из своего отечества, он беззаботно и весело прожил век в чужой земле и дослужился у нас до высокого чина и голубой ленты»,— писал о Ланжероне Вигель, мастер злых характеристик и карикатурных портретов. «С тех пор, как свет стоит, неосновательнее графа Ланжерона еще ничего видно не было»[24],— говорит он вдобавок. Репутация эта укрепилась за Ланжероном, и изучение отношений его с Пушкиным шло поэтому как-то по касательной: вспоминали большей частью, что граф мучил поэта чтением своих трагедий. Между тем столь нелестное представление о Ланжероне и о значении, какое имело для Пушкина знакомство с ним, являлось поверхностным. Пушкин сблизился с ним в Одессе и встречался позднее в Петербурге. Ланжерон был, конечно, для Пушкина необычайно интересным рассказчиком. Но, добавим, не только рассказчиком. Воспоминаниями об исторических событиях Ланжерон делился не только в беседах с друзьями: в эти годы он пересматривал и редактировал свои замечательные мемуары. Обращение к ним,— а они к изучению замыслов Пушкина до сих пор не привлекались,— открывает нам важный источник исторической осведомленности поэта.

Мемуары Ланжерона, записавшего в начале царствования Александра I воспоминания руководителей заговора — Палена и Бенигсена, с которыми он был в самых дружеских отношениях,— очутились после смерти Ланжерона в Париже. Как они попали туда, объясняет обнаруженная нами в бумагах Александра Ивановича Тургенева карандашная запись, набросанная на клочке бумаги[25]. Тургенев сообщает в ней, что рукопись своих обширных мемуаров Ланжерон оставил французскому консулу в Одессе, который предложил затем вдове графа издать их. И так как согласиться на это она не решилась, мемуары были пересланы консулом в парижский архив. Они стали поэтому сначала достоянием французских историков; записку «О смерти Павла I», целиком включенную Ланжероном в свои мемуары, впервые использовал Тьер в «Истории консульства и империи». В России же эта записка Ланжерона смогла увидеть свет лишь после революции 1905 года[26].

Но в своей карандашной записи А. И. Тургенев сообщает, что, прежде чем мемуары Ланжерона очутились в парижском архиве, они читаны были «многими лицами в Одессе, как при жизни графа Ланжерона, так и после смерти его».

С Пушкиным Ланжерон был так откровенен, что показывал ему письма Александра (наследника Павла), писанные незадолго



А. О. Смирнова-Россет.
Рисунок Пушкина. 1833 г.

до 11 марта. В одном из этих писем наследник прямо признавался Ланжерону: «Я Вам пишу мало и редко, потому что я под топором». Эта фраза, вспоминает Пушкин в своем дневнике 21 мая 1834 года, «меня поразила». «Ланжерон был тогда недоволен, — добавляет поэт, — и сказал мне: «Вот как он... (Александр. — *И. Ф.*) писал; он обращался со мною, как с другом, все мне поверял, зато и я был ему предан. Но теперь, право, я готов развязать мой собственный шарф...»[27] (Офицерским шарфом задушен был Павел.)

Как видим, Ланжерон, способствовавший разглашению «ужасных подробностей» смерти Павла, беседуя с Пушкиным, вспоминал с полной откровенностью о заговоре 11 марта и, пренебрегая всякой осторожностью, знакомил его с письмами Александра, которые поразили поэта. Едва ли можно сомневаться, что Ланжерон, дававший одесским друзьям читать свои мемуары, познакомил Пушкина и с включенными в их состав воспоминаниями Палена и Бенигсена об убийстве Павла. И потому обращение к мемуарам Ланжерона, сознававшего историческое значение этих воспоминаний, может помочь нам установить, что было известно Пушкину о заговоре 11 марта.

Писать об 11 марта значило писать об Александре I, перешагнувшем через труп отца. «Он мог снести все лишения, все страдания, все оскорбления. Только воспоминание о смерти отца, мысль о том, что его могут подозревать в соучастии с убийцами, приводила в исступление»[28], — говорит в своих воспоминаниях об Александре монархист Греч.

Александр «окружен был убийцами его отца, — писал Пушкин, вспоминая 11 марта. — Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14-го декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины»[29]. Этой жестокой истиной было обвинение в соучастии Александра с заговорщиками.

Записанные Ланжероном воспоминания Палена содержат ясные доказательства виновности Александра. Не решаясь встречаться с наследником, Пален обменивался с ним записками. Но однажды, рассказывает Пален, Павел увлек его в свой кабинет,

едва только он успел сунуть в карман записку великого князя. «Император заговорил о вещах безразличных; он был в духе в этот день, развеселился, шутил со мною,— вспоминал Пален,— и даже осмелился залезть руками ко мне в карман, сказав: — Я хочу посмотреть, что там такое,— может быть, любовные письма!..

— Как же выпутались вы из этого опасного положения? — спросил Ланжерон.

— А вот как,— ответил Пален,— я сказал императору: «Ваше величество! что вы делаете? оставьте! ведь вы терпеть не можете табаку, а я его усердно нюхаю, мой носовой платок весь пропитан; вы перепачкаете себе руки...» Тогда он отнял руки и сказал мне: «Фи, какое свинство! вы правы!..» Вот как я вывернулся»..

За четыре дня до того, как удар был наконец нанесен, Павел спросил Палена в упор: «Вы были здесь в 1762 году?» (В этот год заговорщиками задушен был Петр III.) «Но почему, ваше величество, задаете вы мне подобный вопрос?» — спросил Пален. «Потому что хотят повторить 1762 год...»

— Да, ваше величество, хотят! Я это знаю и участвую в заговоре,— отвечал Пален,— и должен делать вид, что участвую... Ибо как мог бы я узнать, что намерены они делать, если не притворюсь, что хочу способствовать их замыслам?.. Я держу в руках все нити заговора, и скоро все станет вам известно...

На этом наш разговор, рассказывал Пален, и остановился; я тотчас же написал про него великому князю, убеждая его завтра же нанести задуманный удар; он заставил меня отсрочить его до 11-го дня, когда дежурным будет третий батальон Семеновского полка, в котором он был уверен еще более, чем в других остальных...»

Но, как рассказывал Пален Ланжерону, Александр потребовал обещания, что, устраняя Павла, заговорщики не станут покушаться на его жизнь. «Я дал ему слово,— сказал Ланжерону Пален, пояснив откровенно: — Я не был настолько лишен смысла, чтоб внутренне взять на себя обязательство исполнить вещь невозможную; но надо было успокоить щепетильность моего будущего государя...» По поводу этой лицемерной «щепетильности» Герцен недаром заметил, что отца Александр «позволил убить — только не до смерти...».

Пален не желал быть, как он и сказал Ланжерону, «ни очевидцем, ни действующим лицом» при умерщвлении Павла. Только «накануне дня, назначенного для выполнения его замыслов, он открыл мне их,— сказал Бенигсен Ланжерону, добавив: — Я согласился на все, что он предложил».

«В намеченный день,— продолжает Бенигсен свой рассказ, слово в слово записанный Ланжероном,— мы все собрались к Палену, я застал там трех Зубовых, Уварова, много офицеров гвардии: все были по меньшей мере разгорячены шампанским». Когда Бенигсен привел заговорщиков к дверям императорской спальни и они ворвались в нее, «Павел забился в один из углов маленьких ширм, загораживавших простую без полога кровать, на которой он спал...

Как и все другие... — вспоминал Бенигсен,— я был в парадном мундире, в шарфе, в ленте через плечо, в шляпе и со шпагой в руке». Рассказав о пререканиях, в которые Платон Зубов вступил с императором, Бенигсен не пожелал описать сцену убийства. Заговорщики, сказал он Ланжерону, «теснясь один на другого, опрокинули ширмы на лампу, стоявшую на полу, посреди комнаты, лампа потухла. Я вышел на минуту в другую комнату за свечой, и в течение этого короткого промежутка времени прекратилось существование Павла».

На этом, пишет Ланжерон, Бенигсен кончил свой рассказ. И добавляет: «Бенигсен не захотел мне больше ничего говорить, однако оказывается, что он был очевидцем смерти императора, но не участвовал в убийстве...» Убийцы Павла, замечает Ланжерон, «не имели ни веревки, ни полотенца, чтобы задушить его; говорят, Скарятин дал свой шарф, и через него погиб Павел»[30].

Обо всем этом Пушкин имел возможность узнать от Ланжерона. Но и до знакомства с ним и позднней поэт старался проверить и дополнить собранные им сведения рассказами и записками других участников убийства Павла.

По свидетельству одного из современников, Болховской также хвалился, будто шарф его получил историческую известность, то есть рассказывал, что его шарфом задушен был Павел.

Но Пушкин продолжал расспросы. И 8 марта 1834 года, в том же году, когда он вспомнил о Болховском и его записках, Пушкин записывает в дневнике: «Жуковский поймал недавно на бале у Фикельмон цареубийцу Скарятина и заставил его рассказывать 11-е марта. Они сели. В эту минуту входит государь с гр. Бенкендорфом и застает наставника своего сына, дружелюбно беседующего с убийцею его отца! Скарятин,— замечает здесь Пушкин,— снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла 1-го»[31]. Рассказ Скарятина, как видим, также был известен поэту.

«Уваров, один из цареубийц 11-го марта,— записывает Пушкин в тот же день.— На похоронах Уварова покойный государь (Александр I.— *И. Ф.*) следовал за гробом. Аракчеев сказал громко: «Один царь здесь его провожает, каково-то другой там его встретит?..»[32]

Своеобразным источником для истории 11 марта были записки вдовы Павла — императрицы Марии Федоровны, которая, услышав, что Павел убит, выбежала босиком, в ночной сорочке, крича: «Я хочу царствовать!», а также записки Елизаветы Алексеевны — жены Александра I. Пушкин жалел, что они уничтожены. «Елисавета Алексеевна писала свои» записки, говорит он в дневнике, «они были сожжены ее фрейлиною; Мария Федоровна также, государь сжег их по ее приказанию. Какая потеря!»[33]

Декабристы с негодованием отвергали «серальный», то есть дворцовый, переворот. Об убийстве Павла Пушкин в «Вольности» сказал:

Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

Поздней как историк он стремился воссоздать политическую историю заговора, окончившегося простой сменой царя, а не введением в России обещанной молодым Александром «хартии», то есть конституции, ограничивающей власть самодержца.

Ни Пален, стоявший во главе заговора, ни Бенигсен, руководивший исполнением его, не уделили в своих воспоминаниях внимания этой чрезвычайно важной для Пушкина исторической стороне вопроса. Ей посвящена запись, сделанная Пушкиным на отдельном листе, под которой помечено: «Слышал от Дмитриева».

Записками Дмитриева, поэта и министра, Пушкин воспользовался в своей «Истории Пугачева» (Дмитриев присутствовал при казни Пугачева). «Записки Дмитриева содержат много любопытного... — заметил друг Пушкина Вяземский. — Но жаль, что он пишет их в мундире. По-настоящему должно приложить бы к ним *словесные прибавления*, заимствованные из его разговоров, обыкновенно откровенных, особливо же в избранном кругу»[34]. Таким словесным прибавлением и является рассказ его, записанный Пушкиным. Вот этот рассказ.

«Дмитриев предлагал императору Александру Муравьева в сенаторы. Царь отказал начисто и, помолчав, объяснил на то причину. Он был в заговоре Палена. Пален заставил Муравьева писать конституцию, — а между тем произошло дело 11 марта. Муравьев хвастался, в последствии времени, что он будто бы не иначе соглашался на революцию (то есть на устранение Павла и возведение на престол Александра. — *И. Ф.*), как с тем, чтобы наследник подписал хартию. Вздор. — План был начертан Рибасом и Паниным. Первый отстал, раскаясь и будучи осыпан милостями Павла. Падение Панина произошло оттого, что он ска-

зал, что все произошло по его плану. Слова сии были доведены до государыни Марии Федоровны – и Панин был удален»[35].

Пушкин знал, таким образом, о первоначальном проекте заговорщиков: не только устранить Павла, но и потребовать от Александра «хартии», ограничивающей самодержавную власть. Знал историю падения Панина, которому принадлежали и первоначальный план заговора и мысль о конституции. Но, воспользовавшись плодами дворцового переворота, Александр обманул ожидания и не подписал обещанной «хартии».

«Властитель слабый и лукавый», – сказал о нем Пушкин в «Онегине»...

Если мы вернемся теперь к сцене, изображающей Александра I в первые часы его царствования, зная, что Пушкин подготовлял правдивое изображение убийства Павла, значение этой сцены предстанет перед нами в настоящем свете. Можно добавить, что Пушкин не случайно изображает Александра в эти первые часы таким же слабым (все делают за него другие), «не имевшим силы ничем заняться», каким новый император не раз обнаружил себя впоследствии в решающие дни своего царствования.

Рассказы, включенные Пушкиным в «Дневник», полны не только исторического, но и художественного смысла и не являются поэтому всего лишь сырым историческим материалом – простой записью событий. Пушкин намечает целые исторические сцены, попутно изображая иногда не только основных, но и второстепенных участников событий. Читая записанный Пушкиным в «Дневнике» рассказ, касающийся 11 марта, мы видим не только Александра I, но и вызванного во дворец Трощинского.

Перед нами не только портрет, но и пейзаж – исторический пейзаж, вправе сказать читатель. Пушкин изображает как будто только необходимые обстоятельства действия: фельдъегерь стучится в ворота спящего дома, будит его, отыскав камень в протаявшем снегу и пустив его в окошко, – и мы видим петербургскую мартовскую ночь, ночь убийства Павла.

Николай I в пушкинском «Дневнике» показан в минуту, когда ему доносят о только что совершенной казни декабристов.

Печатая «Записки» декабриста Якушкина, Герцен счел нужным дополнить строки, посвященные в них описанию казни, рассказом Дениса Давыдова, изображающим Николая I в ночь перед казнью. «Странный характер у нашего нынешнего государя... – писал Денис Давыдов. – Накануне казни главнейших заговорщиков 14 декабря он во весь вечер изыскивал все способы,

чтобы придать этой картине наиболее мрачный характер: в течение ночи последовало высочайшее повеление, на основании которого приказано было барабанщикам бить во все время бой, какой употребляется при наказании солдат сквозь строй» [36]. «Какой нрав был у этого человека, еще совсем молодого в 1826 году» [37], – замечает по этому поводу Герцен.



Николай I (в молодости).
Рисунок Пушкина. 1819 г.

Образ Николая, каким он предстает в ночь перед казнью, остановил на себе внимание Льва Толстого в пору его работы над романом о декабристах. Прочитав собственноручное повеление Николая, определявшее обряд казни декабристов, и обратив особенное внимание, как и Денис Давыдов, на приказ Николая – «когда их выведут, барабанам пробить мелкую дробь», Толстой заметил: «Для меня это ключ, отперший не столько историческую, сколько психологическую дверь» [38].

Денис Давыдов изобразил в своих «Записках» ночь приговорившего к казни. Пушкин показывает Николая в день казни. «13 июля 1826 года в полдень государь находился в Царском Селе, – пишет Пушкин, казалось бы бесстрастно фиксируя подробности исторического дня. – Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. В эту минуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь бросил и собаку и платок и побежал во дворец. Собака, выплыв на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним». «Фр[ейлина], – записывает Пушкин, – подняла платок в память исторического дня» [39].

Этот рассказ Пушкина также является ключом, отпирающим «не столько историческую, сколько психологическую дверь». Рассказ этот Пушкин записал со слов фрейлины А. О. Россет (Смирновой) [40]. Но сравните строки Пушкина с передачей того же рассказа, сделанной со слов А. О. Смирновой ее дочерью, и вы увидите, как Пушкин, не выходя (казалось бы) за пределы протокольного исторического свидетельства, немногими средствами создает выразительную сцену, точнее, одно из явлений задуманной им исторической картины, посвященной казни декабристов.

«Не поддается перу, что во мне происходит, у меня какое-то лихорадочное состояние, которое я не могу определить... — писал Николай I накануне казни императрице-матери. — Голова моя положительно идет кругом... Завтра в три часа утра это дело должно свершиться...»[41] Николай опасался новых волнений в столице или даже вооруженного сопротивления в день казни. После того как она совершилась, он, все еще не успокоившись, на полях присланного донесения о казни приказывал: «На сегодня и на завтра возможно более осторожности». И велел передать шефу жандармов, «чтобы он удвоил бдительность и внимание», добавив: «Тот же приказ — и по войскам»[42].

С нетерпением ожидая в Царском Селе известия о совершении казни, он стоял утром 13 июля над прудом в Царскосельском парке. И — читаем мы у Пушкина — «бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег». Хотел ли он отвлечься от того лихорадочного волнения, о котором писал накануне матери, не сознавал ли всей неуместности забавы, которой развлекался в час казни? Но Пушкин счел нужным показать его таким, каков он был в эту историческую минуту.

«В эту минуту, — пишет Пушкин, — слуга прибежал сказать ему что-то на ухо». (Известие о прибытии из Петербурга курьера с сообщением о совершившейся казни слуга не решается сообщить вслух и шепчет его царю на ухо.) В передаче О. Н. Смирновой лакей, так же как в рассказе Пушкина, «прибежал» к государю. Но государь, услышав известие о казни, не бежит: это было бы неприлично. «Государь, — пишет О. Н. Смирнова, — *направился большими шагами ко дворцу*»[43]. «Царь бросил и собаку и платок и побежал во дворец», — пишет Пушкин. И заключает: «Собака, выплыв на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним». У Пушкина бежит лакей, потом бежит Николай и, наконец, за ним, не найдя его на берегу, бежит собака. Этим — приобретающим пародийный характер — повторением в изображение всей сцены вносится сатирическая черта.

Можно добавить, что в рассказе О. Н. Смирновой — нам важно здесь увидеть тенденцию ее рассказа, независимо от того, происходило ли все так, как она сообщает, — Николай, расспросив курьера, доставившего известие о казни, «отправился в часовню и велел отслужить панихиду, на которой он присутствовал, а затем заперся в своем кабинете»[44]. Пушкин же кончает тем, что фрейлина подняла брошенный платок — «в память исторического дня».

В то время как Николай ожидал в Царскосельском парке, на валу кронверка Петропавловской крепости совершалась казнь. «Говорили, — вспоминал декабрист Лорер, — что с того момента,

как нас выводили из казематов, каждые четверть часа скакали с донесениями в Царское Село фельдъегеря». Ожидали помилования. «Но, увы, — курьеры мчались в Царское Село, и обратного никого не было...» [45]



Рылеев.
Рисунок Пушкина. 1826 г.

Пушкин не мог, конечно, ограничиться в своей «Истории» изображением Николая в день казни. День, в который Пушкин услышал о казни декабристов, он отметил криптограммой, записав начальными буквами: «Услышал о смерти Р⟨ылеева⟩, П⟨естеля⟩, М⟨уравьева⟩, К⟨аховского⟩, Б⟨естужева⟩» [46]. Графической записью о казни являются рисунки поэта [47]. Пушкин рисовал виселицу с пятью повешенными на ней декабристами и рядом с одним из этих рисунков написал: «И я бы мог...» Он знал «лютые подробности казни», которые через несколько дней после того, как она совершилась, сообщал в одном из своих писем Вяземский и о которых — нет сомнения — рассказал Пушкину, возвращенному вскоре из ссылки в Москву.

«...О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибивает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место. Знаешь ли лютые подробности сей казни? — писал жене Вяземский в этом письме. — Трое из них: Рылеев, Муравьев и Каховский еще заживо упали с виселицы в ров, переломали себе кости, и их после этого возвели на вторую смерть» [48].

Рассказывали, что Рылеев, весь окровавленный, поднялся на ноги и, обратившись к Павлу Кутузову, главному распорядителю казни, сказал: «Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, что его желание исполняется: вы видите — мы умираем в мучениях...» На «неистовый возглас Кутузова»: «Вешайте их скорее снова!» — Рылеев ответил: «Дай же палачу твои аксельбанты, чтобы нам не умирать в третий раз!» [49] Знал ли об этом Пушкин? Да, знал, конечно. Все это (вспомним свидетельство жен декабристов А. Г. Муравьевой и Е. И. Трубецкой) «в тот же день» «рассказывали, как достоверное, сделавшееся известным через молодого адъютанта Кутузова» [50].



Повешенный. *Рисунок Пушкина в рукописи «Полтавы». 1828 г.*

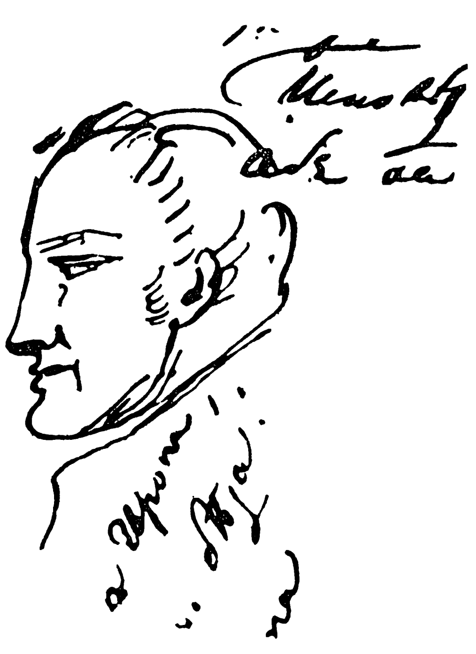
Вопреки лживому рапорту Кутузова[51], доносившего Николаю, что сорвавшиеся с виселицы («по неопытности наших палачей») Рылеев, Каховский и Муравьев «вскоре опять были повешены», «на вторую смерть» возвели их не «вскоре».

«Дай же палачу твои аксельбанты!» (вместо веревок), — бросил Кутузову Рылеев... «Запасных веревок не было, — вспоминал поздней начальник Петропавловского кронверка В. И. Беркопф, — их спешили достать в ближайших лавках, но было раннее утро, все было заперто, почему исполнение казни еще промедлилось...»[52]

«Когда Пушкин заносил ту или иную деталь на память потомству, — указывал в своих комментариях к «Дневнику» поэта П. Щеголев, — он смотрел на нее, как на деталь картины, которую нарисует в будущем на основании записей дневника или он сам, или неведомый читатель и исследователь... Необходимо, — делал Щеголев правильный вывод, — всякой записанной Пушкиным детали отыскать место в картине», поясняя: «Мы должны оправдать надежды, которые Пушкин возлагал на потомство, оставляя ему свой «Дневник»[53].

Если мы поставим вопрос: частью какой картины должна была являться сцена, изображающая Николая в минуту получения известия о казни? — то поймем, что сцена эта представляет собой часть задуманной

Пушкиным исторической картины, посвященной дню казни декабристов. Герцен, мы видели, считал необходимым, изображая день 13 июля, показать Николая I перед казнью. Пушкин показал его в час казни, точнее — в минуту получения известия о ней.

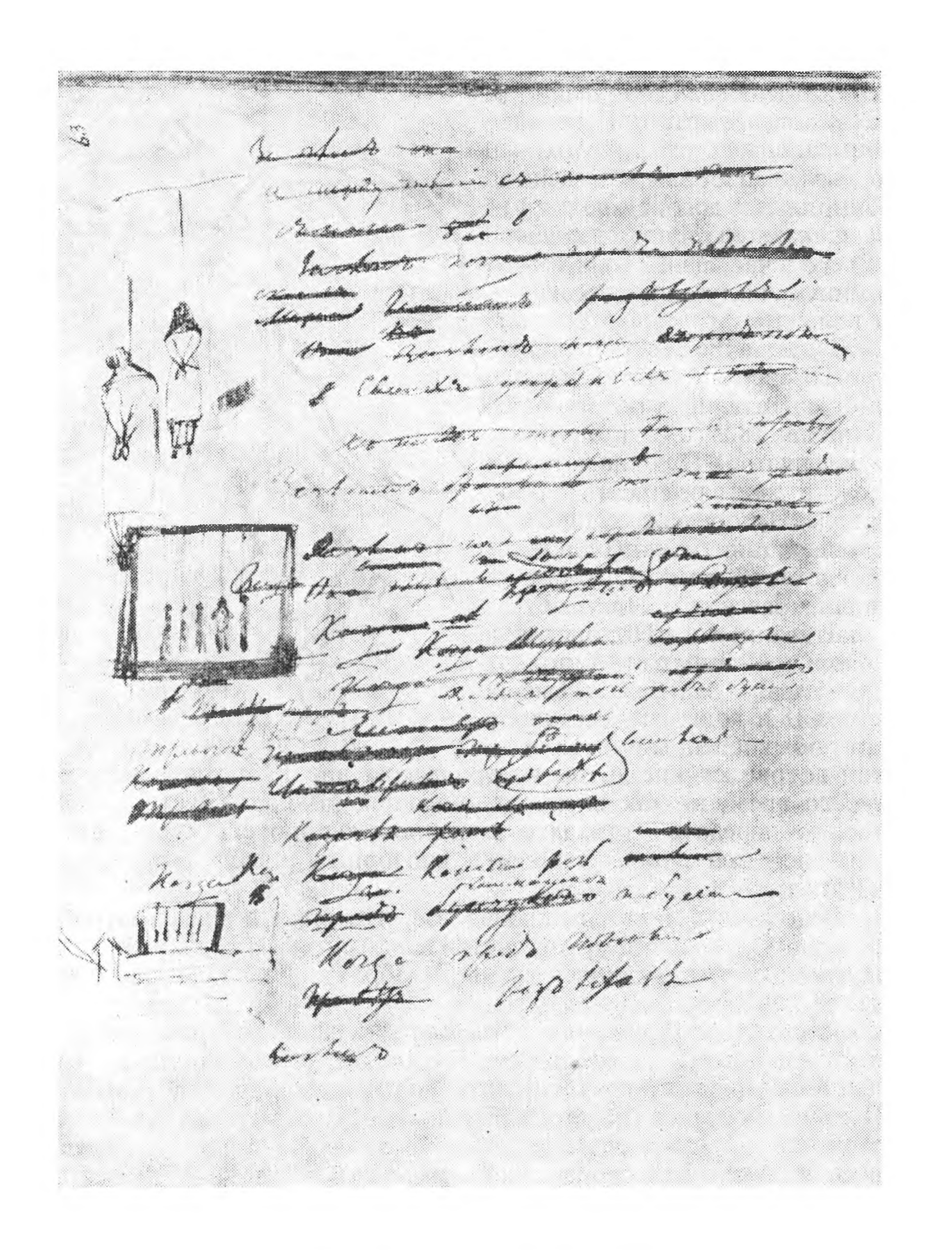


П. И. Пестель. *Рисунок Пушкина. 1824 г.*

Задумав писать в истории своего времени «об 14-м декабря» (как писал он о «возмущении 1825 года» в X главе «Онегина» [54]), Пушкин не мог вместе с тем не писать о 13 июля. (Недаром же, записав впоследствии, как и Пушкин, со слов той же А. О. Смирновой, рассказ о Николае I в час казни, поэт Полонский невольно — вместо «13 июля 1826 года» — записал: «14 декабря 1825 года, собака, платок обыкновенный».) Пушкин готовился писать об историческом дне 13 июля в истории своего времени, как писал в дошедших до нас — пусть в искаженной передаче — стихах о казненном «пророке России», который является царю-«убийце» в «позорных ризах», «с вервием вкруг выи»...

Вспомнив все это, вспомнив все, что знал и писал Пушкин о казни [55], мы поймем действительный смысл закрепленной Пушкиным в «Дневнике» сцены, изображающей Николая в час казни декабристов.

Достаточно припомнить описание казни, которым оканчивается пушкинская «История Пугачева», чтобы понять, чего лишились мы из-за того, что новый исторический замысел Пушкина остался неосуществленным и от материалов, относящихся к «историческому дню» 13 июля 1826 года, сохранилось в бумагах поэта только немногое: буквы тайной записи о казни, рисунки поэта, изображающие вал Петропавловской крепости, на нем виселицу с пятью повешенными декабристами и портрет Николая в день казни — в «Дневнике» Пушкина.



Казнь декабристов. *Рисунки Пушкина в рукописи «Полтавы». 1828 г.*

На страницах своего «Дневника» Пушкин стремился закрепить скрываемые официальной историографией черты кровавого императорского периода русской истории. Иначе как семейным портретом Романовых едва ли можно назвать страницы пушкинского «Дневника», из которых приводят обычно только заключительные строки, характеризующие Николая I. Между тем характеристика Николая является только завершением выразительно очерченного Пушкиным в немногих строках семейного портрета последних — для него — четырех царей. Семейный портрет этот открывается изображением Екатерины II.

«Конец ее царствования,— пишет Пушкин,— был отвратителен. Константин уверял, что он в Таврическом дворце застал однажды свою старую бабку с графом Зубовым. Все негодовали, но воцарился Павел, и (замечает Пушкин) негодование увеличилось». Лагарп, продолжает он, «показывал письма молодого великого князя (будущего императора Александра I.— *И. Ф.*), в которых сильно выражается это чувство... В Александре было много детского. Он писал однажды Лагарпу, что, дав свободу и конституцию земле своей, он отречется от трона и удалится в Америку». Пушкин приводит по этому поводу запомнившееся ему сравнение Александра с Николаем I, говорящее о «ложных идеях», свойственных не только Александру, но и более «положительному», то есть более трезво мыслившему, Николаю. И лишь после всего сказанного, сравнивая Николая I уже не с братом Александром, а с Петром Великим, на которого Николаю так хотелось бы походить, Пушкин заключает: «Кто-то сказал о государе: — В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого»[56].

В «Дневнике» Пушкина, как видим, сохранились строки, изображающие разврат престарелой Екатерины, жизнь Александра — сначала при Павле, «под топором», а потом «окруженного убийцами его отца», и Николая — в час казни.

Установив замысел Пушкина, мы, при современном состоянии наших исторических знаний, можем не только понять назначение, но и раскрыть содержание многих, не поддававшихся до сих пор раскрытию записей в «Дневнике» поэта. Поняв в ходе изучения его работы над «Историей Петра» способы, пользуясь которыми Пушкин закреплял собранный исторический материал, и изучив приемы его исторической работы, мы получаем возможность видеть, как подготавливалось в «Дневнике» Пушкина изображение лиц и событий современной истории: на страницах этих проступают наброски или подготовительные этюды, которые должны были быть перенесены Пушкиным — после даль-

нейшей доработки – на полотно задуманной им исторической картины.

Ведя «Дневник», Пушкин подготовлял не «малую», «домашнюю» историю – хронику «большого света и двора» (пусть даже написанную пером сатирика, как думают некоторые исследователи), а большую Историю своего времени. Встречая при дворе и в петербургском свете участников исторических событий, Пушкин, собиравший в те же годы в архивах материалы для «Истории Петра» и «Истории Пугачева», собирал одновременно рассказы о сегодняшнем историческом дне.

Правдивой истории своего времени ждали декабристы. «Исчез обряд судить народу умерших царей своих до их погребения,– писал Николаю I из крепости обреченный на смерть Каховский.– Но история предает дела их на суд беспристрастного потомства. Не все историки подобны Карамзину, деяния века нашего заслуживают иметь своего летописца Тацита. Кто знает, может быть, и есть он, но таится в толпе народа, работая для веков и потомства».

Декабристы ждали нового русского историка, который работал бы для веков, чтоб передать потомству «деяния века нашего». Таким историком готовился стать Пушкин: он готовил «Историю Петра», писал «Историю Пугачева» и не оставлял мысли написать Историю своего времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Наступило время пополнить литературу процензурованную литературой потаенной... — писал Огарев в своем предисловии к сборнику «Русская потаенная литература», изданному в 1861 году. — В подземной литературе отыщется та живая струя, которая давала направление и всей белодневной, правительством терпимой литературе, так что только в их совокупности ясным следом начертится историческое движение русской мысли и русских стремлений».

Печатая стихотворные произведения русской потаенной литературы, Огарев добавлял: «Конечно, в задачу должен бы входить не только стихотворный отдел, но и проза». При этом он указывал, что русская потаенная проза скрывается прежде всего в записках и письмах: «Она разбросана в мемуарах и частных письмах, известных только немногим и тщательней скрываемых, чем стихи, из боязни слишком определенно подвернуться под долгую лапу жандарма...» «Отдел повестей, не пропущенных цензурой... не может быть обширен; но записки и письма, — замечает он, — дело великое». «...Покуда у нас нет средств добраться до прозаической потаенной литературы, мы начинаем наш сборник с стихотворного отдела и попытаемся проследить наше гражданское движение в стихотворной литературе» [1], — писал Огарев.

Силу и значение политической — в том числе художественно-политической — прозы сознавали обе борющиеся стороны: самодержавие и революция. Пушкин сказал в своем «Памятнике», что он восславил свободу «вослед Радищеву»; Радищев же, как известно, включил свою оду в «Путешествие из Петербурга

в Москву». Фонвизина Пушкин назвал «другом свободы» не только за его всем известные комедии, но, конечно, и за его прославленное «Рассуждение о непременных государственных законах», которое декабристы распространяли в списках.

Не перебежавший еще в лагерь реакции Вяземский недаром заметил, что автор правительственного донесения о деле декабристов Блудов прославился этим своим литературным «прологом к действиям палачей». Но самодержавию не удалось противопоставить такого рода «прозу» политической прозе декабристов и их преемников. Вспомним хотя бы, с какой силой выступили Герцен и Огарев против раболепной книги Корфа, издавшего свою высочайше одобренную «историю» 14 декабря.

Герцен печатал за рубежом в «Вольной русской типографии» записки декабристов, стремясь как можно шире ознакомить русских читателей с прозаической потаенной литературой. «Мы не устраняем — как еще недавно было общепринятым мнением — возможность совпадения политического содержания с изящно-поэтической формой» [2], — писал Огарев. И эти слова его вполне могут быть отнесены к созданной декабристами мемуарной и художественно-политической прозе.

«Записки» Якушкина Герцен недаром назвал «шедевром» [3]. Политическая проза Лунина, его смелые «Письма из Сибири» представляют собой выдающееся литературное произведение. «...Письма Лунина — голос высокого духа и светлой мысли из могилы Акатуйского острога» — «совершенно вне конкурса в смысле слога, красоты изложения, поэтической и философской прелести» [4], — справедливо писал С. М. Волконский, внук декабриста.

Выдающимися литературными достоинствами отличаются записки Михаила Фонвизина, представляющие собой очерк политической истории того времени, необыкновенной живостью рассказа — «Записки» декабриста Лорера.

В наше время возможности публикации и изучения этого рода декабристской литературы несравненно расширились. Историки внимательно изучают ее. В предисловии к собранию «Воспоминаний и рассказов деятелей тайных обществ 1820-х годов», изданному в 1931—1933 гг., можно прочесть, что мемуары декабристов «интересны и как чисто литературные памятники» — «они не только знакомят читателя с зарождением первых русских революционных кружков», «но мастерски воссоздают и общий ход декабрьских событий и отдельные портреты, живые образы людей» [5]. Таким образом, записки декабристов являются в ряде случаев замечательными литературными — а не только историческими — памятниками.

Между тем вся эта отрасль потаенной когда-то декабристской прозы остается, в отличие от декабристской поэзии, малоизученной в историко-литературном смысле, хотя она, бесспорно, заслуживает такого изучения. Декабристы создали выдающуюся по своим идейным и художественным достоинствам мемуарную прозу, которая представляет собой в целом значительное явление русской литературы. На фоне ее, в ряду памятников декабристской прозы, исторически закономерным становится появление «Записок» Пушкина и вместе с тем выясняется не только судьба, но и содержание и литературный характер «Записок» великого поэта.

«Атмосфера тайных обществ, окружавшая некогда его существование,— писал о Пушкине Анненков,— сообщила впоследствии его слову ту прямоту, смелость и откровенность, с какими он отвечал на всякий вопрос, откуда бы он ни исходил»[6]. Окружавшая поэта «атмосфера тайных обществ» была воссоздана в его сожженных «Записках». Дошедшие от этого незавершенного пушкинского труда отрывки заставляют нас поставить вопрос о месте, которое занимала автобиографическая проза в творчестве Пушкина, подготовлявшего,— хотя ему не суждено было возобновить и закончить этот труд,— книгу, в которой он, так же как и в других своих произведениях, являлся основоположником новой русской литературы и прямым предшественником Герцена — создателя «Былого и дум».

Повести и романы занимают в десятитомном академическом издании сочинений Пушкина только один из пяти томов пушкинской прозы[7]. И называть, как часто делают, только эту часть пушкинской прозы художественной — неправильно.

В круг прозы Пушкина входит художественная история. «Историю Пугачева» Белинский ставил выше повестей и романов Пушкина, а незавершенную «Историю Петра», несмотря на то что знал о ней только по слуху, проницательно характеризовал как задуманное поэтом «учено-художественное» произведение.

В круг прозы Пушкина входили его Автобиографические записки, включавшие в свой состав, как мы старались показать, портретную и художественно-политическую прозу.

В круг пушкинской прозы входит эпистолярная проза. И давно признано, что над многими из своих писем Пушкин работал как над художественными произведениями.

В круг прозы Пушкина входит художественная публицистика, выдающимся образцом которой является его незавершенное «Путешествие из Москвы в Петербург», и его литературно-критическая проза. Художественный характер последней не случайно привлек к себе внимание современников поэта, «который,— как

верно заметил И. Киреевский, – открыл средства в критике» «быть таким же необыкновенным, таким же поэтом, как в стихах».

Повести и романы представляют собой ту часть пушкинской прозы, которая, в отличие от большей части остальной прозы Пушкина, могла увидеть свет при жизни поэта. Большая же часть пушкинской прозы в условиях николаевской России напечатана быть не могла.

Выяснению значения пушкинской прозы, взятой в целом, препятствует то, что важнейшие произведения исторической и автобиографической прозы поэта остались вынужденно незавершенными или дошли до нас только во фрагментах. Тем более необходимо собрать и изучить все, что дошло до нас от этой запретной прозы Пушкина. Исследования, объединенные в настоящей книге, представляют собой только начало работы, о необходимости которой мы говорим. Лишь когда задача эта будет выполнена, мы окажемся в состоянии увидеть и оценить во всем ее объеме великую работу Пушкина – создателя русской прозы.

ПРИМЕЧАНИЯ

Пушкинские тексты даны (кроме особо оговариваемых случаев) по Большому и Малому академическим изданиям сочинений Пушкина:

А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 16-ти томах. Изд-во АН СССР, 1937—1949, сокращенно обозначаемому: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах;

и А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10-ти томах. Изд-во АН СССР, 1949, сокращенно обозначаемому: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах.

В тех случаях, когда напечатанный в названных изданиях текст «Истории Петра I» требовал исправления, он дается по изданию: А. С. Пушкин. Собрание сочинений в 10-ти томах, т. 8. М., «Художественная литература», 1977 (подготовка текста и примечания И. Фейнберга).

ИСТОРИЯ ПЕТРА I

НЕИЗУЧЕННЫЙ ТРУД

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. V. М., Изд-во АН СССР, 1954, с. 93 и 94.

[2] Рецензия на тт. I—XI «Сочинений Александра Пушкина».— «Русский вестник», 1842, т. V, кн. 1, с. 40.

[3] См. письмо В. А. Жуковского Николаю I от 3 апреля 1837 г.— «Современник», 1913, № 9, с. 326.

[4] А. О. Смирнова. Записки, дневник, воспоминания, письма. Со статьями и примечаниями Л. В. Крестовой, под ред. М. А. Цявловского. Изд-во «Федерация», 1929, с. 202.

[5] Резолюция от 22 декабря 1831 г. Курсив наш.— *И. Ф.* См.: Пушкин. Письма, т. III, ред. Л. Б. Модзалевского. М.—Л., «Academia», 1935, с. 322.

[6] См. Прошение В. А. Жуковского на имя Николая I о дозволении напечатать «Материалы для Истории Петра Великого» (1840).— «Исторический вестник», 1899, № 3, с. 692.

[7] А. В. Никитенко. Дневник в 3-х томах, т. 1. М., Гослитиздат, 1955, с. 193.

[8] Донесения послов о смерти поэта, из которых извлечены нами упоминания об «Истории Петра», напечатаны были в русском переводе в книге П. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы», изд. 3-е. М.—Л., Госиздат, 1928, с. 375—379, 405.

[9] См.: Б. Л. Модзалевский. Архив опеки над детьми и имуществом Пушкина в Музее А. А. Бахрушина.— «Пушкин и его современники», вып. XIII. СПб., изд. Академии наук, 1910, с. 102.

[10] Центральный Государственный исторический архив, ф. 1066, ед. хр. 904.

[11] Мы вернемся к этому «реестру» в связи с тем, что изучение его позволило нам обнаружить в нем два исторических замечания Пушкина, остававшихся ранее неизвестными (поскольку та часть рукописи «Истории Петра», из которой они были изъяты, не дошла до нас).

[12] «Исторический вестник», 1889, № 3, с. 692.

[13] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. X, с. 482 (примечания).

[14] П. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855, с. 402 и 403.

[15] Там же, с. 406.

[16] Там же.

[17] Четверть века спустя, когда цензурные условия смягчились, Анненков опубликовал важнейшие из этих строк. Впервые — в «Вестнике Европы», 1880, кн. VI. Всего по указанию Анненкова сделаны были 34 выписки. Ныне они хранятся в Архиве Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, ф. 244, оп. 8, № 55.

[18] Б. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. Библиографическое описание.— «Пушкин и его современники». СПб., 1910, вып. IX—X, с. 11, а также: М. А. Цявловский. О судьбе рукописного наследства Пушкина.— Сб. «Сто лет со дня смерти А. С. Пушкина». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1938, с. 90—91.

[19] Эти сообщенные Г. А. Пушкиным П. С. Попову сведения приведены были последним во вступительной заметке к публикации, в состав которой вошли хозяйственные и семейные бумаги А. С. Пушкина, найденные в Лопасне одновременно с рукописями «Истории Петра».— См. «Летописи Государственного Литературного музея. Пушкин». М., 1936, кн. I, с. 84.

[20] Недостает в конечном счете разделов, относящихся к 1690—1694 гг. (период от начала единовластного царствования Петра до начала Первого Азов-

ского похода) и к 1719—1721 гг. (из тетрадей, относящихся к этим трем годам, сохранились в выписках только запрещенные цензурой строки).

21 Юлия Николаевна скончалась в Москве в 1967 году.

22 «Благонамеренный». Брюссель, 1926, № 1, с. 140—142.

23 Об этом утверждении Григория Александровича Пушкина сообщил в примечании к своей статье «Пушкин в работе над Историей Петра I» П. С. Попов.— См. «Литературное наследство», 1934, № 16-18, с. 511.

24 См.: И. Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина. Изд. 2-е. М., Гослитиздат, 1958, с. 24.

25 Выражаю глубокую благодарность Наталии Сергеевне Шепелевой, любезно ознакомившей меня с приводимым здесь в извлечении письмом Николая Александровича Пушкина от 24 июля 1961 года, уточняющим его прежнее печатное сообщение, опубликованное в 1926 году в Брюсселе. Он скончался в Брюсселе в 1964 году.

26 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 486.

27 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. X, с. 482.

28 Н. Лернер. Проза Пушкина, изд. 2-е. Пг.— М., 1923, с. 65.

29 Пушкин. Письма, т. III, ред. Л. Б. Модзалевского. М.—Л., «Academia», 1935, с. 480..

30 «Вестник Академии наук СССР», 1937, № 2—3.

31 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 6-ти томах, т. VI, кн. 2. М., Гослитиздат, 1946, с. 5.

32 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. IX, с. 512. В комментарий к третьему изданию его внесены некоторые изменения (к сожалению, недостаточные. См. с. 40 наст. изд.).

33 «Очерки истории исторической науки в СССР», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1955, с. 310.

34 См. «Новый мир», 1963, № 9, с. 214 и 216.

35 П. А. Плетнев. Сочинения и переписка, т. I. СПб., 1885, с. 338—339.

36 «Московские ведомости», 1837, № 12, 10 февраля.

37 «Русский архив», 1865, с. 108.

38 Там же, 1882, кн. 2, с. 229. См. также запись в дневнике Н. М. Смирнова за 1834 год.— «Неделя», 1962, № 40, с. 15.

39 П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. II. СПб., 1879, с. 373.

40 А. В. Никитенко. Дневник в 3-х томах, т. I. М., Гослитиздат, 1955, с. 193.

41 «Русский архив», 1888, кн. 2, с. 303.

42 См.: А. Кирпичников. Между славянофилами и западниками.— Н. А. Мельгунов.— «Русская старина», 1898, № 11, с. 321 и 328.

43 «Очерки русской литературы». Перевод сочинения Кенига «Literärische Bilder aus Russland». СПб., 1862, с. 110.

44 Перевод статьи Леве-Веймара см. в книге П. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы», изд. 3-е. М.—Л., Госиздат, 1928, с. 413—416.

45 «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым», под ред. М. Цявловского. Изд: М. и С. Сабашниковых, 1925, с. 52.

46 «Письма Александра Тургенева Булгаковым». М., Государственное социально-экономическое изд-во, 1939, с. 204.

47 Сохранилось также письмо Пушкина к Нордину, датируемое 1835 г. (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 538).

48 Перевод донесения Густава Нордина о смерти Пушкина см. в кн.: П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы, изд. 3-е. М.—Л., Госиздат, 1928, с. 377.

49 См.: М. Бендер. О дневнике Гордона.— «Журнал императорского русского военно-исторического общества». СПб., 1913, № 12, с. 597—602.

50 См. Сочинения Пушкина, под ред. П. Ефремова, т. VIII. СПб., изд. А. С. Суворина, 1905, с. 586—587.

51 Дневник надворного советника Дмитрия Келлера. Начат 26 июня 1836 г. Кончен 12 декабря 1837 г. На 47 листах. ЦГВИА, фонд Военно-ученого архива Главного штаба, ед. хр. № 1150.

52 Интересующая нас выдержка из дневника Келлера появилась также в названной выше статье М. Бендера, который обратился к дневнику Келлера, заинтересовавшись последним как переводчиком Патрика Гордона. Но и на этот раз запись Келлера опубликована была с пропусками (к тому же без отточий, указывающих на допущенные пропуски).

53 Сочинения Пушкина, под ред. П. Ефремова, т. VIII. СПб., изд. А. С. Суворина, 1905, с. 587.

54 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XI, с. 434.

55 Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II. М., Гослитиздат, 1949, с. 458.

56 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. IX, с. 78—79. Текст «Истории Петра» приводится в дальнейшем по этому изданию; ссылки на страницы его даются в скобках, вслед за каждой цитатой.

57 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 15.

58 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XI, с. 344.

59 М. Погодин. Несколько слов об «Истории Пугачевского бунта» А. С. Пушкина.— «Русский архив», 1865, с. 104.

60 Н. Прянишников. Проза Пушкина и Л. Толстого. Чкалов, 1939, с. 17.

61 «Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. Герцена», т. XIV. Л., 1938, с. 80—81.

62 П. Анненков. Воспоминания и критические очерки, т. III. СПб., 1881, с. 263.

63 Печатный текст «Истории Петра» приведен здесь с уточнением — на основании «Дела о рукописи А. С. Пушкина «Материалы для Истории Петра Великого», 1840 г. Центральный Государственный исторический архив, ф. 1066, ед. хр. 904.

64 «Деяния Петра Великого», т. I. М., 1788, с. 212.

[65] ЦГВИА, фонд Военно-ученого архива Главного штаба, № 21, «Журнал, или Дневная записка (на аглицком языке) бывшего российской службы генерала Гордона, им самим писанный», т. IV, л. 248-об. и л. 249. (Перевод наш. – *И. Ф.*)

[66] Сочинения Пушкина, под ред. П. Ефремова, т. VIII, СПб., изд. А. С. Суворина, 1905, с. 587.

[67] Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Погодинский фонд, № 2038. Приводимое нами место из дневника Гордона находится в т. III рукописного перевода Стриттера, л. 215. Перевод этот был издан позднее Поссельтом (т. I. М., 1849; т. II. СПб., 1851; т. III. СПб., 1852). Место, использованное Пушкиным, см. в т. II этого издания, с. 267–268.

[68] П. Попов. Пушкин в работе над «Историей Петра I». – «Литературное наследство», 1934, № 16-18, с. 474.

[69] Один экземпляр книги Кастера сохранился в библиотеке Пушкина под № 707; другой экземпляр поэт подарил сестре – Ольге Сергеевне. См.: Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. Библиографическое описание. – «Пушкин и его современники». СПб., изд. Академии наук, 1910, вып. IX–X, с. 185 и с. XVI.

[70] Книга Сегюра зарегистрирована в описании библиотеки Пушкина под № 1381 (брюссельское издание 1829 г.).

[71] А. И. Тургенев. Письмо к И. С. Аржевитинову от 30 января 1837 г. – «Русский архив», 1903, кн. 1, с. 143.

[72] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. IX, с. 509 и 512; а также: П. Попов. Пушкин в работе над «Историей Петра I». – «Литературное наследство», 1934, № 16-18, с. 474–476.

[73] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 138.

[74] Там же, т. X, с. 638.

[75] А. Н. Вульф. Выдержки из дневника, запись от 16 сентября 1827 г. – «Русская старина», 1899, март, с. 512.

[76] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XI, с. 14.

[77] Там же, с. 289.

[78] В. И. Даль. Воспоминания о Пушкине. – Сб. «Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников», под ред. С. Я. Гессена. Л., Гослитиздат, 1936, с. 508–509.

[79] «Вестник Европы», 1897, декабрь, с. 603.

[80] Сочинения и письма А. С. Пушкина, под ред. П. О. Морозова, т. VII. СПб., изд.-ва «Просвещение», 1909, с. 7.

[81] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 367.

[82] П. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855, с. 359.

[83] П. А. Плетнев. Сочинения и переписка, т. I. СПб., 1885, с. 383–384.

[84] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 486.

[85] Там же, с. 492.

[86] Там же, с. 580.

[87] Там же, т. IX, с. 511.

[88] П. В. Анненков. Воспоминания и критические очерки, т. III. СПб., 1881, с. 266.

[89] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 492.

[90] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XV, с. 171.

[91] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 616 и 877.

[92] В кн.: П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы, изд. 3-е. М.– Л., Госиздат, 1928, с. 285, 290.

[93] Он хранится теперь в Архиве Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, ф. 309, № 316.

[94] «Журнал министерства народного просвещения», 1843, январь, с. 1–29, и март, с. 145–183.

[95] Часть тургеневских материалов поныне находится в Центральном Государственном архиве древних актов (фонд Государственного архива, разр. XXX, № 5, и др.).

[96] Сборники Русского исторического общества, тт. 34, 40, 49, 52.

[97] См.: И. Л. Фейнберг. «Парижские бумаги» Александра Тургенева. (К работе Пушкина над «Историей Петра».) – «Вестник Академии наук СССР», 1958, № 1, с. 111–119.

[98] А. Н. Вульф. Рассказы о Пушкине.– «Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников». Л., Гослитиздат, 1936, с. 311.

ЗАМЫСЕЛ ПУШКИНА

[1] И. Фейнберг. Незавершенная книга Пушкина («История Петра»).– «Вестник Академии наук СССР», 1949, № 5. (Работа эта была опубликована также в журнале «Новый мир», 1949, № 6.)

[2] «История русской литературы», т. VI. Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Изд-во АН СССР. М.– Л., 1953, с. 279–280 (редактор раздела – Б. С. Мейлах).

[3] Молчит об этих страницах и коллективная монография «Пушкин. Итоги и проблемы изучения», под редакцией С. П. Городецкого, Н. В. Измайлова и Б. С. Мейлаха («Наука», 1966).

[4] С. Бонди. Сокровища пушкинской прозы.– «Литературная газета», 1955, № 93.

[5] П. Антокольский. Новое о Пушкине.– «Новый мир», 1955, № 8, с. 272; вошло в издание: П. Антокольский. Собр. соч. в 4-х томах, т. III. М., «Художественная литература», 1972, с. 251–256.

[6] С. Марвич. Новая страница в изучении Пушкина.– «Знамя», 1958, № 12, с. 232.

[7] Юрий Олеша. Незавершенные работы Пушкина.– «Знамя», 1963, № 8, с. 216.

[8] Константин Симонов. Человек и книга.— «Литературная Россия», 1963, № 1, с. 12—13. Вошло в книгу того же автора «Разговор с товарищами» (М., «Советский писатель», 1970, с. 151—162).

[9] Василий Субботин. Век спустя.— «Литературная газета», 1965, № 130. Вошло в книгу того же автора «Силуэты» (М., «Советский писатель», 1973, с. 289—290).

[10] «Определенной концепции в ней нет»,— читаем мы об «Истории Петра» и в основанной на недостаточно глубоком изучении ее статье В. В. Пугачева (в кн.: «Пушкин. Итоги и проблемы изучения». «Наука», 1966, с. 510).

[11] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти тт., т. II. М., Изд-во АН СССР, 1954, с. 343.

[12] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 867.

[13] П. Я. Чаадаев. Соч., т. II. М., 1914, с. 219 и 229.

[14] Н. Полевой. История Петра Великого, ч. IV, 1843, с. 305.

[15] Там же, с. 312.

[16] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XI, с. 269.

[17] Там же, с. 497.

[18] Там же, с. 501.

[19] Уточняем данный пушкинский текст на основании «Дела о рукописи А. С. Пушкина «Материалы для Истории Петра Великого», 1840 г. (Центральный Государственный исторический архив, ф. 1066, ед. хр. 904). Как видно из хранящегося в названном «деле» реестра Сербиновича, то есть выписок, воспроизводящих строки пушкинской рукописи, признанные в 1840 году нецензурными (с одновременным указанием вводимых в них цензурных изменений), слово *«нередко»*, ограничивающее в печатавшемся ранее тексте пушкинскую характеристику «временных» указов Петра (*«жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом»*), принадлежит не Пушкину, а Сербиновичу. Между тем во всех изданиях сочинений Пушкина — до издания, выпущенного в 1959—1962 годах в десяти томах Гослитиздатом (где ошибка эта нами исправлена; см. т. 8. М., 1962, с. 323),— слово «нередко» ошибочно вводили в пушкинский текст, следуя первой неточной публикации П. В. Анненкова. Кроме того, в данном пушкинском тексте курсивом ошибочно выделялись слова, подчеркнутые не Пушкиным, а Сербиновичем (в знак того, что они подлежали исключению по цензурным причинам).

[20] См.: И. Л. Фейнберг. Неизвестные строки Пушкина.— «Вестник Академии наук СССР», 1950, № 8, с. 49—55.

[21] Это замечание Пушкина введено ныне в «Справочный том» к Полному собранию сочинений в 16-ти томах (раздел «Дополнения и исправления») (Изд-во АН СССР, 1959, с. 55) и в последующие издания текста «Истории Петра».

[22] А. Н. Радищев. Письмо к другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания своего.— А. Н. Радищев. Избр. соч. М.—Л., Гослитиздат, 1949, с. 13—14.

[23] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 289.

[24] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XI, с. 497.

[25] Там же, с. 497–498.

[26] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 537; см. также с. 751.

[27] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XVI, с. 421–423.

[28] В поэме «Езерский» поэт вспоминал: «...усмиренное боярство – Петра могучею рукой...» (там же, т. V, с. 401).

[29] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XVI, с. 421–423.

[30] Там же.

[31] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, с. 20.

[32] Там же, т. 20, с. 645.

[33] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, с. 346.

[34] Опубликована нами в «Вестнике Академии наук СССР», 1950, № 8, с. 53. Вошла в «Справочный том» к Полн. собр. соч. Пушкина в 16-ти томах (раздел «Дополнения и исправления») (Изд-во АН СССР, 1959, с. 55) и в последующие издания текста «Истории Петра».

[35] «Деяния Петра Великого», т. VII. М., 1789, с. 209–210.

[36] Там же, с. 232.

[37] Рассказ этот, приведенный в первом издании «Деяний Петра Великого», был исключен – явно по цензурным соображениям – из второго издания «Деяний», вышедшего после смерти Пушкина.

[38] То есть «pape», а не «pope», как прочитано это слово французского черновика Пушкина в академическом издании (см. А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XVI, с. 260–262 и 421–423).

[39] «Сей всадник, // Папою венчанный»,– сказал Пушкин в своих стихах о Наполеоне.

[40] «Деяния Петра Великого», т. VIII. М., 1789, с. 6.

[41] Там же, с. 9–10.

[42] Уточняем печатный текст этих пушкинских строк на основании «Дела о рукописи А. С. Пушкина «Материалы для Истории Петра Великого», 1840 г. (Центральный Государственный исторический архив, ф. 1066, ед. хр. 904).

[43] «Толстовский ежегодник». М., 1912, с. 63.

[44] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 164.

[45] Там же, т. VIII, с. 68.

[46] Там же, т. VII, с. 336.

ПУШКИН В РАБОТЕ НАД ИСТОРИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ

[1] См.: П. Попов. Пушкин в работе над «Историей Петра I».– «Литературное наследство», 1934, № 16-18, с. 476.

[2] См. реестр погодинского «Древлехранилища» под № 2038.

[3] См.: Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. X. СПб., 1896, с. 442.

[4] В. Иконников. Исторические воззрения Пушкина.— «Военно-исторический вестник», 1911, кн. 9—10, с. 21.

[5] Б. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. Библиографическое описание. Предисловие.— «Пушкин и его современники. Материалы и исследования». СПб., 1910, вып. IX—X, с. XI—XX. (Далее сокращенно: Библиотека Пушкина с указанием номера книги.)

[6] Л. Б. Модзалевский. Библиотека Пушкина. Новые материалы.— «Литературное наследство», № 16-18, 1934, с. 1005 и след.

[7] См. письмо В. А. Жуковского к Бенкендорфу (февраль — март 1837 г.), где он сообщает о «рукописных старинных книгах», которые «принадлежат библиотеке» Пушкина. Опубл. в книге П. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы» (изд. 3-е. М.—Л., 1928, с. 243).

[8] См. счета букинистов, поданные Пушкину 22 февраля и 5 мая 1833 г. и 6 сентября 1835 г. (напечатаны в «Литературном архиве», т. I. Изд-во АН СССР, 1938, с. 39).

[9] В сохранившемся в пушкинской библиотеке собрании сочинений Ломоносова «Слово похвальное...» находится в т. II, на с. 365—412 (Библиотека Пушкина, № 218).

[10] А. Радищев. Письмо к другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания своего. СПб., 1790.

[11] См. «Литературное наследство», 1954, № 59, с. 380. Рукопись обнаружена была в Ульяновске Н. М. Никольским.

[12] М. Фонвизин. Обозрение проявлений политической жизни в России.— В кн.: «Общественные движения в России в первую половину XIX века», т. I. СПб., 1905, с. 109 и 111.

[13] См. «Дневник А. С. Пушкина». М.—Пг., Госиздат, 1923, с. 191.

[14] Рукопись Щербатова «Примерное времяисчислительное положение, во сколько бы лет при благополучнейших обстоятельствах могла Россия сама собою, без самовластия Петра Великого, дойти до того состояния, в каком она ныне есть в рассуждении просвещения и славы» и его же «Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого» увидели свет еще позже, так как были после 1812 г. затеряны.

[15] См. «Деяния Петра Великого», т. IX. М., 1789, с. 415—464.

[16] «Часть первая. В Санкт-Петербурге. При императорской Академии наук, 1770» и «Части второй Отдел 1-й», вышедший в 1772 г. (сохранились в библиотеке Пушкина, № 433 и 434).

[17] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I. СПб., 1858, стр. XXXV; Е. Шмурло. Петр Великий в оценке современников и потомства. СПб., 1912, примеч., с. 10.

Уточняя, С. Пештич называет Петра «главным редактором» и «одним из основных авторов» «Журнала». См. его книгу «Русская историография XVIII века», ч. I. Изд. Ленинградского университета. Л., 1961, с. 173—174.

[18] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I. СПб., 1858, с. XXXV.

[19] Перевод статьи Леве-Веймара, напечатанной в «Журналь де деба» 3 марта 1837 г., см. в кн.: П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы, изд. 3-е. М.—Л., Госиздат, 1928, с. 416.

[20] «Деяния Петра Великого», т. X. М., 1788, предисловие, л. 2-об.

[21] Там же, л. 3-об.

[22] Пушкин знал, вне сомнения, письма Петра к Шереметеву, напечатанные в 1774 г.: в «Истории Петра» он ссылается на Миллерову «Историю Шереметева» (с. 367), называя так жизнеописание Шереметева, напечатанное Миллером в виде обширного введения к собранию писем Петра Великого к Шереметеву. А на изданные в 1778—1779 годах в четырех частях письма Шереметева к Петру Великому Пушкин указывает, отмечая необходимость использовать их при изображении пребывания Карла XII в Бендерах; найдя у Голикова ссылку на эти письма, он пишет: «Смотри... письма Шереметева. Ч. III...» (313).

[23] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XV, с. 12, 14.

[24] Указы, изданные при Петре I, входят в тома II, III, IV, V, VI и VII «Полного собрания законов Российской империи».

[25] Т. XVII. М., 1796.

[26] Библиотека Пушкина, № 432.

[27] Библиотека Пушкина, № 489—491.

[28] «Сын отечества», 1825, ч. 21, с. 439. «Дополнение к Деяниям Петра Великого», т. XVII, 1796, с. 429—430.

[29] Библиотека Пушкина, № 58.

[30] О. Беляев. Кабинет Петра Великого. Отделение первое. СПб., 1800, с. 183.

[31] Там же, с. 181 и 182—183.

[32] См. статью П. П. Павлова-Сильванского в «Русском биографическом словаре» (СПб., 1897; т. «И—К», с. 666—668).

[33] Библиотека Пушкина, № 186.

[34] Библиотека Пушкина, № 392. В библиотеке поэта сохранились чч. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Сборник вышел в Петербурге в 1787 г. В рукописи своей «Истории Петра» Пушкин ссылается на часть пятую сборника Туманского, что, по верному замечанию П. Попова, указывает на неправильность мнения Б. Л. Модзалевского, считавшего пушкинский экземпляр сборника «совершенно нечитанным» (см. «Литературное наследство», 1934, № 16-18, с. 471).

[35] Эти работы перепечатаны Туманским из «Опыта трудов вольного российского собрания» в ч. 5 его сборника, на который ссылается Пушкин, и в ч. 7.

[36] Сочинения А. С. Пушкина, под ред. П. Ефремова, т. VIII. СПб., изд. А. С. Суворина, 1905, с. 587.

[37] См.: М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. VI. Изд-во АН СССР, 1952, с. 132—161. Редакторы тома — Б. Д. Греков и А. И. Андреев. Работа Ломоносова напечатана по рукописи посланного Вольтеру французского перевода ее, так как русский оригинал не сохранился.

[38] См.: М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. VI. Изд-во АН СССР, 1952, с. 570; комментарий В. Р. Свирской.

[39] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I. СПб., 1858, с. 288.

[40] Библиотека Пушкина, № 235. «Барон Мееберг и путешествие его по России. С присовокуплением рисунков, представляющих виды, обряды, портреты и т. п., в продолжение сего путешествия собранных». Издана Федором Аделунгом. Перевод с немецкого. СПб., 1827.

[41] См. названную книгу, изданную Аделунгом, с. 337—338.

[42] Там же, с. 334—341.

[43] Книга издана в Санкт-Петербурге в 1773 г., (Библиотека Пушкина, № 334).

[44] Как и в сборнике Туманского (ч. 5, с. 43), на который указывает П. Попов (см. «Литературное наследство», 1934, № 16-18, с. 471).

[45] Книга вышла в Санкт-Петербурге в 1738 г. (Библиотека Пушкина, № 198.)

[46] Библиотека Пушкина, № 99.

[47] См. «Литературное наследство», 1952, № 58, с. 105.

[48] См. «Письма Александра Тургенева Булгаковым». М., Соцэкгиз, 1939, с. 185—186.

[49] Купленная Тургеневым английская копия дневника Гордона находится ныне в Рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

[50] См. Сочинения А. С. Пушкина, под ред. П. Ефремова, т. VIII. СПб., изд. А. С. Суворина, 1905, с. 587.

[51] Библиотека Пушкина, № 495.

[52] Библиотека Пушкина, № 135.

[53] «Russland en de Nederlanden...», t. II. 1817.

[54] См.: А. Грум-Гржимайло. Декабрист А. О. Корнилович. Жизнь и литературная деятельность.— Сб. «Декабристы и их время», т. II. М., 1932, с. 335.

[55] Дневник Корба в десятитомном академическом издании сочинений Пушкина, вышедшем в 1949 г. (т. IX, с. 512), назван в числе «немногочисленных источников», которыми, по мнению комментатора, пользовался Пушкин. Для чего воспользовался Пушкин дневником Корба, при этом не устанавливалось.

[56] Цитаты из дневника Корба, вышедшего в Вене в конце 1700 г., приводим по русскому переводу: «Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла императора Леопольда I к царю и великому князю московскому Петру Первому в 1698 году, веденный секретарем посольства Иоанном Георгом Корбом». Перевод с латинского. М., 1867. Приведенные строки см. на с. 141 русского издания.

[57] См. указ. перевод дневника Корба, с. 228—229.

[58] Там же, с. 228.

[59] Там же, с. 143.

[60] Уточняем пунктуацию по рукописи Пушкина. Архив Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР (№ 392, л. 20).

[61] Библиотека Пушкина, № 677. Мы не приводим здесь, как и в дальнейшем, полных, зачастую весьма пространных названий книг русских и иностранных, сохранившихся в библиотеке поэта. Читатель найдет эти полные названия в библиографическом описании библиотеки Пушкина, составленном Б. Л. Модзалевским («Пушкин и его современники», вып. IX–X). Номера же, под которыми значатся в библиотеке поэта книги, о которых мы говорим, нами повсюду указаны.

[62] Библиотека Пушкина, № 1413.

[63] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 399–400.

[64] Предположение это повторено было в первых изданиях настоящей книги, поскольку Р. Минцлов, разыскивавший в свое время имя Моро де Бразе в списках старших офицеров петровской армии, его там не обнаружил. См.: Р. Минцлов. Петр Великий в иностранной литературе. СПб., 1872, с. 132.

[65] Документ этот опубликован в издании «Письма и бумаги императора Петра Великого», т. XI, вып. 2, под ред. Б. Кафенгауза, А. Андреева и Л. Никифорова («Наука», 1964, с. 64).

[66] См.: Библиотека Пушкина, № 1476, 887, 888, 1088. Три последние книги указаны в комментариях к «Истории Петра». См.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. IX, с. 513.

[67] «Voyages du Sr. La Motraye...», 1727, v. 2.

[68] П. Попов, касаясь одного из текстов пушкинской «Истории Петра», относящегося к 1707 г., замечает, что Пушкин «заглянул» в книгу Шафирова (см. «Литературное наследство», 1934, № 16-18, с. 472).

[69] Библиотека Пушкина, № 394.

[70] Книга эта была в библиотеке Пушкина (2-е изд. М., 1788), но не сохранилась в ней.

[71] «Жизнь Петра Великого» Антонио Катифоро вышла впервые в Венеции в 1736 г. В библиотеке Пушкина сохранилось (под № 712) 3-е итальянское издание ее, вышедшее в Венеции в 1748 г., и русский перевод, изданный в Петербурге в 1772 г., выполненный С. Писаревым (Библиотека Пушкина, № 145). Перевод этот сделан был мастерски, но «сбивался на компиляцию... переводчик дополнял авторский текст». См.: С. Пештич. Русская историография XVIII века, ч. I. Л., Изд. Ленинградского университета, 1961, с. 203.

[72] Библиотека Пушкина, № 1491. Издание это выходило в Париже в 1817–1820 гг.

[73] Закладки зарегистрированы Б. Л. Модзалевским (датировавшим письмо Сергея Львовича Пушкина, обрывок которого поэт использовал для одной из своих закладок). См.: Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. Библиографическое описание.– «Пушкин и его современники». СПб., 1910, вып. IX–X, с. 362.

[74] Переписка Вольтера с Шуваловым напечатана в томах XXXIII и XXXIV принадлежавшего Пушкину собрания сочинений Вольтера. Закладки зарегистри-

рованы Б. Л. Модзалевским в его библиографическом описании библиотеки поэта.

[75] Библиотека Пушкина, № 146.

[76] Е. Шмурло. Петр Великий в оценке современников и потомства. СПб., 1912, с. III и 103—104.

[77] В посвящении автор называет язык, на котором он написал свою книгу, «иллирическим диалектом», в связи с тем, что он вводит в славяно-русский язык некоторые сербские слова и обороты.

[78] Димитрије Руварац. Ко је писац књиге: «Житіе и славныя дѣла государя императора Петра Великого...»?» — «Гласник српскога ученог друштва». Белград, 1891, кн. 72, с. 193—200.

[79] См., например: «Деяния Петра Великого», т. I. М., 1788, с. 159; т. V, с. 379.

[80] Библиотека Пушкина, № 1098.

[81] Денис Давыдов. Военные записки, ред. Вл. Орлова. М., Гослитиздат, 1940, с. 414—415.

[82] Библиотека Пушкина, № 1081, 1082.

[83] Библиотека Пушкина, № 25.

[84] См.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. X, с. 375.

[85] См. указанное сочинение Бергмана, т. I, с. 302.

[86] Там же, т. III, с. 153—155.

[87] Библиотека Пушкина, № 1381.

[88] Библиотека Пушкина, № 1150. Автором этой книги, имя которого в данном издании ее не было указано, является Барроу.

[89] Библиотека Пушкина, № 55, 56 и 57.

[90] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 29.

[91] Там же, с. 443. О Турецком (Прутском) походе 1711 г. см. т. II (части первой), с. 452—508 книги Бутурлина.

[92] Сведения об этом приводятся в работе А. Грум-Гржимайло «Декабрист А. О. Корнилович» (сб. «Декабристы и их время», т. II. М., 1932, с. 326—327).

[93] Библиотека Пушкина, № 15.

[94] Библиотека Пушкина, № 142, 393, 99, 29.

В статье Г. Г. Ариель-Залесской «К изучению истории Библиотеки Пушкина» дополнительно указано несколько сохранившихся в ней изданий, относящихся к Петровской эпохе (сб. «Пушкин. Исследования и материалы». Изд-во АН СССР, т. II, 1958, с. 336—369).

[95] А. Бычков. Граф М. А. Корф. — «Древняя и Новая Россия», 1876, № 4, с. 337.

[96] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XVI, с. 165.

[97] Там же, т. X, с. 466—478.

[98] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 594—595.

[99] П. Попов. Пушкин в работе над «Историей Петра I». — «Литературное наследство», 1934, № 16-18, с. 476.

[100] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I. СПб., 1858, с. XLVII—XLVIII.

1 В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. V. М., Изд-во АН СССР, 1954, с. 94.

2 «Дополнение к Деяниям Петра Великого», т. I. М., 1790, предисловие, лл. 3 и 3-об.

3 «Деяния Петра Великого», т. I. М., 1788, предисловие, с. IX.

4 П. Попов. Пушкин в работе над «Историей Петра I». — «Литературное наследство», 1934, № 16-18, с. 476. (Курсив наш. — *И. Ф.*)

5 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. IX, с. 51, 512.

6 «С.-Петербургские ведомости», 1866, № 139, 24 мая.

7 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 191.

8 Е. Шмурло. Петр Великий в оценке современников и потомства. СПб., 1912, с. 94.

9 См.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. VIII, кн. 2, с. 533.

10 Е. Шмурло. Петр Великий в оценке современников и потомства. СПб., 1912, с. 92—93, 94.

11 См.: Н. В. Измайлов. К вопросу об исторических источниках «Полтавы». — «Пушкин. Временник», т. 4—5. Изд-во АН СССР, 1939, с. 444.

12 «Хорошо знакомым Пушкину» называет Голикова, касаясь изданных им исторических анекдотов, Л. П. Гроссман в своей работе «Искусство анекдота у Пушкина». («Этюды о Пушкине». М.—Пг., 1923).

13 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 90—91.

14 «Дополнение к Деяниям Петра Великого», т. XVII. М., 1796, предисловие, с. 2. («Частными журналами» Голиков называет дневники современников.)

15 Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I. СПб., 1858, с. XLVI.

16 «Житие Петра Великого...». Перевел Стефан Писарев. СПб., 1772, с. 258.

17 См. «Деяния Петра Великого», т. II. М., 1788, с. 134—141.

18 Третье издание ее, «вновь исправленное», вышедшее в Москве в 1830 г., сохранилось в библиотеке Пушкина.

19 Вольтер. История Карла XII. Перевод с французского в 4-х частях, ч. II. М., тип. Платона Бекетова, 1803, с. 33.

20 См. «Das Veränderte Russland...», t. I. Frankfurt und Leipzig, 1744, S. 67.

21 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 457.

22 П. Попов. Пушкин в работе над «Историей Петра I». — «Литературное наследство», 1934, № 16-18, с. 472.

23 Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I. СПб., 1858, с. 10, 5.

24 См. «Деяния Петра Великого», т. VIII. М., 1789, с. 244, примечание.

25 Библиотека Пушкина, № 591.

[26] См. «Деяния Петра Великого», т. VI. М., 1788, с. 44–45.

[27] «Житие и. славные дела... Петра Великого». Часть вторая. В Венеции. В типографии Димитрия Феодозия, 1772, с. 156 (курсив наш. – *И. Ф.*) (Библиотека Пушкина, № 146).

[28] «Деяния Петра Великого», т. VI. М., 1788, с. 153, 154.

[29] Книга эта была издана на английском языке под названием «Memoirs of Peter Henry Bruce, Esq., a military officer, in the Services of Prussia, Russia and Great Britain, containing an account of his travels in Germany, Russia, Tartary, Turkey, the West-Indies, etc. as also several very interesting private anecdotes of the Czar Peter I of Russia», London. MDCCLXXXII.

В следующем, 1783 г. в Дублине вышло под тем же названием новое издание ее.

Достоверность сведений о России, сообщаемых в ней, давно взята под сомнение русскими исследователями исторических источников петровского времени.

[30] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XVI, с. 67.

[31] Сочинения А. С. Пушкина, под ред. П. Ефремова, т. VIII. СПб., изд. А. С. Суворина, 1905, с. 587.

[32] Центральный Государственный военно-исторический архив, ед. хр. 1150 (фонд Военно-ученого архива Главного штаба), с. 40–41.

[33] Заключение Центральной криминалистической лаборатории Высшего института юридических наук Министерства юстиции СССР от 24 ноября 1953 г., за подписью выполнившей расшифровку записи Келлера ст. научного сотрудника В. Ф. Орловой (курсив наш. – *И. Ф.*).

[34] См. указанное нами издание «Записок» Брюса, с. 185–186 (перевод наш. – *И. Ф.*).

[35] Архив Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, ф. 244, оп. 16, № 123.

[36] Следует отметить, что «выписки» в пушкинском подготовительном тексте вообще встречаются сравнительно редко: в тех случаях, когда Пушкину необходим был для будущей «Истории» текст (а не только сущность) какого-нибудь исторического документа, он, не переписывая его, обычно отмечал в своей рукописи лишь том и страницы голиковского свода, на которых воспроизведен нужный ему документ.

[37] «Деяния Петра Великого», т. II. М., 1788, с. 158.

[38] Там же, с. 148.

[39] Там же, т. I, с. 316.

[40] Там же, с. 303.

[41] Петр-мастер.

[42] Стилевое преобразование, которому Пушкин подверг в «Медном всаднике» слова Альгаротти, включая их в речь Петра, тонко проанализировано В. В. Виноградовым. («Стиль Пушкина». М., Гослитиздат, 1941, с. 388–389.)

[1] «Дела III Отделения об А. С. Пушкине». СПб., 1906, с. 120.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 402.

[3] Пушкин. Письма, т. III, ред. Л. Б. Модзалевского. М.—Л., «Academia», 1935, с. 470 и 471.

[4] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I. СПб., 1858, с. IX и XLIII.

[5] «Архивное дело». М., 1936, № 4 (41), с. 95.

[6] Там же.

[7] П. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855, с. 359.

[8] Там же, с. 360.

[9] Там же.

[10] В. Иконников. Опыт русской историографии, т. I, кн. I. Киев, 1891, с. 438.

[11] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 145.

[12] И. Л. Маяковский. Очерки по истории архивного дела в СССР.— «История архивного дела в СССР до Октябрьской социалистической революции», ч. I. М., 1941, с. 231.

[13] Там же, с. 231—232.

[14] «Дела III Отделения об А. С. Пушкине». СПб., 1906, с. 199. (Подлинный черновой отпуск этой бумаги от 6 февраля 1837 г. в Архиве Пушкинского дома АН СССР, ф. 244, оп. 16, № 123.)

[15] «Фонды черновых материалов, относящихся к работе Пушкина над «Историей Пугачева» и «Историей Петра», сохранились далеко не полностью»,— верно отмечает Ю. Оксман («Пушкин в работе над «Капитанской дочкой».— «Литературное наследство», 1952, № 58, с. 239, примечания).

[16] Н. Устрялов. Воспоминания о моей жизни.— «Древняя и Новая Россия», 1880, август, с. 629.

[17] Там же.

[18] Эти письма Петра к кн. Вас. Влад. Долгорукову (1667—1746) напечатаны в Полн. собр. соч. Пушкина в 16-ти томах, т. X, с. 456—457 (с некоторыми мелкими неточностями). Пушкин получил подлинники этих писем от кн. Вас. Вас. Долгорукова (1787—1858), как указано в сб. «Рукою Пушкина» (М.—Л., 1935, с. 594—595).

[19] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. X, с. 458—462.

[20] «Дополнение к Деяниям Петра Великого», т. XVI. М., 1795, с. 436 и след.

[21] См. письмо Пушкина к Погодину от 5 марта 1833 г. (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XV, с. 53).

[22] Письмо Погодина от 29 марта 1833 г. (там же, с. 57).

[23] Сб. «Пушкин». Документы Государственного и С.-Петербургского Главного архивов Министерства иностранных дел, относящиеся к службе его 1831—1837 гг. Сост. Н. Гастфрейнд. СПб., 1900, с. 17—18.

[24] Архив Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, ф. 244, оп. 16, л. 3.

[25] Сб. «Пушкин». СПб., 1900, с. 18.

[26] М. Погодин. Петр I. Трагедия в пяти действиях. Послесловие. М., 1873, с. 157.

[27] В. Веретенников. История Тайной канцелярии петровского времени. Харьков, 1910, с. 102—103.

[28] М. И. Семевский. Очерки и рассказы из русской истории XVIII века. Слово и дело. 1700—1725. Изд. 3-е. СПб., 1885, с. 5.

[29] Письмо это, остававшееся до последнего времени неизвестным, опубликовано было в 1958 году в парижской газете «Русская мысль» (номер от 12 августа):

«Его благородию А. С. Пушкину.

Милостивый государь, Александр Сергеевич,

Г-н вице-канцлер сообщает мне, что по всеподданнейшему докладу его о дозволении вам пользоваться находящимися в архивах Министерства иностранных дел матерьялами для сочинения истории императора Петра Первого его императорское величество изъявил на сие высочайшее соизволение с тем, чтобы вообще чтением вверяемых вам бумаг того времени и выписками из оных вы занимались в самом Архиве и чтобы из числа помянутых бумаг секретные были открываемы вам по моему назначению.

Уведомляя вас, милостивый государь, о сей высочайшей воле, я буду ожидать первого с вами свидания для объяснения, каким удобно образом вам приступить к рассмотрению хранящихся в Архиве Коллегии иностранных дел бумаг времени Петра Великого или относящихся к оному.

Имею честь быть с истинным почтением и преданностью вам, милостивый государь,

Д. Блудов

№ 7, 19 генваря 1832 года».

[30] Письмо К. С. Сербиновича от 18 февраля 1832 г. (см.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XV, с. 13).

[31] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. V. СПб., 1859, с. 6.

[32] «Объявление розыскного дела и суда по указу его царского величества на царевича Алексея Петровича, в Санктпитербурхе отправленного, и по указу его величества в печать, для известия всенародного, сего июня в 25 день, 1718 выданное».

[33] «Московский вестник», 1829, ч. V, с. 7.

[34] Центральный Государственный архив древних актов, фонд Государственного архива, разр. VI, д. № 33, ч. I: «Суд над царевичем Алексеем Петровичем и выписки из розыска о нем 1718 г.».

[35] «Дополнение к Деяниям Петра Великого», т. XII. М., 1794, с. 63, примечание.

[36] Фонд Государственного архива, разр. VI, 1718, д. № 32, лл. 107—110-об. («Допросы и ответы царевича Алексея Петровича, также Ефросиньи Федоровны с 3 февраля по 25 июня 1718 г.»).

[37] William Coxe. Travels in Poland, Russia, Sweden and Denmark. London, 1802, v. 11, p. 308. Перевод наш: дан по 5-му лондонскому изданию книги Кокса.

[38] См. «Деяния Петра Великого», т. VI. М., 1788, с. 154, примечание.

[39] Levesque. Histoire de Russie. Paris, 1782, v. IV, p. 442.

[40] В библиотеке Пушкина сохранилась книга «A Memoir of the Life of Peter the Great», в гл. XII которой, посвященной процессу и смерти царевича Алексея, приводятся извлечения из «Путешествия» Кокса. Автором этой книги — в первом издании ее, принадлежавшем Пушкину, неназванным — являлся, как было сказано, Барроу (Библиотека Пушкина, № 1150).

[41] Во второе (1958 г.) и третье (1965 г.) академические издания сочинений Пушкина в 10-ти томах после опубликования нами в «Вестнике Академии наук СССР» (1955, № 1) исследования «Пушкин и дело царевича Алексея» введено указание о том; что Пушкин использовал в «Истории Петра» архивное следственное дело царевича.

[42] «Деяния Петра Великого», т. VI. М., 1788, с. 146.

[43] Вольтер. История Российской империи в царствование Петра Великого. Перевел С. Смирнов, ч. II, кн. 2, 1809, с. 42.

[44] Письмо это напечатано в 34-м томе 42-томного собрания сочинений Вольтера, вышедшего в Париже в 1817—1820 гг. и сохранившегося в библиотеке Пушкина. В томах 33-м и 34-м, где напечатана переписка Вольтера с Шуваловым, сохранились закладки Пушкина (Библиотека Пушкина, № 1491).

[45] Н. Устрялов. Воспоминания о моей жизни.— «Древняя и Новая Россия», 1880, август, с. 680.

[46] В. В. Григорьев. История Санкт-Петербургского университета, 1870. Ссылки, примечания и дополнения, с. 8.

[47] Н. Устрялов. Воспоминания о моей жизни.— «Древняя и Новая Россия», 1880, август, с. 680.

[48] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 428—429.

ПУШКИН В БИБЛИОТЕКЕ ВОЛЬТЕРА

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XV, с. 14.

[2] Там же, с. 15.

[3] См.: В. Люблинский. Библиотека Вольтера.— «Исторический журнал», 1945, № 1—2, с. 85.

[4] В 1961 г. вышел в свет каталог книг, входящих в состав библиотеки Вольтера, хранящейся в Ленинграде (с содержательной вступительной статьей акаде-

мика М: П. Алексеева): «Библиотека Вольтера». Изд-во АН СССР. М.—Л., 1961. «Описание рукописной части фонда библиотеки Вольтера не входит в задачу каталога»,— указывается в нем (с. 84). Обозрение рукописных материалов, относящихся к истории России при Петре I, сохранившихся в библиотеке Вольтера, содержится в кн.: Р. Минцлов. Петр Великий в иностранной литературе. Подробный каталог иностранных сочинений о России... СПб., 1872 (на фр. яз.).

[5] Письмо от 9 ноября 1761 г.

[6] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I. СПб., 1858, с. XL.

[7] Отношение Придворной конторы по 2-й экспедиции от 3 марта 1832 г., № 22. См. «Литературное наследство», 1934, № 16-18, с. 910.

[8] Пушкин. Письма, т. III, ред. Л. Б. Модзалевского. М.—Л., «Academia», 1935, с. 480—481.

[9] Архив Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, ф. № 244, оп. № 1, № 840.

[10] «Литературное наследство», 1934, № 16-18, с. 920.

[11] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. X, с. 443—445; перевод — с. 492—502, примечания — с. 488—489.

[12] В упомянутой уже вступительной статье («Библиотека Вольтера в России») академик М. П. Алексеев коснулся вопроса о возможности знакомства Пушкина с рукописными материалами о Петре, собранными Вольтером, упомянув о соображениях и выводах, изложенных нами в предыдущих изданиях настоящей книги (см. «Библиотека Вольтера», с. 48).

[13] См. рукописные материалы для «Истории России в царствование Петра Великого», т. III, лл. 95—100, хранящиеся в составе Библиотеки Вольтера в Государственной Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. Перевод дан по изданию: «Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бумаг графа Бассевича». М., 1866, с. 176—177 и 180—181.

[14] Однако данными о том, что эта публикация была известна Пушкину, мы не располагаем.

[15] См. с. 3, 5, 6 и 14. Книга эта сохранилась в библиотеке Пушкина, но разрезано в ней лишь немногое. См.: Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. Библиографическое описание.— «Пушкин и его современники», вып. IX—X. СПб., 1910, с. 19.

[16] «Деяния Петра Великого», т. IX. М., 1789, с. 204.

[17] См. рукописные материалы для «Истории России в царствование Петра Великого», собранные Вольтером, т. II, с. 56—60 по пагинации, данной переписчиком. Извлечение из этой рукописи было издано в Лондоне в 1780 г. под названием «Anecdotes secrètes de la cour du Czar Pierre le Grand et de Catherine son epouse...». Но сведений о том, что Пушкин был знаком с этим редким изданием, у нас нет.

[18] Вольтер. История Российской империи в царствование Петра Великого. Перевел С. Смирнов, ч. II, кн. 2, 1809, с. 128—129.

[1] П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы, изд. 3-е. М.—Л., Госиздат, 1928, с. 272.

[2] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VII. СПб., 1882, с. 482.

[3] Записи А. И. Тургенева, относящиеся к Пушкину, за 1831—1834 годы опубликованы теперь М. Гиллельсоном в журнале «Русская литература» (1964, № 1, с. 125—134). Им же подготовлено ценное издание: А. И. Тургенев. Хроника Русского. Дневники (1825—1826). «Наука», 1964.

[4] Архив Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, ф. 309, № 316, лл. 77-об., 78 и 78-об.

[5] Там же, л. 78.

[6] Там же, ф. 309, № 1135. Ниже мы приведем в извлечении этот интересный документ, сохранившийся в копии, писанной рукой неизвестного нам переписчика.

[7] «Письма Александра Тургенева Булгаковым». М., Соцэкгиз, 1939, с. 194.

[8] «Русский архив», 1910, кн. 3, с. 461.

[9] В. Иконников. Опыт русской историографии, т. 1, кн. 2. Киев, 1892, с. 1492.

[10] «Журнал Министерства народного просвещения», 1843, январь, отд. II, с. 2—3.

[11] «Маркиз де ла Шетарди в России 1740—1742 годов». Перевод рукописных депеш французского посольства в Петербурге. Издал с примечаниями и дополнениями П. Пекарский. СПб., 1862.

[12] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII. СПб., 1883, с. 282—283.

[13] «Воспоминание М. П. Погодина об А. И. Тургеневе». — «Русский архив», 1910, кн. 3, с. 461.

[14] М. Погодин. Н. М. Карамзин. Материалы для биографии, ч. II. М., 1866, с. 319.

[15] «Современник», 1837, кн. V, с. 32.

[16] Письмо к Е. А. Свербеевой от 21 декабря 1836 г. (оригинал по-французски) («Московский пушкинист», вып. 1. М., 1927, с. 23—24).

[17] Письмо от 31 января 1837 г. — «Новые материалы для биографии Пушкина (из Тургеневского архива)». — Публикация А. А. Фомина («Пушкин и его современники», вып. VI. СПб., 1908, с. 59).

[18] Письмо А. И. Тургенева от 11 августа 1832 г. (В. М. Истрин. Из документов архива братьев Тургеневых. — «Журнал Министерства народного просвещения», 1913, кн. 3, отд. 2, с. 16—17).

[19] См. записи в дневнике А. И. Тургенева от 15 декабря 1836 г. и от 9 января 1837 г. (П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы, изд. 3-е. М.—Л., Госиздат, 1928, с. 278—285).

[20] «Остафьевский архив», т. III. СПб., 1899, с. 262.

[21] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XV, с. 189.

[22] П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы, изд. 3-е. М.—Л., Госиздат, 1928, с. 272.

[23] Там же. «Из дневника А. И. Тургенева», с. 272—300. В дальнейшем, ссылаясь на данную публикацию, имеем в виду названное издание труда П. Щеголева.

[24] См. «Письма Александра Тургенева Булгаковым». Вступительная статья и комментарии А. А. Сабурова. М., Соцэкгиз, 1939.

[25] «Из дневника А. И. Тургенева». Записи от 9 и 26 января 1837 г.

[26] Там же. Запись от 25 января 1837 г.

[27] А. И. Тургенев — Н. И. Тургеневу, 31 января 1837 г. («Пушкин и его современники», вып. VI. СПб., 1908, с. 60).

[28] «Из дневника А. И. Тургенева». Запись от 26 января 1837 г.

[29] Письмо А. И. Тургенева А. И. Нефедьевой от 28 января 1837 г. («Пушкин и его современники», вып. VI. СПб., 1908, с. 48).

[30] «Из дневника А. И. Тургенева». Записи от 31 января и 2 февраля 1837 г.

[31] «Пушкин и его современники», вып. VI. СПб., 1908, с. 82—83.

[32] А. И. Тургенев — Н. И. Тургеневу, 19 февраля 1837 г. («Пушкин и его современники», вып. VI. СПб., 1908, с. 83—84).

[33] Там же, с. 84.

[34] «Из дневника А. И. Тургенева». Запись от 16 февраля 1837 г.

[35] Список «Записок Екатерины II», принадлежавший А. И. Тургеневу, сохранился, как мы имели возможность выяснить, среди его бумаг. Архив Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, ф. 309, № 2001.

[36] В. Н. Шумиловым.

[37] М. Лемке. Князь П. В. Долгоруков в России.— В кн.: «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения собств. Е. И. В. канцелярии», изд. 2-е. СПб., 1909, с. 536—537.

[38] «La cour de la Russie il y a cent ans, 1725—1783». С 1858 по 1860 год она издана была на французском языке трижды.

[39] «Русский двор сто лет тому назад. 1725—1783». По донесениям английских и французских посланников. Первый русский перевод с берлинского издания. СПб., типография «Освобождение», 1907.

[40] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XVI, с. 218.

[41] «Современник», 1837, кн. V, с. 29.

[42] Там же, с. 32.

[43] Там же, с. 38.

[44] Там же, с. 32.

[45] Там же, с. 39.

[46] «Пушкин и его современники», вып. VI. СПб., 1908, с. 84.

[47] «Современник», 1836, кн. I, с. 262.

[48] Там же, с. 260. (Имя Минье написано Тургеневым по-французски.)

[49] Там же, с. 272.

[50] Там же, с. 277 и 278. (Письмо от 18 февраля 1836 г.)

[51] «Современник», 1837, кн. V, с. 40—41.

52 Архив Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, ф. 309, № 1135.

53 «Журнал Министерства народного просвещения», 1843, январь, отд. II (статья 1); с. 1—29, и март (статья 2), с. 145—183.

54 Там же, 1844, февраль, отд. II, с. 85—129.

55 Архив Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, ф. 309, № 1077.

56 Там же, см. письмо К. С. Сербиновича к А. И. Тургеневу от 22 февраля 1843 г. (а также письмо А. И. Тургенева к Сербиновичу из Парижа от 5/17 февраля 1841 г.— «Русская старина», 1882, апрель, с. 179).

57 В Сборниках Русского исторического общества, тт. 34, 40, 49, 52.

58 Эти донесения Кампредона опубликованы полностью в Сборнике Русского исторического общества, 1886, т. 52, с. 420—423, 427—448.

59 «Современник», 1837, кн. V, с. 41—42.

60 Там же, с. 44.

61 «Журнал Министерства народного просвещения», 1843, март, отд. II, с. 178—183.

62 «История России», изд. 3-е, т. XVIII. М., 1884, с. 365.

63 «La Russie et les Russes». Paris, 1847, III, p. 418—421.

64 Сборник Русского исторического общества, 1886, т. 52, с. 427—432.

65 Там же, с. 433—448.

66 «Журнал Министерства народного просвещения», 1844, февраль, отд. II, с. 87—88. (Сведения эти извлечены из донесений Ла-Ви от 7 октября и 25 декабря 1717 г., опубликованных впоследствии в Сборнике Русского исторического общества, 1881, т. 34, с. 246—250, 257—260, 273—276.)

67 Там же, 1843, март, отд. II, с. 154.

68 Полностью оно опубликовано в Сборнике Русского исторического общества, 1881, т. 34, с. 391—393.

69 «Журнал Министерства народного просвещения», 1843, март, отд. II, с. 154—155.

70 См. Сборник Русского исторического общества, 1881, т. 34, с. 395—398.

71 «Современник», 1836, кн. II, с. 311.

72 «Современник», 1837, кн. V, с. 46. Курсив наш.— *И. Ф.*

73 См. Сборник Русского исторического общества, 1889, т. 66, с. 71—87; она была использована ранее Н. Поповым в статье «Из жизни П. А. Толстого» («Русский вестник», 1860, т. XXVII, с. 319—346).

74 «Краткое описание жизни Петра Андреевича Толстого». Сочинение французского консула Виллардо.— «Русский архив», 1896, кн. I. Оригинал, т. е. французский текст Виллардо, опубликован проф. Андре Мазоном в «Analecta Slavica». Amsterdam, 1955, p. 19—35.

75 Сборник Русского исторического общества, 1889, т. 66, с. 75.

76 Там же, с. 79.

77 Там же, с. 81.

78 17 ноября 1835 года А. И. Тургенев записал в своем парижском дневни-

ке: «Был в библиотеке, взял оттуда переписанное для меня и отдал Анекдоты Вильбуа» (Архив Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, ф. 309, № 305, л. 148).

79 М. Лемке. Князь П. В. Долгоруков в России. — В кн.. «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения собств. Е. И. В. канцелярии», изд. 2-е. СПб., 1909, с. 538.

80 Там же, с. 541.

81 Письмо А. И. Тургенева к И. С. Аржевитинову («Русский архив», 1903, кн. 1, с. 143).

ПО СТРАНИЦАМ «ИСТОРИИ ПЕТРА»

1 М. И. Пущин. Встреча с Пушкиным за Кавказом. — «Русский вестник», 1893, № 9, с. 161.

2 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 418.

3 Там же.

4 Там же, с. 396.

5 «Деяния Петра Великого», т. III, М., 1788, с. 361 и 362.

6 Курсив наш. — *И. Ф.*

7 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 413.

8 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. X, с. 312.

9 Там же, с. 317 и 432.

10 Там же, т. XVI, с. 69.

11 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 400.

12 Вольтер. История Карла XII. Перевод с французского, в 4-х частях, ч. III. М., тип. Платона Бекетова, 1804, с. 120.

13 «Деяния Петра Великого», т. IV, М., 1788, с. 204.

14 Вольтер. История Карла XII. Перевод с французского, в 4-х частях, ч. III. М., тип. Платона Бекетова, 1804, с. 129, 139, 152—153, 155—156.

15 И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. — «Русский архив», 1866, с. 1464.

16 Там же, с. 1460.

17 Вольтер. История Карла XII. Перевод с французского, в 4-х частях, ч. IV. М., тип. Платона Бекетова, 1804, с. 99—100.

18 Там же, с. 86—87 и 102—105.

19 В оригинале ссылка дана Пушкиным по-французски.

20 В оригинале — Megret.

21 В оригинале — Siquier (адъютант Карла XII).

22 Вольтер. История Карла XII. Перевод с французского, в 4-х частях, ч. IV. М., тип. Платона Бекетова, 1804, с. 154, 158 и 161.

23 «Деяния Петра Великого», т. VI. М., 1788, с. 264.

24 Донесение Ла-Ви от 20 января 1719 г. (Сборник Русского исторического общества, т. 40, 1884, с. 8).

[25] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. II. СПб., 1879, с. 375.

[26] Вольтер. История Российской империи в царствование Петра Великого. Перевел С. Смирнов, ч. I, кн. 1, 1809, с. XXV.

[27] Там же, ч. I, кн. 2, с. 134.

[28] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 336.

[29] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV. М., Изд-во АН СССР, 1954, с. 369. Связь пушкинской (и лермонтовской) прозы с прозой Давыдова отметил Вл. Орлов (см. его статью в кн.: Денис Давыдов. Военные записки. М., 1940, с. 26)

[30] На это обратил внимание В. В. Виноградов, указывая на несомненную связь пушкинской прозы с прозаическим языком Давыдова («Стиль Пушкина». М., 1941, с. 409 и 530).

[31] См. сб. «Петр Великий» под ред. А. И. Андреева, т. I. М.–Л., Изд-во АН СССР, 1947, с. 404–405.

[32] В парижском издании сочинений Вольтера, которым пользовался Пушкин, выходившем в 1817–1829 гг., это письмо, датированное 17 июля 1758 г., напечатано в т. 33, с. 454–455.

[33] К. Маркс. Секретная дипломатия XVIII века. (Цитата дана в переводе — по книге «История СССР» под ред. Б. Д. Грекова и др., т. I. М., Госполитиздат, 1948, с. 546.)

[34] Там же, с. 553.

[35] Так в тексте Пушкина (на медали: «молниями и волнами»).

[36] Петр-мастер.

[37] «Жизнь Петра Великого» Антонио Катифоро (на которую ссылается в «Деяниях» Голиков) сохранилась, как сказано выше, в библиотеке Пушкина и в итальянском издании, и в русском переводе.

[38] Карл прибыл 18 ноября и расположился в десяти верстах от крепости; сражение началось на другой день утром. Шведов было, по одним сведениям, 8000, по другим — 12 000.

[39] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 10, с. 589

[40] Турция.

[41] Избранного по указанию Карла на польский престол.

[42] «По наущению Фрелинга, веровавшего в предопределение» (говорит в скобках Пушкин, ссылаясь на Голикова).

[43] «Сын отечества и Северный архив», 1829, т. III, № XVI, с. 109.

[44] То есть от Петра, который носил в это время звание шаутбенахта (контр-адмирала).

[45] Исправляем в приводимой цитате на слово «сначала» слово «сказали». На ошибку, допущенную писцом в этом слове при переписывании в 1840 г. подлинной тетради Пушкина, указал нам С. М. Бонди. В вышедшем позднее, в 1956 г., втором издании десятитомного академического собрания сочинений Пушкина (т. IX, с. 399) и в последующих изданиях «Истории Петра I» ошибка эта исправлена.

[46] То есть кроме осужденных за важнейшие государственные преступления.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ

СОЖЖЕННЫЕ «ЗАПИСКИ» ПУШКИНА

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XII, с. 310.

[2] Там же, с. 432. (Курсив наш.— *И. Ф.*)

[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 180 (письмо к Катенину).

[4] П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 309.

[5] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 141.

[6] См.: А. А. Шахматов. Симеоновская летопись XVI века и Троицкая начала XV века.— «Известия II отделения Академии наук», 1900, т. V, кн. 2.

[7] См.: М. Д. Приселков. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1950.

[8] См.: Д. С. Лихачев. Шахматов как исследователь русского летописания.— Сб. «А. А. Шахматов». Изд-во АН СССР, 1947, с. 259; и его же вступительную статью к «Повести временных лет», ч. II, серия «Литературные памятники». Изд-во АН СССР, 1950, с. 155.

[9] Лев Толстой. Три листа из дневника 3—18 мая 1897 г. Редакция и комментарий Н. Н. Гусева.— «Летописи Государственного Литературного музея», 1938, кн. 2, с. 19.

[10] Эта запись («19 октября сожжена X песнь») сделана Пушкиным на полях «Метели», оконченной, по датировке самого Пушкина, 20 октября 1830 г. См.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. VIII, кн. 2, с. 622 и 1052.

[11] См. показания Пестеля в ответ на вопросы Следственной комиссии, предъявленные ему 13 января 1826 г. («Восстание декабристов». Материалы, т. IV. М.—Л., 1927, с. 113). О судьбе «Русской Правды» см. предисловие П. Е. Щеголева в кн.: П. И. Пестель. «Русская Правда». СПб., Книгоиздательство «Культура», 1906, с. XIII, и специальную статью С. Н. Чернова «Поиски «Русской Правды» П. И. Пестеля» («Известия Академии наук СССР. Отделение общественных наук», 1935, № 7, с. 661—703). В труде М. В. Нечкиной «Движение декабристов» судьбе рукописи «Русской Правды» посвящены в т. II с. 208—214 и 217. Полное научное издание «Русской Правды», подготовленное к печати А. А. Покровским, вышло под ред. М. В. Нечкиной («Восстание декабристов». Документы, т. VII, М., 1958).

[12] «Восстание декабристов», т. I, 1925, с. 297 и 303. О судьбе рукописи «Конституции» см. в кн.: Н. Дружинин. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933, с. 150—154.

[13] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 521.

[14] Д. Благой. Пушкин в 1826 году.— Сб. «А. С. Пушкин. Материалы юбилейных торжеств. 1799—1949». Изд-во АН СССР, 1951, с. 160.

[15] См.: Пушкин. Письма, т. I, ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., Госиздат, 1926, с. 365.

[16] См.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 521. (Об отрывке, посвященном встрече с Державиным, см. ниже, с. 269–272 наст. изд.)

[17] Там же, с. 76.

[18] Там же, т. X, с. 198.

[19] Там же, с. 211.

[20] Н. Лернер. Проза Пушкина, изд. 2-е. Пг.–М., 1923, с. 107.

[21] И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма. Изд-во АН СССР, 1951, с. 61.

[22] Там же, с. 483–484.

[23] Н. В. Шимановский. Арест Грибоедова.– «Русский архив», 1875, т. VII, с. 342.

[24] П. Е. Щеголев. А. С. Грибоедов и декабристы (по архивным материалам).– Сб. «Декабристы». М.–Л., Госиздат, 1926, с. 104.

[25] Там же, с. 106.

[26] Из дневника А. И. Тургенева. Запись сделана им 9 января 1837 г. См.: П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы, изд. 3-е. М.–Л., Госиздат, 1928, с. 285.

[27] «Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурою не пропущенные». Лондон – Брюссель, 1863, с. 44–45.

[28] Н. В. Шимановский. Арест Грибоедова.– «Русский архив», 1875, т. VII, с. 343.

[29] Там же. История ареста Грибоедова и уничтожения им своих бумаг подробно рассмотрена в книге М. В. Нечкиной «А. С. Грибоедов и декабристы» (М., Гослитиздат, 1947, с. 462–470).

[30] Письмо фон Адеркаса Пушкину и приложение к нему см. в кн.: А. С. Пушкин. Пол. собр. соч. в 16-ти томах, т. XIII, с. 293.

[31] Анненков же верно указывает: «Это был посланный Адеркаса». См. «Пушкин в Александровскую эпоху». СПб., 1874, с. 322.

[32] М. И. Семевский. Прогулка в Тригорское.– «С.-Петербургские ведомости», 1866, № 163, 17 июня.

[33] «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851–1860 годах», ред. М. Цявловского, 1925, с. 34.

[34] П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 322–323.

[35] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 211.

[36] Мысль о том, что Пушкин, сжигая после 14 декабря свои «Записки», уничтожил их, по-видимому, не полностью, была впервые высказана и аргументирована в докладе, прочитанном автором настоящей книги 5 марта 1939 г. на заседании Пушкинской секции Института мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР.

[37] «Отрывки из писем, мысли и замечания» Пушкин напечатал без подписи. Печатный текст отрывка «Записок», посвященного Карамзину, см. в кн.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 61–63.

[38] См. «Замечания на «Записки» («Mon journal») А. Муравьева, записанные со слов декабриста И. Д. Якушкина его сыном и проверенные затем самим

И. Д. Якушкиным (и некоторыми другими декабристами) («Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», т. I. М., 1931, с. 137 и 142); а также: И. Д. Якушкин. Записки, статьи и письма. Изд-во АН СССР, 1951, с. 160.

39 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XI, с. 311, 313 и 314.

40 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. V, с. 199.

41 Там же, с. 200.

42 Там же, т. X, с. 134.

43 Там же, т. V, с. 512–513.

44 Это было 3-е издание поэмы «Бахчисарайский фонтан», вышедшее в 1830 г. С тем же приложением поэма была напечатана в 1835 г. в собрании «Поэм и повестей» Пушкина.

45 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 423.

46 Там же, т. VII, с. 602–610. (Это «письмо»-записки Нащокина не следует смешивать с началом его же Автобиографии, написанным Пушкиным под диктовку Нащокина.)

47 См. «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», т. II. М., 1933, с. 120.

48 См.: И. Е. Репин. Далекое близкое. Редакция Корнея Чуковского. «Искусство», 1937, с. 8.

49 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XIII, с. 252.

50 Там же, т. VIII, кн. I, с. 437–439.

51 П. Вяземский. Полн. собр. соч., т. X. СПб., 1886, с. 177.

52 Б. Казанский. Письма Пушкина.– «Литературный критик», 1937, № 2, с. 101.

53 П. Мериме. Александр Пушкин. Перевод А. К. Виноградова.– М., «Библиотека «Огонька». 1936, № 52, с. 10–11.

54 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 487–488.

55 Там же, с. 336.

56 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XII, с. 308–310 и с. 429–432. В комментариях к Малому (десятитомному) академическому изданию 1949 г. отрывок этот назван «Записью о холере» (см. т. VIII, с. 524).

57 Работы А. Эфроса и Т. Цявловской.

58 Речь идет об изучении творчества Пушкина-мемуариста.

59 П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 165.

60 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. III, с. 76.

61 Там же, т. X, с. 108.

62 Там же, с. 110.

63 Там же, с. 124.

64 Там же, с. 180.

65 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XIII, с. 157.

66 Там же, с. 289.

67 Там же, с. 234–235.

68 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 76.

69 См.: М. В. Нечкина. Новое о Пушкине и декабристах.— «Литературное наследство», 1952, № 58, с. 159.

70 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 17.

71 П. Анненков. Литературные проекты А. С. Пушкина:— Сб. «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, с. 457.

ЗАПИСКИ О КОРОТКОМ ВРЕМЕНИ

1 И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний.— «Русский архив», 1866, с. 1410.

2 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. VI, с. 135 и 408.

3 Пушкин. Письма, т. I, ред. Б. Л. Модзалевского. М.— Л., Госиздат, 1926, с. VIII.

4 Д. Якубович. Дневник Пушкина.— Сб. «Пушкин. 1834 год». Л., 1934, с. 46.

5 См.: М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., Изд-во АН СССР, 1951, с. 752.

6 См.: П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. IX. СПб., 1884, с. 120; Е. А. Боратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., Гослитиздат, 1951, с. 529.

7 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 25.

8 Там же.

9 Там же, с. 17—20.

10 А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. X. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 17.

11 См. письмо А. Тургенева от 21 марта 1821 г. («Пушкин. Временник», т. I. Изд-во АН СССР, 1936, с. 199).

12 «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», т. I. М., 1931, с. 264.

13 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 19.

14 «Сочинения и переводы капитана А. А. Шишкова в 4-х частях», ч. 1. СПб., 1834, с. 113, 114.

15 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 22—24.

16 См.: Пушкин. Письма, т. I, ред. Б. Л. Модзалевского. М.— Л., Госиздат, 1926, с. XXXII.

17 Б. Казанский. Письма Пушкина.— «Литературный критик», 1937, № 2, с. 103.

18 А. С. Пушкин. Соч., ред. Б. Томашевского. Л., Гослитиздат, 1937, с. 951.

19 П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII. СПб., 1883, с. 283.

20 Там же, с. 288.

21 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 98.

22 Там же, с. 765 (подлинник по-французски).

23 Там же, т. VIII, с. 75.

УЦЕЛЕВШИЕ ОТРЫВКИ

КАРАМЗИН

1 См. т. XII, 1949, с. 471. В справочном томе к этому изданию, вышедшем в 1959 году, в отделе «Дополнения и исправления» (с. 63) отрывок передатирован (1821—1825 гг.).

2 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 521. См. также: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 9-ти томах, т. IX, «Academia», 1937, с. 782.

3 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XIII, с. 289.

4 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 66—67.

5 Н. М. Карамзин. Записка о Древней и Новой России. СПб., 1914, с. 126 и 83.

6 Там же, с. 1.

7 Альманах «Денница» на 1830 г., изданный М. Максимовичем, с. 23.

8 П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. II. СПб., 1879, с. 216—217.

9 См.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 9-ти томах, т. IX. «Academia», 1937, с. 775 (комментарий).

10 «Полярная звезда на 1823 год», с. 15.

11 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 16.

12 «Общественные движения в России в первую половину XIX века», т. 1, СПб., 1905, с. 83.

13 Там же, с. 100.

14 Н. Бродский. Пушкин. М., Гослитиздат, 1937, с. 454.

15 «Записки декабриста Н. И. Лорера». М., Соцэкгиз, 1931, с. 67.

16 К. Ф. Рылеев. Полн. собр. соч., Л., «Academia», 1934, с. 450. Письмо от 20 июля 1821 г.

17 «Из писем и показаний декабристов», ред. А. Бороздина. СПб., 1906, с. 67.

18 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 173 и (перевод) с. 780.

19 См. «Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурою не пропущенные». Лондон — Брюссель, 1863, с. 34; Г. Шторм. Новое о Пушкине и Карамзине.— «Известия АН СССР. Отд. литературы и языка», т. XIX, вып. 2, 1960, с. 147.

20 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 68.

ОТРЫВОК «№ 1»

1 «Библиографические записки», 1859, № 5, с. 130—131.

2 «Русская старина», 1880, декабрь, с. 1043.

3 А. С. Пушкин. Соч., Л., Гослитиздат, 1937, с. 940.

[4] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 834.

[5] Там же, т. VIII, с. 121–122.

[6] В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, с. 219.

[7] А. В. Поджио. Записки. – «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», т. I. М., 1931, с. 81 и 82.

[8] М. С. Лунин. Сочинения и письма. Пг., 1923, с. 82.

[9] Этот вывод был обоснован нами в исследовании «О Записках» Пушкина» («Вестник Академии наук СССР», 1953, № 5). В работе «Историзм Пушкина», напечатанной в 1954 г. в «Ученых записках Ленинградского государственного университета» (серия филологических наук, вып. 20), Б. В. Томашевский пришел к тому же выводу. Некоторые, близкие к высказанным нами в упомянутом исследовании положения, касающиеся рассматриваемого пушкинского отрывка, содержатся, как можно с удовлетворением отметить, и в вышедшем позднее труде Б. В. Томашевского «Пушкин» (М.–Л., Изд-во АН СССР, 1956. Книга первая (гл. III, разд. 29).

[10] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 122.

[11] Там же, с. 123–125.

[12] Там же, с. 127.

[13] Там же.

[14] См.: Б. Томашевский. Заметки о Пушкине. – «Пушкин и его современники». Пг., 1923, вып. XXXVI, с. 86.

[15] Михаил Фонвизин. Обозрение проявлений политической жизни в России. – В кн.: «Общественные движения в России в первую половину XIX века», т. I. СПб., 1905, с. 190.

[16] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XI, с. 289.

[17] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 124, 125.

[18] Там же, с. 123.

[19] Там же, с. 122–123.

[20] «Восстание декабристов», т. IV. М.–Л., 1927, с. 90.

[21] Там же.

[22] Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина. М.–Л., Изд-во АН СССР, 1950, с. 290.

[23] Н. И. Тургенев. Россия и русские, т. I. М., 1915, с. 80.

[24] В. В. Базанов. Владимир Федосеевич Раевский. М.–Л., Изд-во АН СССР, 1949, с. 119.

[25] Там же, с. 109.

[26] «Записки И. И. Пущина о Пушкине». СПб., 1907, с. 45.

[27] Рассматриваемая тетрадь хранится в Архиве Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, ф. 244, оп. 1, № 831.

[28] Последние две страницы были опубликованы нами в статье «Неизданный черновик Пушкина» («Вестник Академии наук СССР», 1956, № 3).

[29] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XI, с. 16.

[30] В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. V, Пг., 1921, с. 94.

[31] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XI, с. 16.

[32] Позднее «Кандид» дважды переиздавался в царствование Екатерины II. (См.: Т. Д. Языков. Вольтер в русской литературе. М., 1902, с. 6 и 14.)

[33] «Белый бык» вышел впервые в русском переводе в 1779 г., как вспоминал в свое время М. М. Дмитриев. (См. его «Мелочи из запаса моей памяти», изд. 2-е. М., 1869, с. 49)

[34] Вольтер. Философские повести. М., 1954, с. 111—112.

[35] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 784.

ОТРЫВОК «№ 2»

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 71.

[2] См. «Русский архив», 1865, с. 96, и «Русская старина», 1874, № 8, с. 691.

[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 357.

[4] «Из писем и показаний декабристов». Сб. под ред. А. Бороздина. СПб., 1906, с. 44.

[5] «Колокол», 1860, 1 марта, л. 64, с. 534.

[6] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 52 и 562.

[7] А. Цейтлин. Записка Пушкина «О народном воспитании». — «Литературный современник», 1937, № 1, с. 267, 278, 284, 287.

[8] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XI, с. 311. (Курсив наш. — *И. Ф.*)

[9] Там же, с. 313. (Курсив наш. — *И. Ф.*)

[10] Там же, с. 314. (Курсив наш. — *И. Ф.*)

[11] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 664.

[12] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XI, с. 45.

[13] Там же, с. 311. Вопросительный знак, которым академическое издание сопровождает это место пушкинской рукописи, означает, что предположительно читается номер главы «Записок», на которую ссылается здесь Пушкин. Самая же ссылка (т. е. слова: «из записок») читается совершенно ясно, в чем нетрудно убедиться, обратившись к подлинной рукописи Пушкина, хранящейся в Архиве Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР (№ 836, л. 46-об. — карандашная пагинация).

[14] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XI, с. 311—312.

[15] Там же, с. 312 (черновик).

[16] А. Цейтлин. Записка Пушкина «О народном воспитании». — «Литературный современник», 1937, № 1, с. 277.

[17] См.: Н. К. Шильдер. Император Николай I, его жизнь и царствование. СПб., изд. А. С. Суворина, т. I, 1903, с. 342.

[18] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XI, с. 43.

[19] Там же.

[20] Там же, с. 313.

[21] Там же, с. 314.

[22] Там же, с. 45.

[23] Там же, с. 314.

[24] Там же, с. 44.

[25] См.: А. Н. Вульф. Выдержки из дневника. Запись от 16 сентября 1827 г.— «Русская старина», 1899, март, с. 512.

[26] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XI, с. 44.

[27] Там же.

[28] См. «Красный архив», 1925, т. 6 (31), с. 160.

[29] Соглашаясь с тем, что в записке «О народном воспитании» Пушкин использовал свои прежние сожженные «Записки», Ю. Г. Оксман отмечает, что Пушкин использовал в ней также «Записку о Древней и Новой России», представленную Карамзиным Александру I (см.: А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 451).

[30] «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», т. I. М., 1931, с. 47.

[31] И. Сергиевский. А. С. Пушкин. М., Гослитиздат, 1950, с. 85.

[32] На это указал уже П. О. Морозов. См. его статью «Шифрованное стихотворение Пушкина» («Пушкин и его современники», вып. XIII. СПб., 1910, с. 12).

О ПОДЛИННЫХ И МНИМЫХ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ НАБРОСКАХ

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VI, с. 768.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. IV, с. 478.

[3] В. Вересаев. Пушкин в жизни, изд. 6-е, т. II. М., 1936, с. 56.

[4] «Москвитянин», 1853, № 10, с. 58.

[5] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. VIII, ч. 1, с. 406.

[6] Там же, т. VIII, ч. 2, с. 952.

[7] Там же, т. VIII, ч. 1, с. 408.

[8] Там же, с. 406.

[9] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 338.

[10] Там же, с. 427.

[11] Там же, с. 489.

[12] Сб. «Старина и новизна», кн. VI. СПб., 1903, с. 10.

[13] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 279 и 805.

[14] Там же, с. 281 и 806.

[15] Там же, с. 280 и 805.

[16] С. Бонди. Новые страницы Пушкина. М., 1931, с. 197 и 198.

[17] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VI, с. 585—589.

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 76.

[2] П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 309.

[3] С. Гессен. Вступительная статья к сб. «Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников». Л., Гослитиздат, 1936, с. 5.

[4] «Записки И. И. Пущина о Пушкине». СПб., 1907, с. 22.

[5] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 75.

[6] С. Гессен. Вступительная статья к сб. «Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников». Л., Гослитиздат, 1936, с. 8.

[7] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 190 и 191.

[8] Там же, т. VII, с. 65.

[9] Там же, с. 104.

[10] Там же, т. VIII, с. 76.

[11] А. Н. Радищев. Избр. соч. М.–Л., Гослитиздат, 1949, с. 185.

[12] «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, с. 457.

[13] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. VIII, ч. 2, с. 974.

[14] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII. М., Изд-во АН СССР, 1955, с. 503.

[15] Там же, с. 432.

[16] Там же, с. 502.

[17] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 255. Слова, поставленные Лениным в кавычки, взяты им из статьи Герцена «Концы и начала» (А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVI. М., Изд-во АН СССР, 1959, с. 170).

[18] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 305.

[19] Там же, т. VIII, с. 77.

[20] Д. Благой. Проблемы построения научной биографии Пушкина.– «Литературное наследство», 1934, № 16-18, с. 246.

[21] П. Бартенев. Пушкин в Южной России. М., 1914, с. 86.

[22] П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 204.

[23] В. Селинов. Пушкин и греческое восстание.– Сб. «Пушкин. Статьи и материалы», вып. II, под ред. М. П. Алексеева. Одесса, 1926, с. 9.

[24] См.: С. Бонди. Новые страницы Пушкина. М., 1931, с. 141.

[25] См.: А. С. Пушкин. Соч., ред. Б. Томашевского. Л., Гослитиздат, 1937, с. 949.

[26] П. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855, с. 20–21.

Мы считали необходимым установить правильность этого вывода в первом издании настоящей книги (М., 1955, с. 200 и 283).

В отличие от Малого академического издания 1949 года, где этот отрывок пушкинских «Записок» назван был просто «записью», относящейся «к концу 1835 г.» (т. VIII, с. 521), во втором (1958 г.) и третьем (1965 г.) изданиях того же академического десятитомника в комментариях признается, что отрывок о Дер-

жавине, «по-видимому, представляет собой выписку» из сожженных «Записок» Пушкина (т. VIII, с. 526).

[27] См.: А. С. Пушкин. Соч., т. V. СПб., 1855, с. 7 и след.

[28] См. «Библиографические записки», 1859, № 5, с. 133.

[29] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XII, с. 308–310.

[30] См.: П. Бартенев. Пушкин в Южной России. М., 1914, с. 136.

ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННИКОВ

ДЕРЖАВИН

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 65–66.

БУДРИ–БРАТ МАРАТА

[1] «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851–1860 годах», ред. М. Цявловского. 1925, с. 26.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 104 и 564. У Пушкина эта фраза Будри приведена по-французски.

[3] См.: М. В. Нечкина. А. С. Грибоедов и декабристы. М., Гослитиздат, 1947, с. 378.

«ФАЛЬСТАФ II»

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 20.

[2] И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма. Изд-во АН СССР, 1951, с. 40.

[3] Там же, с. 42.

[4] Там же, с. 42–43.

[5] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VII, с. 516–517.

ДУРОВ

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 109.

[2] Там же, т. X, с. 536.

[3] М. И. Пущин. Встреча с А. С. Пушкиным за Кавказом.– «Русский вестник», 1893, сентябрь, с. 166.

[4] «Из рассказов А. О. Россет про Пушкина».– «Русский архив», 1882, кн. I, с. 246.

[5] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 109–111.

ЕРМОЛОВ

1 П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII. СПб., 1883, с. 170–171.

2 Там же, с. 71.

3 «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», т. I. М., 1931, с. 264.

4 Вспомним, что Пушкин назвал в 1820 г. восставших против турецкого владычества греков «вольнолюбивыми патриотами».

5 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VI, с. 641–642.

6 Д. Давыдов. Соч., т. I. СПб., 1895, с. 142.

7 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XII, с. 34.

8 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 53.

ДЕЛЬВИГ

1 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 334–336.

2 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XIV, с. 152.

3 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 339.

4 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XII, с. 450.

5 Там же, с. 159.

6 Там же, с. 338.

7 Пушкин. Письма, т. III, ред. Л. Б. Модзалевского. М.–Л., «Academia», 1935, с. 189.

8 См.: Е. Боратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма. Вступительная статья К. Пигарева. М., Гослитиздат, 1951, с. 20.

9 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 366.

10 Там же, т. VII, с. 702.

11 «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, с. 389.

12 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. X, с. 336.

13 Там же, т. VII, с. 314–315.

14 Там же, с. 315.

15 Там же, с. 318.

ВСТРЕЧА С КЮХЕЛЬБЕКЕРОМ

1 «Библиографические записки», 1859, № 5, с. 132.

2 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 20–21.

3 Там же, с. 493–494.

4 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XIV, с. 22.

ГРИБОЕДОВ

1 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VI, с. 666.

2 Там же, с. 666–667, и перевод с. 798 (у Пушкина слова Грибоедова приведены по-французски).

3 Там же, с. 667.

[4] «А. С. Грибоедов. Его жизнь и гибель в мемуарах современников». Сб. под ред. Зин. Давыдова. Л., 1929, с. 332.

[5] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VI, с. 667–668.

[6] Там же, с. 668.

[7] Там же, т. V, с. 514.

ИСТОРИЯ МОЕГО ВРЕМЕНИ

НЕИЗУЧЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ ПУШКИНА

[1] Н. Лернер. Проза Пушкина, изд. 2-е. Пг.–М., 1923, с. 108.

[2] А. С. Пушкин. Соч., ред. Б. Томашевского. Л., Гослитиздат, 1937, с. 949.

[3] А. С. Пушкин. Дневник (см. предисловие Б. Л. Модзалевского). М.–Пг., Госиздат, 1923, с. IV.

[4] А. Н. Вульф. Выдержки из дневника, запись от 16 сентября 1827 г.– «Русская старина», 1899, март, с. 512.

[5] См. вступительную статью П. Е. Щеголева к кн.: А. Н. Вульф. Дневники. М., 1929, с. 69, а также комментарий С. Гессена в сб.: «Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников». Л., 1936, с. 597.

[6] «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», т. II. М., 1933, с. 283.

[7] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XII, с. 324.

[8] Там же, т. X, с. 475.

[9] М. Лемке. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904, с. 215.

[10] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 42.

[11] Там же.

[12] Д. Якубович. Дневник Пушкина.– Сб. «Пушкин. 1834 год». Л., 1934, с. 39.

[13] В действительности «перемена» эта не была для Трощинского неожиданной: он был осведомлен о том, что она готовилась, и, по некоторым сведениям, предложил заговорщикам проект манифеста, по которому Павел должен был признать Александра своим соправителем.

[14] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 55.

[15] Там же, с. 53.

[16] П. И. Полетика. Воспоминания.– «Русский архив», 1885, кн. III, с. 319–320.

[17] С. Г. Волконский. Записки. СПб., изд. М. С. Волконского, 1901, с. 142.

[18] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 53.

[19] См. «Дневник А. С. Пушкина», ред. Б. Л. Модзалевского. М.–Пг., 1923, с. 192.

[20] Об этом рассказывает в своих записках начальник тайной полиции при Александре I де Санглен. (См. сб. «Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников». СПб., изд. А. С. Суворина, 1907, с. 367.)

[21] А. О. Смирнова. Записки. М., 1929, с. 293.

[22] Характерно, что, печатая свои воспоминания почти полвека спустя после того, как произошел только что переданный эпизод, монархист Липранди исключил из печатного текста их рассказ о том, как Пушкин провозгласил здоровье Болховского в годовщину убийства Павла, и потому рассказ этот увидел свет только в советское время, впервые в «Летописи Государственного литературного музея» — «Пушкин». М., 1936, кн. I, с. 551—552; см. публикацию и комментарий М. Цявловского.

[23] А. О. Смирнова. Записки. М., 1929, с. 293.

[24] Ф. Ф. Вигель. Керчь. Приложение к седьмой части его «Записок». М., изд. «Русского архива», 1893, с. 41.

[25] Архив Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, ф. 309, № 4108 (оригинал на французском языке).

[26] Сб. «Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников». СПб., изд. А. С. Суворина, 1907, с. 129—153.

[27] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 51—52 и с. 561 (перевод французской фразы).

[28] И. И. Греч. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, с. 327.

[29] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 40.

[30] «Из записок графа Ланжерона».— Сб. «Цареубийство 11 марта 1801 года». СПб., 1907, с. 129—153.

[31] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 38.

[32] Там же, с. 39.

[33] Там же, с. 31.

[34] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. IX. СПб., 1884, с. 36.

[35] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 106—107.

[36] «Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурою не пропущенные». Лондон — Брюссель, 1863, с. 42.

[37] А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, т. XX, под ред. М. Лемке. М.— Пг., 1923, с. 339 и 366.

[38] Б. Сыроечковский. Из записной книжки архивиста.— «Красный архив», 1926, т. IV (XVII), с. 178.

[39] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 38.

[40] Запись, сделанная позднее ею самою, является очень краткой. См.: А. О. Смирнова-Россет. Автобиография. М., изд-во «Мир», 1931, с. 181. Сообщение о казни должно было быть доставлено в Царское Село утром — ранее полудня.

[41] См.: Вел. князь Николай Михайлович. Казнь пяти декабристов 13 июля 1826 года и император Николай I.— «Исторический вестник», 1916, июль, с. 105.

[42] См. «Красный архив», 1926, т. IV (XVII), с. 81.

[43] «Записки А. О. Смирновой». СПб., 1895, ч. I, с. 89. (Смирнова-дочь передает этот эпизод от своего лица, ссылаясь на рассказ матери. Курсив наш. — *И. Ф.*)

[44] Там же.

[45] «Записки декабриста Н. И. Лорера». М., 1931, с. 114.

[46] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 20.

[47] А. Эфрос. Рисунки поэта. Изд. 2-е. М., 1933, с. 356—358. См. также статью А. Петрова в издании «Пушкинский праздник» (специальный выпуск «Литературной газеты» и «Литературной России», 30 мая — 6 июня 1969 г.), с. 18—19.

[48] Письмо к жене от 20 июля 1826 г. («Остафьевский архив», т. V, вып. II. СПб., 1913, с. 54).

[49] «Воспоминания Бестужевых», ред. М. К. Азадовского. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1951, с. 337—338.

[50] Там же.

[51] См. «Былое», 1906, № 3, с. 232.

[52] «Русский архив», 1881, кн. II, с. 345.

[53] «Дневник А. С. Пушкина», ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Пг., 1923, с. XIII—XIV.

[54] Неизданную часть своего «Онегина», содержавшую описание «возмущения 1825 года», Пушкин читал, как уже говорилось, Александру Тургеневу, о чем тот сообщал брату Николаю в письме от 11 августа 1832 г.

[55] Рассказ о казни декабристов Пушкин мог слышать и от своего лицейского товарища В. Д. Вольховского, который в числе должностных лиц присутствовал при казни. (Пушкин встречался с Вольховским под Арзрумом в 1829 г. и в 1834 г. в Петербурге.)

[56] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VIII, с. 51—52. Последняя фраза у Пушкина написана по-французски.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[1] Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы. «Библиотека поэта». Большая серия, т. I. Л., «Советский писатель», 1937, с. 294—295.

[2] Там же, с. 295.

[3] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XXVII, кн. 1. М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 270.

[4] «Архив декабриста С. Г. Волконского», ред. С. М. Волконского и Б. Л. Модзалевского. Пг., 1918, т. I, ч. I, с. XXXII.

[5] «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов», т. I. М., 1931, с. 6.

[6] П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 117—118.

[7] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. VI.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

В ТЕКСТЕ

Том 15-й принадлежавшего Пушкину собрания сочинений Вольтера (Париж, 1817 г.).

«Записки Моро де Бразе», изданные в 1716 г. без имени автора (Пушкин перевел из них описание Прутского похода Петра I). *Титульный лист.*

Медаль *«Владычествует четырьмя»,* выбитая в ознаменование соединения в 1716 г. четырех флотов – русского, датского, английского и голландского – под главным командованием Петра I.

Медаль *«На взятие Азова».* 1696 г.

Медаль *«На заложение Санкт-Петербурга».* 1703 г.

Медаль *«На построение Кроншлота».* 1703 г.

Медаль *«На Полтавскую баталию».* 1709 г.

Петербург. Вид на Петропавловскую крепость. *Гравюра А. Зубова. 1727 г.*

Медаль *«На погребение Петра Великого».* 1725 г.

Автопортрет. *1829 г.*

Начало новых «Записок» Пушкина. («Несколько раз принимался я за ежедневные записки...»). Первая страница рукописи (начало 1830-х годов), где Пушкин сообщает, что он сжег после 14 декабря 1825 г. свою «Биографию».

И. Н. Инзов – наместник Бессарабской области. *Рисунок Пушкина. 1821 г.*

Декабрист Лунин (предлагал убить императора Александра I). Над профилем его Пушкин изобразил кинжал – эмблему цареубийства. *Рисунок Пушкина. 1819 г. (сохраненный Пушкиным остаток уничтоженного листа).*

Профили декабристов в рукописи «Евгения Онегина». Январь, 1826 г. Пушкин дважды нарисовал на левом поле этого листа И. И. Пущина (второй и третий профиль – сверху вниз). Между верхним и нижним профилями Пущина Пушкин изобразил себя и затем заштриховал свой профиль. В правом нижнем углу страницы – профили Кюхельбекера и Рылеева.

Страница черновой рукописи «Евгения Онегина». В январе 1826 г. Пушкин нарисовал на ней себя в костюме времен французской революции (левое поле страницы, второй профиль сверху). Ниже – Мирабо (большой профиль), левее его – Рылеев (меньший профиль). Большой профиль Вольтера – в левом нижнем углу страницы.

Казнь декабристов. На этом листе Пушкин дважды нарисовал виселицу с пятью казненными декабристами и написал: *«И я бы мог...» Рисунок Пушкина. 1826 г. Фрагмент.*

А. П. Керн. *Рисунок Пушкина. 1829 г.*

Автопортрет. *1821 г.*

Александр и Екатерина Раевские. *Рисунки Пушкина. 1821 г.*

Н. Н. Раевский-старший. *Рисунок Пушкина. 1821 г.*

П. А. Вяземский. *Рисунок Пушкина. 1826 г.*

П. Я. Чаадаев. *Рисунок Пушкина в рукописи «Евгения Онегина». 1824 г.*

Автопортрет. *1823 г.*

Автопортрет. *1823 г.*

В. Ф. Раевский. *Рисунок Пушкина. 1822 г.*

И. И. Пущин. *Рисунок Пушкина. 1826 г.*

Пушкин и Онегин на берегу Невы. *Рисунок Пушкина. 1824 г.*

Татьяна. *Рисунок Пушкина в рукописи «Письма Татьяны». 1824 г.*

Наталья Николаевна Пушкина. *Рисунок Пушкина. 1833 г.*

Автопортрет. *Рукопись поэмы «Домик в Коломне». 1830 г.*

План новых Автобиографических записок Пушкина. Начало 30-х годов: «Семья моего отца... Первые впечатления... Охота к чтению. Меня везут в Петербург. Езуиты. Тургенев. Лицей. 1811. 1812 г. 1813... 1814 (Экзамен... Державин)».

Профили неизвестных. (Внизу справа – П. А. Вяземский.) *Рисунок Пушкина в рукописи «Евгения Онегина». 1825 г.*

Граф М. С. Воронцов. *Рисунок Пушкина. 1824 г.*

Царскосельский лицей. *Рисунок Пушкина в рукописи «Евгения Онегина». 1829 г.*

Марат. *Рисунок Пушкина. 1821 г.*

Куницын и Будри. *Рисунок лицеиста Илличевского.*

А. Л. Давыдов. *Рисунок Пушкина. 1826 г.*

Рисунки Пушкина, сделанные на Кавказе. 1829 г. Вверху страницы – горцы, позади – горы и сакля. Ниже – автопортрет (в папахе), слева от него – профиль А. Н. Оленина, справа Пушкин нарисовал Наполеона, ниже – Александр I.

Дельвиг. *Рисунок Пушкина. 1829 г.*

Грибоедов. *Рисунок Пушкина. 1831 г.*

Автопортрет Пушкина. *1829 г.*

А. И. Якубович. (В 1818 г. в Тифлисе дрался на дуэли с Грибоедовым.) *Рисунок Пушкина. 1829 г.*

Александр I. *Рисунок Пушкина. 1819 г.*

Павел I. *Рисунок Пушкина. 1824 г.*

А. О. Смирнова-Россет. *Рисунок Пушкина. 1833 г.*

Николай I (в молодости). *Рисунок Пушкина. 1819 г.*

Рылеев. *Рисунок Пушкина. 1826 г.*

Повешенный. *Рисунок Пушкина в рукописи «Полтавы». 1828 г.*

П. И. Пестель. *Рисунок Пушкина. 1824 г.*

Казнь декабристов. *Рисунки Пушкина в рукописи «Полтавы». 1828 г.*

В АЛЬБОМЕ

Прижизненная маска Петра I. (Снята К. Б. Растрелли в 1719 г.)

Корабли Азовского флота. 1696. *Гравюра из книги Корба «Дневник путешествия в Московское государство». Вена, 1700 г.*

Казнь стрельцов. Октябрь 1698 г. *Гравюра из книги Корба «Дневник путешествия в Московское государство». Вена, 1700 г. Фрагмент.*

Гравюра И. Розанова.

Взятие Нотебурга (Шлиссельбурга) в 1702 г. *Гравюра А. Шхонебека. 1703 г.*

«Житие Петра Великого». *Фронтиспис и титульный лист русского издания*

книги Антонио Катифоро в переводе С. Писарева (СПб., 1772 г.), сохранившейся в библиотеке Пушкина.

Встреча Карла XII в Бендерах. Внизу план королевского лагеря близ Бендер. *Гравюра из «Путешествия» де ла Мотрэ, изданного в 1727 г., которую Пушкин рассматривал, находясь в 1824 г. в Бендерах и Варнице. Фрагмент.*

Екатерина I. *Гравюра Дюпена с портрета работы Натье. 1717 г.*

Ввод в Петербург взятых при Гренгаме шведских фрегатов. *Гравюра А. Зубова. 1723 г.*

Восковое изображение Петра I. *Гравюра из книги О. Беляева «Кабинет Петра Великого» (СПб., 1800), сохранившейся в библиотеке Пушкина.*

Автопортреты Пушкина. 1820 г., *1826 г.*

Страница черновика записки «О народном воспитании» (ноябрь 1826 г.), где Пушкин ссылается на свои будто бы целиком сожженные ранее «Записки». См. пометы Пушкина: вверху страницы (начало первой строки): «Александр — из Записок» и в середине страницы (строка 18-я): «Патриархальное вос[питание] из записок».

П. А. Вяземский (вверху), ниже слева Пестель, вправо — Трубецкой и Рылеев; внизу повторяется профиль В. Ф. Вяземской. *Рисунки Пушкина. 1826 г.*

Страница с остатками черновика отрывка «№ 1», входившего в состав «Записок» Пушкина. Внизу страницы — уцелевшие строки этого черновика, у левого края ее сохранились корешки листов, вырванных Пушкиным из тетради. Вверху страницы, в первом ряду профилей, Пушкин нарисовал Н. С. Алексеева (которому посвятил «Гавриилиаду»).

«Эскизы разных лиц, замечательных по 14 декабря 1825 года». На этом листе Пушкин в 1826 г. изобразил себя среди профилей декабристов: С. И. Муравьева-Апостола, Рылеева (см. правый край листа), С. И. Трубецкого (вправо — над головой Пушкина), Н. Н. Раевского (влево от нее), И. И. Пущина (в середине листа) и других.

Автопортрет. *1829 г.*

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ МОЕГО ВРЕМЕНИ

Фейнберг И.

Ф36 Незавершенные работы Пушкина. Изд. 7-е. М.: Худож. лит., 1979. 366 с.

Книга известного литературоведа Ильи Фейнберга «Незавершенные работы Пушкина» посвящена последнему труду великого поэта – его «Истории Петра», которая была запрещена Николаем I, затем потеряна и оставалась в течение ста лет неизвестной читателю, и Автобиографическим запискам Пушкина, большую часть которых поэт вынужден был сжечь. В книге впервые раскрыто выдающееся историческое и художественное значение этих незавершенных пушкинских произведений.

Издание иллюстрировано старинными гравюрами и рисунками Пушкина.

Ф $\frac{70202\text{-}203}{028(01)\text{-}79}$ 237-79 8Р1

Илья Львович
Фейнберг

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ
РАБОТЫ ПУШКИНА

Издание седьмое

Редактор
И. Масуренкова

Художественный редактор
С. Гераскевич

Технический редактор
Л. Глазунова

Корректоры Н. Усольцева и
Н. Гришина

ИБ № 1439

Сдано в набор 17.10.78. Подписано в печать А11679 от 20.07.79. Формат 60 × 84[1]/[16]. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. 21,459 + + 1 вкл. + альбом = 22,451 усл. печ. л. 22,813 + 1 вкл + альбом = 23,503 уч.-изд. л. Тираж 75000 экз. Заказ 271. Цена 1 р. 30 к.
Издательство «Художественная литература». Москва, 07078, Ново-Басманная, 19.
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, Чкаловский пр., 15.